

---

Л. Н. ТОЛСТОЙ

ИЗБРАННЫЕ  
ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

\*

ТОМ I

858481

О Р И З.

---

Государственное издательство  
художественной  
литературы  
Москва  
1945

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Рубка леса. Рассказ юнкера . . . . .	3
Из кавказских воспоминаний. Разжалованный . . . . .	35
Записки маркера . . . . .	57
Метель . . . . .	73
Два гусара . . . . .	93
Севастопольские рассказы . . . . .	149
Утро помещика . . . . .	254
Из записок князя Д. Нехлюдова (Люцерн) . . . . .	299
Альберт . . . . .	320
Три смерти . . . . .	344
Казачи . . . . .	355

Редактор *Л. Цукерман*

Технический редактор *Д. Ермоленко*

Обложка работы художника *И. Николагвцева*

---

Подписано к печати 5/Х 1944 г. А 7932. Тираж 100 000 экз. 30<sup>1</sup>/<sub>4</sub> печ. л.  
29,1 уч.-авт. л. Заказ 287. Цена 8 руб.

---

3-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига» ОГИЗа  
при СНК РСФСР, Москва, Краснопролетарская, 16.

---

---

## РУБКА ЛЕСА

*Рассказ юнкера*

### I

В середине зимы 185\* года дивизион нашей батареи стоял в отряде в Большой Чечне. Вечером 14-го февраля, узнав, что взвод, которым я командовал за отсутствием офицера, назначен в завтрашней колонне на рубку леса, и с вечера же получив и передав нужные приказания, я раньше обыкновенного отправился в свою палатку и, не имея дурной привычки нагревать ее горячими углями, не раздеваясь, лег на свою, построенную на кольшках, постель, надвинул на глаза папаху, закутался в шубу и заснул тем особенным, крепким и тяжелым сном, которым спится в минуты тревоги и беспокойства перед опасностью. Ожидание дела на завтра привело меня в это состояние.

В три часа утра, когда еще было совершенно темно, с меня сдернули обогретый тулуп, и багровый огонь свечки неприятно поразил мои заспанные глаза.

— Извольте встать,—сказал чей-то голос. Я закрыл глаза, бессознательно натянул на себя опять тулуп и заснул. — Извольте вставать, — повторил Дмитрий, безжалостно раскачивая меня за плечо. — Пехота выступает. — Я вдруг вспомнил действительность, вздрогнул и вскочил на ноги. Наскоро выпив стакан чаю и умывшись оледенелой водой, я вылез из палатки и пошел в парк (место, где стоят орудия). Было темно, туманно и холодно. Ночные костры, светившиеся там и сям по лагерю, освещая фигуры сонных солдат, расположившихся около них, увеличивали темноту своим неярким

багровым светом. Вблизи слышался равномерный, спокойный храп, вдали движение, говор и бряцанье ружей пехоты, готовившейся к выступлению; пахло дымом, навозом, фитилем и туманом; по спине пробегала утренняя дрожь, и зубы против воли ощупывали друг друга.

Только по фырканию и редкому топоту можно было разобрать в этой непроницаемой темноте, где стоят запряженные передки и ящики, и по светящимся точкам пальников — где стоят орудия. Со словами: «с богом», зазвенело первое орудие, за ним зашумел ящик, и взвод тронулся. Мы все сняли шапки и перекрестились. Вступив в интервал между пехотой, взвод остановился и с четверть часа дождался сбора всей колонны и выезда начальника.

— А у нас одного солдатика нет, Николай Петрович! — сказала, подходя ко мне, черная фигура, которую я только по голосу узнал за взводного фейерверкера Максимова.

— Кого?

— Веленчука нет-с. Как запрягали, он всё тут был, — я его видал, — а теперь нет.

Так как нельзя было предполагать, чтобы колонна тронулась сейчас же, мы решили послать отыскать Веленчука строевого ефрейтора Антонова. Скоро после этого мимо нас в темноте прорысало несколько конных: это был начальник со свитой; а вслед затем зашевелилась и тронулась голова колонны, наконец и мы, — а Антонова и Веленчука не было. Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас.

— Где он был? — спросил я у Антонова.

— В парке спал.

— Что, он хмелен, что ли?

— Никак нет.

— Так отчего же он заснул?

— Не могу знать.

Часа три мы медленно двигались по каким-то непаханным бесснежным полям и низким кустам, хрустевшим под колесами орудий, в том же безмолвии и мраке. Наконец, перейдя неглубокий, но чрезвычайно быстрый ручей, нас остановили, и в авангарде слышались отрывчатые винтовочные выстрелы. Звуки эти, как и всегда, особенно возбуждительно действовали на всех. Отряд как бы проснулся: в рядах слышались говор, движение и смех. Солдаты — кто боролся с товарищем, кто перепрыгивал с ноги на ногу, кто жевал сухарь или, для препровождения времени, *отбивал* на караул и к ноге. Притом туман заметно начинал белеть на востоке, сырость становилась ощутительнее, и окружающие предметы

постепенно выходили из мрака. Я различал уже зеленые лафеты и ящики, покрытую туманной сыростью медь орудий, знакомые, невольно изученные до малейших подробностей фигуры моих солдат, гнедых лошадей и ряды пехоты с их светлыми штыками, торбами, пыжовниками и котелками за спинами.

Скоро нас снова тронули и, проведя несколько сот шагов без дороги, указали место. Справа виднелся крутой берег извилистой речки и высокие деревянные столбы татарского кладбища; слева и спереди сквозь туман проглядывала черная полоса. Взвод снялся с передков. Восьмая рота, прикрывавшая нас, составила ружья в козлы, и батальон солдат с ружьями и топорами вошел в лес.

Не прошло пяти минут, как со всех сторон затрещали и задымилась костры, рассыпались солдаты, раздувая огни руками и ногами, таская сучья и бревна, и в лесу неумолкаемо зазвучали сотни топоров и падающих деревьев.

Артиллеристы, с некоторым соперничеством перед пехотными, разложили свой костер, и, хотя он уже так разгорелся, что на два шага подойти нельзя было, и густой черный дым проходил сквозь обледенелые ветви, с которых капли шипели на огне и которые нажимали на огонь солдаты, снизу образовывались угли, и помертвевшая белая трава оттаивала кругом костра, солдатам все казалось мало: они тащили целые бревна, подсовывали бурьян и раздували все больше и больше.

Когда я подошел к костру, чтобы закурить папиросу, Веленчук, и всегда хлопотун, но теперь, как провинившийся, больше всех старавшийся около костра, в припадке усердия достал из самой середины голой рукой уголь, перебросил раза два из руки в руку и бросил на землю.

— Ты форостинку зажги да подай, — сказал другой. — Пальник, братцы, подайте, — сказал третий.

Когда я, наконец, без помощи Веленчука, который опять было руками хотел взять уголь, зажег папиросу, он потер обожженные пальцы о задние полы полушубка и, должно быть, чтоб что-нибудь делать, поднял большой чинаровый отрубок и с размаху бросил его на костер. Когда, наконец, ему показалось, что можно отдохнуть, он подсел к самому жару, распахнул шинель, надетую на нем в виде епанчи, на задней пуговице, расставил ноги, выставил вперед свои большие черные руки и, скривив немного рот, зажмурился.

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — сказал он, помолчав немного и не обращаясь ни к кому в особенности.

## II

В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т. д.

Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие:

- 1) Покорных,
- 2) Начальствующих и
- 3) Отчаянных.

Покорные подразделяются на: а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых.

Начальствующие подразделяются на: а) начальствующих суровых и б) начальствующих политических.

Отчаянные подразделяются на: а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных.

Чаще других встречающийся тип, — тип более всего милый, симпатичный и большей частью соединенный с лучшими христианскими добродетелями: кротостью, набожностью, терпением и преданностью воле божьей, — есть тип покорного вообще. Отличительная черта покорного хладнокровного есть ничем несокрушимое спокойствие и презрение ко всем превратностям судьбы, могущим постигнуть его. Отличительная черта покорного пьющего есть тихая поэтическая склонность и чувствительность; отличительная черта хлопотливого — ограниченность умственных способностей, соединенная с бесцельным трудолюбием и усердием.

Тип же начальствующих вообще встречается преимущественно в высшей солдатской сфере: ефрейторов, унтер-офицеров, фельдфебелей и т. д., и, по первому подразделению начальствующих суровых, есть тип весьма благородный, энергический, преимущественно военный, не исключаящий высоких поэтических порывов (к этому-то типу принадлежал ефрейтор Антонов, с которым я намерен познакомить читателя). Второе подразделение составляют начальствующие политичные, с некоторого времени начинающие сильно распространяться. Начальствующий политичный бывает всегда красноречив, грамотен, ходит в розовой рубашке, не ест из общего котла, курит иногда Мусатов табак, считает себя несравненно выше простого солдата и редко сам бывает столь хорошим солдатом, как начальствующие первого разряда.

Тип отчаянного, точно так же, как и тип начальствующего, хорош в первом подразделении — отчаянных забавников, отличительными чертами которых суть непоколебимая веселость, огромные способности ко всему, богатство нату-

ры и удаль, — и так же ужасно дурен во втором подразделении — отчаянных развратных, которые, однако, нужно сказать к чести русского войска, встречаются весьма редко, и если встречаются, то бывают удаляемы от товарищества самим обществом солдатским. Неверие и какое-то удалство в пороке — главные черты характера этого разряда.

Веленчук принадлежал к разряду покорных хлопотливых. Он был малороссиянин родом, уже пятнадцать лет на службе и хотя невидный и не слишком ловкий солдат, но простодушный, добрый, чрезвычайно усердный, хотя большей частью некстати, и чрезвычайно честный. Я говорю: чрезвычайно честный, потому что в прошлом году был случай, в котором он показал весьма очевидно это характеристическое свойство. Надобно заметить, что почти каждый из солдат имеет мастерство. Более распространенные мастерства: портняжное и сапожное. Веленчук сам научился первому и даже, судя по тому, что сам Михаил Дорофеич, фельдфебель, давал ему шить на себя, дошел до известной степени совершенства. В прошлом году в лагере Веленчук взялся шить тонкую шинель Михаилу Дорофеичу; но в ту самую ночь, когда он, скроив сукно и прикинув приклад, положил к себе в палатке под головы, с ним случилось несчастье: сукно, которое стоило семь рублей, в ночь пропало! Веленчук со слезами на глазах, с дрожащими бледными губами и сдержанными рыданиями, объявил о том фельдфебелю. Михаил Дорофеич прогневался. В первую минуту досады он пригрозил портному, но потом, как человек с достатком и хороший, махнул рукой и не требовал с Веленчука возвращения ценности шинели. Как ни хлопотал хлопотливый Веленчук, как ни плакал, рассказывая про свое несчастье, вор не нашелся. Хотя и были сильные подозрения на одного отчаянного развратного солдата, Чернова, спавшего с ним в одной палатке, но не было положительных доказательств. Начальствующий политичный Михаил Дорофеич, как человек с достатком, занимаясь кое-какими сделочками с каптенармусом и артельщиком, аристократами батареи, скоро совершенно забыл о пропаже партикулярной шинели; Веленчук же, напротив, не забыл своего несчастья. Солдаты говорили, что в это время они боялись за него, как бы он не наложил на себя рук или не бежал в горы: так сильно на него подействовало это несчастье. Он не пил, не ел, работать даже не мог и всё плакал. Через три дня он явился к Михаилу Дорофеичу и, весь бледный, дрожащей рукой достал из-за обшлага золотой и подал ему. «Ей-богу, последнее, Михаил Дорофеич, — и те у Жданова занял, — сказал

он, снова всхлипывая, — а еще два рубля, ей-ей, отдам, как заработаю. Он (кто был он, не знал и сам Веленчук) меня перед вашими глазами плутом сделал. Он — ехидная его мерзкая душа — у своего брата-солдата последнее из души взял; а я, пятнадцать лет служа...» К чести Михаила Дорофеича должно сказать, что он не взял с Веленчука недостающих двух рублей, хотя Веленчук через два месяца и приносил их.

### III

Кроме Веленчука, около костра грелись еще пять человек солдат моего взвода.

На лучшем месте, за ветром, на баклаге, сидел взводный фейерверкер Максимов и курил трубку. В позе, во взгляде и во всех движениях этого человека заметны были привычка повелевать и сознание собственного достоинства, не говоря уже о баклаге, на которой он сидел, составляющей на привале эмблему власти, и крытом нанкой полушубке.

Когда я подошел, он повернул голову ко мне, но глаза его оставались устремленными на огонь; и только гораздо после взгляд его, вслед за направлением головы, обратился на меня. Максимов был из однодворцев, имел деньги и в учебной бригаде получил класс и набрался учености. Он был ужасно богат и ужасно учен, как говорили солдаты. Я помню, как раз на практической навесной стрельбе с квадрантом он объяснял собравшимся вокруг него солдатам, что ватерпас не что иное есть, как происходит, что атмосферическая ртуть свое движение имеет. В сущности, Максимов был далеко не глуп и отлично знал свое дело; но у него была несчастная странность говорить иногда нарочно так, что не было никакой возможности понять его и что, я уверен, он сам не понимал своих слов. Особенно он любил слова: «происходит» и «продолжать», и когда, бывало, скажет: «происходит» или «продолжая», то уже я вперед знаю, что из всего последующего я не пойму ничего. Солдаты же, напротив, сколько я мог заметить, любили слушать его «происходит» и подозревали в нем глубокий смысл, хотя так же, как и я, не понимали ни слова. Но непонимание это они относили только к своей глупости и тем более уважали Федора Максимыча. Одним словом, Максимов был начальствующий политичный.

Второй солдат, переобувавший около огня свои жилистые красные ноги, был Антонов, — тот самый бомбардир Антонов, который еще в тридцать седьмом году, втроем, оставшись при одном орудии, без прикрытия, отстреливался от



сильного неприятеля и с двумя пулями в ляжке продолжал идти около орудия и заряжать его. «Давно бы уж ему быть фейерверкером, коли бы не характер его», говорили про него солдаты. И действительно, странный у него был характер: в трезвом виде не было человека покойнее, смиреннее и исправнее; когда же он запивал, становился совсем другим человеком: не признавал власти, дрался, буянил и делался никуда негодным солдатом. Не дальше как неделю тому назад он запил на маслянице и, несмотря ни на какие угрозы, увещания и привязыванья к орудию, пьянствовал и буянил до самого чистого понедельника. Весь пост же, несмотря на приказ по отряду всем людям есть скоромное, питался он одними сухарями и на первой неделе не брал даже положенной крышки водки. Впрочем, надобно было видеть эту невысокую, сбитую, как железо, фигуру, с короткими, выгнутыми ножками и глянцевиной усатой рожей, когда он, бывало, под хмельком возьмет в жилистые руки балалайку и, небрежно поглядывая по сторонам, заиграет «барыню» или, с шинелью внакидку, на которой болтаются ордена, и заложив руки в карманы синих нанковых штанов, пройдет по улице, — надо было видеть выражение солдатской гордости и презрения ко всему не-солдатскому, игравшее в это время на его физиономии, чтобы понять, каким образом не податься в такие минуты с загрубившим или просто подвернувшимся денщиком, казаком, пехотным или переселенцем, вообще не-артиллеристом, было для него совершенно невозможно. Он дрался и буянил не столько для собственного удовольствия, сколько для поддержания духа всего солдатства, которого он чувствовал себя представителем.

Третий солдат, с серьгой в ухе, щетинистыми усиками, птичьей рожидей и фарфоровой трубочкой в зубах, на короточках сидевший около костра, был ездовой Чикин. Милый человек Чикин, как его прозвали солдаты, был забавник. В трескучий ли мороз, по колена в грязи, два дня не евши, в походе, на смотру, на ученьи, милый человек всегда и везде корчил гримасы, выделывал ногами коленцы и отливал такие штуки, что весь взвод покатывался со смеху. На привале или в лагере вокруг Чикина всегда собирался кружок молодых солдат, с которыми он или затевал «Фильку»<sup>1</sup>, или рассказывал сказки про хитрого солдата и английского милорда, или представлял татарина, немца, или просто делал свои замечания, от которых все помирало со смеху. Правда, что репутация его как забавника была уж так утверждена

---

<sup>1</sup> Солдатская игра в карты. (Прим. автора.)

в батарее, что стоило ему только открыть рот и подмигнуть, чтобы произвести общий хохот; но, действительно, в нем много было истинно комического и неожиданного. Он в каждой вещи умел видеть что-то особенное, такое, что другим и в голову не приходило, и главное — способность эта во всем видеть смешное не уступала никаким испытаниям.

Четвертый солдат был молодой, невзрачный мальчишка, рекрут прошлогоднего пригона, в первый еще раз бывший в походе. Он стоял в самом дыму и так близко от огня, что, казалось, истертый полушубочек его сейчас загорится; но, несмотря на это, по его распахнутым полам, спокойной, самодовольной позе с выгнутыми икрами видно было, что он испытывал большое удовольствие.

И, наконец, пятый солдат, немного поодаль сидевший от костра и строгавший какую-то палочку, был дяденька Жданов. Жданов был старше всех солдат в батарее на службе, всех знал еще рекрутами, и все по старой привычке называли его дяденькой. Он, как говорили, никогда не пил, не курил, не играл в карты (даже в носки), не бранился дурным словом. Все свободное от службы время он занимался сапожным мастерством, по праздникам ходил в церковь, где было возможно, или ставил копеечную свечку перед образом и раскрывал псалтырь, единственную книгу, по которой он умел читать. С солдатами он водился мало, — со старшими чином, хотя и младшими летами, он был холодно-почтителен, с равными, как не пьющий, он имел мало случаев сходитьсь; но особенно он любил рекрутов и молодых солдат: их он всегда покровительствовал, читал им наставления и помогал часто. Все в батарее считали его капиталистом, потому что он имел рублей двадцать пять, которыми охотно ссужал солдата, который действительно нуждался. Тот самый Максимов, который теперь был фейерверкером, рассказывал мне, что когда, десять лет тому назад, он рекрутом пришел, и старые пьющие солдаты пропили с ним деньги, которые у него были, Жданов, заметив его несчастное положение, призвал к себе, строго выговорил ему за его поведение, побил даже, прочел наставление, как в солдатстве жить нужно, и отпустил, дав ему рубаху, которых уже не было у Максимова, и полтину денег. «Он из меня человека сделал», говорил про него всегда с уважением и благодарностью сам Максимов. Он же помог Веленчуку, которого он вообще покровительствовал с самого рекрутства, во время несчастья пропажи шинели и многим, многим другим во время своей двадцатипятилетней службы.

По службе нельзя было желать лучше знающего дело,

храбрее и исправнее солдата; но он был слишком смирен и невиден, чтобы быть произведенным в фейерверкеры, хотя уже был пятнадцать лет бомбардиром. Одна радость и даже страсть Жданова были песни; особенно некоторые он очень любил и всегда собирал кружок песенников из молодых солдат и, хотя сам не умел петь, стоял с ними и, заложив руки в карманы полушубка и зажмурившись, движениями головы и скул выражал свое сочувствие. Не знаю почему, в этом равномерном движении скул под ушами, которое я замечал только у него одного, я почему-то находил чрезвычайно много выражения. Белая, как лунь, голова, нафабранные черные усы и загорелое морщинистое лицо придавали ему на первый взгляд выражение строгое и суровое; но, взглядевшись ближе в его большие, круглые глаза, особенно, когда они улыбались (губами он никогда не смеялся), что-то необыкновенно кроткое, почти детское, вдруг поражало вас.

#### IV

— Эх-ма! трубку забыл. Вот горе-то, братцы мои! — повторил Веленчук.

— А ты бы сигарки курил, милый человек! — заговорил Чикин, скривив рот и подмигивая. — Я так всё сигарки дома курю, она слаще!

Разумеется, все покатались со смеху.

— То-то трубку забыл, — перебил Максимов, не обращая внимания на общий хохот и начальнически-гордо выбивая трубку о ладонь левой руки. — Ты где там пропадаешь, а, Веленчук?

Веленчук полуоборотился к нему, поднял было руку к шапке, но потом опустил ее.

— Видно, со вчерашнего не проспался, что уж стоя засыпашь. За это вашему брату спасибо не говорят.

— Разорви меня на сем месте, Федор Максимыч, коли у меня капля во рту была; а я и сам не знаю, что со мной сделалось, — отвечал Веленчук. — С какой радости напился! — проворчал он.

— То-то, а из-за вашего брата отвечаешь перед начальством своим, а вы этак продолжаете — вовсе безобразно, — заключил красноречивый Максимов уже более спокойным тоном.

— Ведь вот чудо-то, братцы мои, — продолжал Веленчук после минутного молчания, почесывая в затылке и не обращаясь ни к кому в особенности: — право, чудо, братцы мои! Шестнадцать лет служу — такого со мной не бывало. Как

сказали к расчету строиться, я собрался как следует — ничего не было, да вдруг у парке как она схватит меня... схватила, схватила, повалила меня наземь, да и все... И как за-снул, сам не слышал, братцы мои! Должно, она самая спячка и есть, — заключил он.

— Ведь и то насилу я тебя разбудил, — сказал Антонов, натягивая сапог: — уж я тебя толкал, толкал... ровно чурбан какой!

— Вишь ты, — заметил Веленчук: — добро уж пьяный бы был...

— Так-то у нас дома баба была, — начал Чикин: — так с печи, почитай, два года не сходила. Стали ее будить раз, думали, что спит, а уж она мертвая лежит, — так тоже все на нее сон находил. Так-то, милый человек!

— А расскажи-ка, Чикин, как ты в отпуску тон задавал себе, — сказал Максимов, улыбаясь и поглядывая на меня, как будто говоря: «не угодно ли тоже послушать глупого человека?»

— Какой тон, Федор Максимыч! — сказал Чикин, бросая искоса на меня беглый взгляд: — известно, рассказывал, какой такой Капказ есть.

— Ну, да, как же, как же! Ты-не модничай... расскажи, как ты им *предводительствовал*?

— Известно, как предводительствовал: спрашивали, как мы живем, — начал Чикин скороговоркой, с видом человека, несколько раз рассказывавшего то же самое: — я говорю, живем хорошо, милый человек: провиант сполна получаем, утро и вечер по чашке *щиколата* идет на солдата, а в обед идет господский *суп* из перловых *круп*, а замест водки *модера* полагается по крышке. Модера Дивирье, что без посуды, мол, сорок две!

— Важная модера! — громче других, заливаясь смехом, подхватил Веленчук. — Вот так модера!

— Ну, а про эзятов как рассказывал? — продолжал допрашивать Максимов, когда общий смех утих несколько.

Чикин нагнулся к огню, достал палочкой уголек, наложил его на трубку и молча, как будто не замечая возбужденного в слушателях молчаливого любопытства, долго раскуривал свои корешки. Когда, наконец, он набрался достаточно дыму, сбросил уголек, сдвинул еще более назад свою шапочку и, подергиваясь и слегка улыбаясь, продолжал:

— Тоже спрашивают, какой, говорит, там, малый, черкес, говорит, или турка у вас на Капказе, говорит, бьет? Я говорю: у нас черкес, милый человек, не один, а разные есть. Есть такие тавлинцы, что в каменных горах живут и камни

замест хлеба едят. Те большие, говорю, ровно как колода добрая, по одному глазу во лбу, и шапки на них красные, вот так и горят, ровно как на тебе, милый человек! — прибавил он, обращаясь к молодому рекрутику, на котором, действительно, была уморительная шапочка с красным верхом.

Рекрутик при этом неожиданным обращении вдруг присел к земле, ударил себя по коленям и расхохотался и раскашлялся до того, что едва мог выговорить задышающимся голосом: «вот так тавлинцы!»

— А то еще, говорю, мумры есть, — продолжал Чикин, движением головы надвигая на лоб свою шапочку: — те другие, — двойнешки маленькие, вот такие. Все по парочкам, говорю, рука с рукой держатся и так-то бегают, говорю, швытко, что ты его на коне не догонишь. — Как же, говорит, малый, как же они, мумры-то, рука с рукой так и родятся, что ли? — воображая передразнивать мужика, сказал он горловым басом. — Да, говорю, милый человек, он такой от природы. Ты им руки разорви, так кровь пойдет, все равно что китаец: шапку с него спиши, она, кровь, пойдет. — А кажи, малый, как они бьют-то? — говорит. — Да так, говорю, поймают тебя, живот распорят, да кишки тебе на руку и мотают, и мотают. Они мотают, а ты смеешься; до телева смеешься, что дух вон...

— Ну, что ж, и имели к тебе доверие, Чикин? — сказал Максимов, слегка улыбаясь, тогда как остальные помирали со смеху.

— И такой, право, народ чудной, Федор Максимыч: верют всему, ей-богу, верют! А стал им про гору *Киэбек* рассказывать, что на ней все лето снег не тает, так вовсе на смех подняли, милый человек! — Что ты, говорит, малый, фастаешь? Видано ли дело: большая гора, да на ней снег не будет таять. У нас, малый, в ростопель так какой бугор, и то прежде растает, а в лошине снег лежит. — Поди ты! — заключил Чикин, подмигивая.

## V

Светлый круг солнца, просвечивающий сквозь молочно-белый туман, уже поднялся довольно высоко; серо-лиловый горизонт постепенно расширялся и хотя гораздо дальше, но также резко ограничивался обманчивою белою стеною тумана.

Впереди нас, за срубленным лесом, открылась довольно большая поляна. По поляне со всех сторон расстился где

черный, где молочно-белый, где лиловый дым костров, и странными фигурами носились белые слои тумана. Далеко впереди изредка показывались группы верховых татар, и слышались нечастые выстрелы наших штуцеров, их винтовок и орудия.

«Это еще было не дело, а одна потеха-с», как говорил добрый капитан Хлопов.

Командир 9-й егерской роты, бывшей у нас в прикрытии, подошел к моим орудиям и, указывая на трех верховых татар, ехавших в это время под лесом, на расстоянии от нас более шестисот сажен, просил, по свойственной всем вообще пехотным офицерам любви к артиллерийской стрельбе, просил меня пустить по ним ядро или гранату.

— Видите, — говорил он, с доброй и убедительной улыбкой, протягивая руку из-за моего плеча: — где два большие дерева, так впереди один на белой лошади и в черной черкеске, а вон сзади еще два. Видите? Нельзя ли их, пожалуйста...

— А вон еще трое едут, по-под лесом, — прибавил Антонов, отличавшийся удивительным глазом, подходя к нам и пряча за спину трубку, которую курил в это время: — еще передний винтовку из чехла вынул. Знатко видать, ваш-бородие!

— Вишь, выпалил, братцы мои! вон дымок забелелся, — сказал Веленчук в группе солдат, стоявших немного сзади нас.

— Должно, в нашу цепь, прохвост! — заметил другой.

— Вишь, их из-за лесу-то сколько высыпало, должно, место глядят — орудию поставить хотят, — добавил третий. — Гхранату кабы им туда в кучку пустить, то-то бы заплевали...

— А как думаешь, как раз дотолева фатит, милый человек? — спросил Чикин.

— Пятьсот либо пятьсот двадцать сажен, больше не будет, — как будто говоря сам с собой, хладнокровно сказал Максимов, хотя видно было, что ему так же, как и другим, ужасно хотелось выпалить: — коли сорок пять линий из единорога дать, то в самый пункт попасть можно, то есть совершенно.

— Знаете, теперь коли в эту кучку направить, непременно в какого-нибудь попадете. Вот-вот теперь, как они съехались, пожалуйста, поскорей велите выстрелить, — продолжал упрашивать меня ротный командир.

— Прикажете навести орудие? — отрывистым басом вдруг спросил Антонов с видом какой-то угрюмой злобы.

Признаюсь, мне и самому этого очень хотелось, и я велел навести 2-е орудие.

Едва я успел сказать, как граната была расплудрена, дослана, и Антонов, прильнув к станине и приставив к затыльнику свои два толстых пальца, уже командовал хобот вправо и влево.

— Чуть-чуть влево... самую малость вправо... еще, еще трошки... так ладно, — сказал он, с гордым видом отходя от орудия.

Пехотный офицер, я, Максимов, один за другим, приложились к прицелу и все подали свои разнообразные мнения.

— Ей-богу, перенесет, — заметил Веленчук, пощелкивая языком, несмотря на то, что он только смотрел чрез плечо Антонова и поэтому не имел никакого основания предполагать это. — Е-е-ей-богу, перенесет, прямо в ту дерево попадет, братцы мои!

— Второе! — скомандовал я.

Прислуга расступилась. Антонов отбежал в сторону, чтобы видеть полет снаряда, трубка вспыхнула, и зазвенела медь. В то же мгновение нас обдало пороховым дымом, и из поразительного гула выстрела отделился металлический жужжащий, с быстротою молнии удаляющийся звук полета, посреди всеобщего молчания замерший в отдалении.

Немного позади группы верховых показался белый дымок, татары расскакались в разные стороны, и до нас долетел звук разрыва.

«Вот важно-то! Эк поскакали! Вишь, черти, не любят!» слышались одобрения и смешки в рядах артиллерийских и пехотных солдат.

— Коли бы трошки ниже пустить, в самую его бы попало, — заметил Веленчук. — Говорил, в дереву попадет: оно и есть — взяло вправо.

## VI

Оставив солдат рассуждать о том, как татары ускакали, когда увидели гранату, и зачем они тут ездили, и много ли их еще в лесу есть, я отошел с ротным командиром за несколько шагов и сел под деревом, ожидая разогревавшихся битков, которые он предложил мне. Ротный командир Болхов был один из офицеров, называемых в полку *бонжурами*. Он имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски. Но, несмотря на это, товарищи любили его. Он был довольно умен и имел достаточно такта, чтобы носить петербургский сюртук, есть хороший обед и говорить по-французски, не слишком оскорбляя общество офицеров. По-

говорив о погоде, о военных действиях, об общих знакомых офицерах и убедившись по вопросам и ответам, по взгляду на вещи в удовлетворительности понятий один другого, мы невольно перешли к разговору более короткому. Притом же на Кавказе между встречающимися одного круга людьми хотя не высказанно, но весьма очевидно проявляется вопрос: зачем вы здесь? и на этот-то мой молчаливый вопрос, мне казалось, собеседник мой хотел ответить.

— Когда этот отряд кончится? — сказал он лениво: — скучно!

— Мне не скучно, — сказал я: — ведь в штабе еще скучнее.

— О, в штабе в десять тысяч раз хуже, — сказал он со злостью. — Нет! когда всё это совсем кончится?

— Что же вы хотите, чтоб кончилось? — спросил я.

— Всё, совсем!.. Что же, готовы битки, Николаев? — спросил он.

— Для чего же вы пошли служить на Кавказ, — сказал я, — коли Кавказ вам так не нравится?

— Знаете, для чего, — отвечал он с решительной откровенностью: — по преданию. В России ведь существует странное предание про Кавказ: будто это какая-то обетованная земля для всякого рода несчастных людей.

— Да, это почти правда, — сказал я: — большая часть из нас...

— Но что лучше всего, — перебил он меня, — что все мы, по преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или расстройств дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, черкешенками — все это страшное что-то, а в сущности ничего в этом нету веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлискую и т. д...

— Да, — сказал я, смеясь: — мы в России совсем иначе смотрим на Кавказ, чем здесь. Это испытывали ли вы когда-нибудь? Как читать стихи на языке, который плохо знаешь: воображаешь себе гораздо лучше, чем есть?..

— Не знаю, право, но ужасно не нравится мне этот Кавказ, — перебил он меня.

— Нет, Кавказ для меня и теперь хорош, но только иначе...



— Может быть, и хорош,—продолжал он с какою-то раздражительностью:— знаю только то, что я не хорош на Кавказе.

— Отчего же так? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Оттого, что, во-первых, он обманул меня. Всё то, от чего я, по преданию, поехал лечиться на Кавказ, всё приехало со мною сюда, только с той разницей, что прежде всё это было на большой лестнице, а теперь на маленькой, на грязненькой, на каждой ступеньке которой я нахожу миллионы маленьких тревог, гадостей, оскорблений; во-вторых, от того, что я чувствую, как я с каждым днем морально падаю ниже и ниже, и главное — то, что чувствую себя неспособным к здешней службе: я не могу переносить опасности... просто, я не храбр...—Он остановился и посмотрел на меня.— Без шуток.

Хотя это непрошенное признание чрезвычайно удивило меня, я не противоречил, как, видимо, хотелось того моему собеседнику, но ожидал от него самого опровержения своих слов, как это всегда бывает в подобных случаях.

— Знаете, я в нынешний отряд в первый раз в деле, — продолжал он, — и вы не можете себе представить, что со мной вчера было. Когда фельдфебель принес приказание, что моя рота назначена в колонну, я побледнел, как полотно, и не мог говорить от волнения. А как я провел ночь, ежели бы вы знали! Если правда, что седеют от страха, то я бы должен быть совершенно белый нынче, потому что, верно, ни один приговоренный к смерти не протрадал в одну ночь столько, как я; даже и теперь, хотя мне и легче немного, чем ночью, но у меня здесь вот что идет, — прибавил он, вертя кулак перед своей грудью. — И что смешно, — продолжал он, — что здесь ужаснейшая драма разыгрывается, а сам ешь битки с луком и уверяешь, что очень весело. Вино есть, Николаев? — прибавил он зевая.

— Это он, братцы мои! — послышался в это время встревоженный голос одного из солдат, и все глаза обратились на опушку дальнего леса.

Вдали увеличивалось и, уносясь по ветру, поднималось голубоватое облако дыма. Когда я понял, что это был против нас выстрел неприятеля, все, что было на моих глазах в эту минуту, все вдруг приняло какой-то новый величественный характер. И козлы ружей, и дым костров, и голубое небо, и зеленые лафеты, и загорелое усатое лицо Николаева, — всё это как будто говорило мне, что ядро, которое вылетело уже из дула и летит в это мгновение в пространстве, может быть, направлено прямо в мою грудь.

— Вы где брали вино? — лениво спросил я Болхова, между тем как в глубине души моей одинаково внятно говорили два голоса: один — господи, прими дух мой с миром, другой — надеюсь не нагнуться, а улыбаться в то время, как будет пролетать ядро, — и в то же мгновение над головой просвистело что-то ужасно неприятно, и в двух шагах от нас шлепнулось ядро.

— Вот, если бы я был Наполеон или Фридрих, — сказал в это время Болхов, совершенно хладнокровно поврачиваясь ко мне, — я бы непременно сказал какую-нибудь любезность.

— Да вы и теперь сказали, — отвечал я, с трудом скрывая тревогу, произведенную во мне прошедшей опасностью

— Да что ж, что сказал: никто не запишет.

— А я запишу.

— Да вы ежели и запишете, так в критику, как говорит Миценков, — прибавил он улыбаясь.

— Тыфу ты проклятый! — сказал в это время сзади нас Антонов, с досадой плюя в сторону, — трошки по ногам не вадела.

Всё мое старанье казаться хладнокровным и все наши хитрые фразы показались мне вдруг невыносимо глупыми после этого простодушного восклицания.

## VII

Неприятель действительно поставил два орудия на том месте, где разбегжались татары, и каждые минут двадцать или тридцать посылал по выстрелу в наших рубщиков. Мой взвод выдвинули вперед на поляну и приказали отвечать ему. В опушке леса показался дымок, слышались выстрел, свист, и ядро падало сзади или впереди нас. Снаряды неприятеля ложились счастливо, и потери не было.

Артиллеристы, как и всегда, вели себя превосходно, проворно заряжали, старательно наводили по показавшемуся дыму и спокойно шутили между собой. Пехотное прикрытие в молчаливом бездействии лежало около нас, дожидая своей очереди. Рубщики леса делали свое дело: топоры звучали по лесу быстрее и чаще; только в то время, как слышался свист снаряда, все вдруг замолкало, среди мертвой тишины раздавались не совсем спокойные голоса: «сторонись, ребята!» и все глаза устремлялись на ядро, рикошетировавшее по косякам и срубленным сучьям.

Туман уже совершенно поднялся и, принимая формы облаков, постепенно исчезал в темноголубой синеве неба; открывшееся солнце ярко светило и бросало веселые отблески

на сталь штыков, медь орудий, оттаивающую землю и блестящие иней. В воздухе слышалась свежесть утреннего мороза вместе с теплом весеннего солнца; тысячи различных теней и цветов мешались в сухих листьях леса, и на торной глянцевиной дороге отчетливо виднелись следы шин и подковных шипов.

Между войсками движение становилось сильнее и заметнее. Со всех сторон показывались чаще и чаще голубоватые дымки выстрелов. Драгуны, с развевающимися флюгерами пик, выехали вперед; в пехотных ротах слышались песни, и обоз с дровами стал строиться в аррьергард. К нашему взводу подъехал генерал и приказал готовиться к отступлению. Неприятель засел в кусты против нашего левого фланга и стал сильно беспокоить нас ружейным огнем. С левой стороны из лесу прожужжала пуля и ударила в лафет, потом другая, третья... Пехотное прикрытие, лежавшее около нас, шумно поднялось, взяло ружья и заняло цепь. Ружейные выстрелы усиливались, и пули стали летать чаще и чаще. Началось отступление и, следовательно, настоящее дело, как это всегда бывает на Кавказе.

По всему видно было, что артиллеристам не нравились пули, как прежде ядра — пехотным. Антонов принахмурился. Чикин передразнивал пули и подшучивал над ними; но видно было, что они ему не нравились. Про одну говорил он: «как торопится», другую называл «пчелкой», третью, которая, как-то медленно и жалобно визжа, пролетела над нами, назвал «сиротой», чем произвел общий хохот.

Рекрутик с непривычки при каждой пуле сгибал набок голову и вытягивал шею, что тоже заставляло смеяться солдатиков; «что, знакомая, что ли, что кланяешься?» говорили ему. И Веленчук, всегда чрезвычайно равнодушный к опасности, теперь был в тревожном состоянии: его, видимо, сердило то, что мы не стреляем картечью по тому направлению, откуда летели пули. Он несколько раз недовольным голосом повторил: «Что ж он нас даром-то бьет? Кабы туда орудью поворотить да картечью бы дунуть, так затих бы небось».

Действительно, пора было это сделать: я приказал выпустить последнюю гранату и зарядить картечью.

— Картечь! — крикнул Антонов лихо, в самом дыму подходя с банником к орудью, только что заряд был выпущен.

В это время недалеко сзади себя я услышал вдруг прекратившийся сухим ударом во что-то быстрый жужжащий звук пули. Сердце сжалось во мне. «Кажется, кого-то из

наших задело», подумал я, но вместе с тем боясь оглянуться под влиянием тяжелого предчувствия. Действительно, вслед за этим звуком послышалось тяжелое падение тела и «о-о-о-ой» — раздражающий стон раненого. «Задело, братцы мои!» проговорил с трудом голос, который я узнал. Это был Веленчук. Он лежал навзничь между передком и орудием. Сума, которую он нес, была отброшена в сторону. Лоб его был весь в крови, и по правому глазу и носу текла густая красная струя. Рана его была в животе, но в ней почти не было крови; лоб же он разбил о пень во время падения.

Все это я разобрал гораздо после; в первую же минуту я видел только какую-то неясную массу и ужасно много, как мне казалось, крови.

Никто из солдат, заряжавших орудие, не сказал слова, только рекрутик пробормотал что-то вроде: «вишь ты как, в кровь», и Антонов, нахмурившись, крикнул сердито; но по всему заметно было, что мысль о смерти пробежала в душе каждого. Все с бóльшей деятельностью принялись за дело. Орудие было заряжено в одно мгновение, и вожатый, принося картечь, шага на два обошел то место, на котором, продолжая стонать, лежал раненый.

## VIII

Каждый бывший в деле, верно, испытывал то странное, хотя и не логическое, но сильное чувство отвращения от того места, на котором был убит или ранен кто-нибудь. Этому чувству заметно поддались в первую минуту мои солдаты, когда нужно было поднять Веленчука и перенести его на подъехавшую повозку. Жданов сердито подошел к раненому, несмотря на усилившийся крик его, взял подмышки и поднял его. «Что стали? берись!» крикнул он, и тотчас же раненого окружили человек десять, даже ненужных, помощников. Но едва сдвинули его с места, как Веленчук начал кричать ужасно и рваться.

— Что кричишь, как заяц! — сказал Антонов грубо, удерживая его за ногу: — а не то бросим.

И раненый затих действительно, только изредка приговаривая: «ох, смерть моя! о-ох, братцы мои!»

Когда же его положили на повозку, он даже перестал охать, и я слышал, что он что-то говорил с товарищами — должно быть, прощался — тихим, но внятным голосом.

В деле никто не любит смотреть на раненого, и я, инстинктивно торопясь удалиться от этого зрелища, приказал скорей везти его на перевязочный пункт и отошел к орудиям;

но через несколько минут мне сказали, что Веленчук зовет меня, и я подошел к повозке.

На дне ее, ухватясь обеими руками за края, лежал раненый. Здоровое, широкое лицо его в несколько секунд совершенно изменилось: он как будто похудел и постарел несколькими годами, губы его были тонки, бледны и сжаты с видимым напряжением; торопливое и тупое выражение его взгляда заменил какой-то ясный, спокойный блеск, и на окровавленных лбу и носу уже лежали черты смерти.

Несмотря на то, что малейшее движение причиняло ему нестерпимые страдания, он просил снять с левой ноги чересок<sup>1</sup> с деньгами.

Ужасно тяжелое чувство произвел во мне вид его голой, белой и здоровой ноги, когда с нее сняли сапог и развязывали черес.

— Тут три монеты и полтинник, — сказал он мне в то время, как я брал в руки черес: — уж вы их сберегите.

Повозка было тронулась; но он остановил ее.

— Я поручику Сулимовскому шинель работал. О... они мне две монеты дали. На полторы я пуговиц купил, а полтина у меня в мешке с пуговицами лежит. Отдайте.

— Хорошо, хорошо, — сказал я: — выздоравливай, братец!

Он не ствечал мне, повозка тронулась, и он снова начал стонать и охать самым ужасным, раздирающим душу голосом. Как будто, окончив мирские дела, он не находил больше причин удерживаться и считал теперь позволительным себе это облегчение.

## IX

— Ты куда? вернись! Куда ты идешь? — закричал я рекрутику, который, положив подмышку свой запасный пальник, с какой-то палочкой в руках прехладнокровно отправлялся за повозкой, повезшей раненого.

Но рекрутик только лениво оглянулся на меня, пробормотал что-то и пошел дальше, так что я должен был послать солдат, чтобы привести его. Он снял свою красную шапочку и, глупо улыбаясь, глядел на меня.

— Куда ты шел? — спросил я.

— В лагерь.

— Зачем?

— А как же — Веленчука-то ранили, — сказал он, опять улыбаясь.

---

<sup>1</sup> Черес — кошелек в виде пояска, который солдаты носят обыкновенно под коленом. (Прим. автора.)

— Так тебе-то что? ты должен здесь оставаться

Он с удивлением посмотрел на меня, потом хладнокровно повернулся, надел шапку и пошел к своему месту.

Дело вообще было счастливо: казаки, слышно было, сделали славную атаку и взяли три татарских тела, пехота запаслась дровами и потеряла всего человек шесть ранеными, в артиллерии выбыли из строя всего один Веленчук и две лошади. Зато вырубали леса версты на три и очистили место так, что его узнать нельзя было: вместо прежде видневшейся сплошной опушки леса открывалась огромная поляна, покрытая дымящимися кострами и двигавшимися к лагерю кавалерией и пехотой. Несмотря на то, что неприятель не переставал преследовать нас артиллерийским и ружейным огнем до самой речки с кладбищем, которую мы переходили утром, отступление сделано было счастливо. Уже я начинал мечтать о щах и бараньем боке с кашей, ожидавших меня в лагере, когда пришло известие, что генерал приказал построить на речке редут и оставить в нем до завтра третий батальон К\* полка и взвод четырехбатарейной. Повозки с дровами и ранеными, казаки, артиллерия, пехота с ружьями и дровами на плечах, — все с шумом и песнями прошли мимо нас. На всех лицах видны были одушевление и удовольствие, внушенные минувшей опасностью и надеждой на отдых. Только мы с третьим батальоном должны были ожидать этих приятных чувств еще до завтра.

## Х

Покуда мы, артиллеристы, хлопотали около орудий: составляли передки, ящики, разбивали коновязь, пехота уже составила ружья, разложила костры, построила из сучьев и кукурузной соломы балаганчики и варила кашу.

Начинало смеркаться. По небу ползли сине-беловатые тучи. Туман, превратившийся в мелкую, сырую мглу, мочил землю и солдатские шинели; горизонт суживался, и вся окрестность принимала мрачные тени. Сырость, которую я чувствовал сквозь сапоги, за шеей, неумолкаемое движение и говор, в которых я не принимал участия, липкая грязь, по которой раскатывались мои ноги, и пустой желудок наводили на меня самое тяжелое, неприятное расположение духа после дня физической и моральной усталости. Веленчук не выходил у меня из головы. Вся простая история его сол-

датской жизни неотвязчиво представлялась моему воображению.

Последние минуты его были так же ясны и спокойны, как и вся жизнь его. Он слишком жил честно и просто, чтобы простодушная вера его в ту будущую, небесную жизнь могла поколебаться в решительную минуту.

— Ваше здоровье, — сказал мне подошедший Николаев, — пожалуйста к капитану, просят чай кушать.

Кое-как пробираясь между козлами и кострами, я вслед за Николаевым пошел к Болхову, с удовольствием мечтая о стакане горячего чаю и веселой беседе, которая бы разогнала мои мрачные мысли. «Что, нашел?» слышался голос Болхова из кукурузного шалаша, в котором светился огонек.

— Привел, ваше благородие! — басом отвечал Николаев.

В балагане на сухой бурке сидел Болхов, расстегнувшись и без папахи. Подле него кипел самовар, стоял барабан с закуской. В землю был воткнут штык со свечкой. «Каково?» с гордостью сказал он, оглядывая свое уютное хозяйство. Действительно, в балагане было так хорошо, что за чаем я совсем забыл про сырость, темноту и рану Веленчука. Мы разговорились про Москву, про предметы, не имеющие никакого отношения с войной и Кавказом.

После одной из тех минут молчания, которые прерывают иногда самые оживленные разговоры, Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром? — сказал он.

— Нет. Отчего же? Мне только показалось, что вы слишком откровенны, а есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо.

— Отчего? Нет! Ежели бы была какая-нибудь возможность променять эту жизнь хоть на жизнь самую пошлую и бедную, только без опасностей и службы, я бы ни минуты не задумался.

— Отчего же вы не перейдете в Россию? — сказал я.

— Отчего? — повторил он. — О! я давно уже об этом думал. Я не могу теперь вернуться в Россию до тех пор, пока не получу Анны и Владимира, Анны на шею и майора, как и предполагал, ехавши сюда.

— Отчего же, ежели вы чувствуете себя неспособным, как вы говорите, к здешней службе?

— Но когда я еще более чувствую себя неспособным к тому, чтобы вернуться в Россию тем, чем я поехал. Это тоже одно из преданий, существующих в России, которое

утвердили Пассек, Слепцов и другие, что на Кавказ стоит приехать, чтобы осыпаться наградами. И от нас все ожидают и требуют этого; а я вот два года здесь, в двух экспедициях был и ничего не получил. Но все-таки у меня столько самолюбия, что я не уеду отсюда ни за что до тех пор, пока не буду майором с Владимиром и Анной на шее. Я уже втянулся до того, что меня всего коробит, когда Гнилокишкину дадут награду, а мне нет. И потом, как я покажусь на глаза в России своему старосте, купцу Котельникову, которому я хлеб продаю, тетушке московской и всем этим господам после двух лет на Кавказе без всякой награды? Правда, что я этих господ знать не хочу, и, верно, они тоже очень мало обо мне заботятся; но уж так устроен человек, что я их знать не хочу, а из-за них гублю лучшие года, все счастье жизни, всю будущность свою погублю.

## XI

В это время слышался снаружи голос батальонного командира: «с кем это вы, Николай Федорыч?»

Болхов назвал меня, и вслед затем в балаган влезли три офицера: майор Кирсанов, адъютант его батальона и ротный командир Тросенко.

Кирсанов был невысокий, полный мужчина, с черными усиками, румяными щеками и масляными глазками. Глазки эти были самой замечательной чертой в его физиономии. Когда он смеялся, то от них оставались только две влажные звездочки, и звездочки эти вместе с натянутыми губами и вытянутой шеей принимали иногда престранное выражение бессмысленности. Кирсанов в полку вел и держал себя лучше всякого другого: подчиненные не бранили, а начальники уважали его, хотя общее мнение о нем было, что он очень недалек. Он знал службу, был исправен и усерден, всегда был при деньгах, имел коляску и повара и весьма натурально умел притворяться гордым.

— О чем это толкуете, Николай Федорыч? — сказал он входя.

— Да вот о приятностях здешней службы.

Но в это время Кирсанов заметил меня, юнкера, и потому, чтобы дать почувствовать мне свое значение, как будто не слушая ответа Болхова и глядя на барабан, спросил:

— Что, устали, Николай Федорыч?

— Нет, ведь мы... — начал было Болхов.

Но опять, должно быть, достоинство батальонного командира требовало перебить и сделать новый вопрос:



— А ведь славное дело было нынче?

Батальонный адъютант был молодой прапорщик, недавно произведенный из юнкеров, скромный и тихий мальчик, со стыдливым и добродушно-приятным лицом. Я видал его прежде у Болхова. Молодой человек часто приходил к нему, раскланивался, садился в уголок и по несколько часов молчал, делал папиросы, курил их, потом вставал, раскланивался и уходил. Это был тип бедного русского дворянского сына, выбравшего военную карьеру, как одну возможную при своем образовании, и ставящего выше всего в мире свое офицерское звание, — тип простодушный и милый, несмотря на смешные неотъемлемые принадлежности: кيسет, халат, гитару и щеточку для усов, с которыми мы привыкли воображать его. В полку рассказывали про него, будто он хвастался тем, что он с своим денщиком справедлив, но строг, будто он говорил: «Я редко наказываю; но уж когда меня доведут до этого, то беда», и что, когда пьяный денщик обокрал его совсем и стал даже ругать своего барина, будто он привел его на гауптвахту, велел приготовить все для наказания, но при виде приготовлений до того смутился, что мог только говорить: «Ну, вот видишь... ведь я могу...», и, совершенно растерявшись, убежал домой и с той поры боялся смотреть в глаза своему Чернову. Товарищи не давали ему покоя, дразнили его этим, и я несколько раз слышал, как простодушный мальчик отговаривался и, краснея до ушей, уверял, что это неправда, а совсем напротив.

Третье лицо, капитан Тросенко, был старый кавказец в полном значении этого слова, то есть человек, для которого рота, которую он командовал, сделалась семейством, крепость, где был штаб, — родиной, а песенники — единственными удовольствиями жизни, — человек, для которого все, что не было Кавказ, было достойно презрения, да и почти недостойно вероятия; все же, что было Кавказ, разделялось на две половины: нашу и не нашу; первую он любил, вторую ненавидел всеми силами своей души, и главное — он был человек закаленной, спокойной храбрости, редкой доброты в отношении к своим товарищам и подчиненным и отчаянной прямоты и даже дерзости в отношении к ненавистным для него почему-то адъютантам и бонжурам. Входя в балаган, он чуть не пробил головой крыши, потом вдруг опустился и сел на землю.

— Ну, что? — сказал он и, вдруг заметив мое незнакомое для него лицо, остановился и вперил в меня мутный, пристальный взгляд.

— Так о чем это вы беседовали? — спросил майор, выни-

мая часы и глядя на них, хотя, я твердо уверен, ему совсем не нужно было делать этого.

— Да вот спрашивал меня, зачем я служу здесь.

— Разумеется, Николай Федорыч хочет здесь отличиться и потом во-свося.

— Ну, а вы скажите, Абрам Ильич, зачем вы служите на Кавказе?

— Я потому, знаете, что, во-первых, мы все обязаны по своему долгу служить. Чтò? — прибавил он, хотя все молчали. — Вчера я получил письмо из России, Николай Федорыч, — продолжал он, видимо, желая переменить разговор: — мне пишут, что... такие вопросы странные делают.

— Какие же вопросы? — спросил Болхов.

Он засмеялся.

— Право, странные вопросы... Мне пишут, что может ли быть ревность без любви... Чтò? — спросил он, оглядываясь на всех нас.

— Вот как! — сказал, улыбаясь, Болхов.

— Да, знаете, в России хорошо, — продолжал он, как будто фразы его весьма натурально вытекали одна из другой. — Когда я в 52 году был в Тамбове, то меня принимали везде как флигель-адъютанта какого-нибудь. Поверите ли, на балу у губернатора, как я вошел, так знаете... очень хорошо принимали. Сама губернаторша, знаете, со мной разговаривала и спрашивала про Кавказ, и все так... что я не знал... Мою золотую шашку смотрят, как редкость какую-нибудь, спрашивают: за чтò шашку получил, за чтò — Анну, за чтò — Владимира, и я им так рассказывал... Чтò? Вот этим-то Кавказ хорош, Николай Федорыч! — продолжал он, не дожидаясь ответа: — там смотрят на нашего брата, кавказца, очень хорошо. Молодой человек, знаете, штаб-офицер с Анной и Владимиром — это много значит в России... Чтò?

— Вы и прихвастнули-таки, я думаю, Абрам Ильич? — сказал Болхов.

— Хи-хи! — засмеялся он своим глупым смехом. — Знаете, это нужно. Да и поел я славно эти два месяца!

— А что, хорошо там, в России-то? — сказал Тросенко, спрашивая про Россию, как про какой-то Китай или Японию.

— Да-с, уж что мы там шампанского выпили в два месяца, так это страх!

— Да чтò вы! Вы, верно, лимонад пили. Вот я так уж бы треснул там, что знали бы, как кавказцы пьют. Не даром бы слава прошла. Я бы показал, как пьют... А, Волхов? — прибавил он.

— Да ведь ты, дядя, уж за десять лет на Кавказе, — сказал Болхов: — а помнишь, что Ермэлов сказал; а Абрам Ильич только шесть...

— Какой десяти! скоро шестнадцать.

— Вели же, Болхов, *шолфею* дать. Сыро, бррр!.. А? — прибавил он, улыбаясь, — выпьем, майор!

Но майор был недоволен и первым обращением к нему старого капитана, теперь же, видимо, съежился и искал убежища в собственном величии. Он запел что-то и снова посмотрел на часы.

— Вот я так уж никогда туда не поеду, — продолжал Тросенко, не обращая внимания на насупившегося майора: — я и ходить и говорить-то по русскому отвык. Скажут: что за чудо такое приехало? Сказано, Азия! Так, Николай Федорыч? Да и что мне в России! Все равно, тут когда-нибудь подстрелят. Спросят: где Тросенко? Подстрелили. Что вы тогда с восьмой ротой сделаете... а? — прибавил он, обращаясь постоянно к майору.

— Послать дежурного по батальону! — крикнул Кирсанов, не отвечая капитану, хотя, я опять уверен был, ему не нужно было отдавать никаких приказаний.

— А вы, я думаю, теперь рады, молодой человек, что на двойном окладе? — сказал майор после нескольких минут молчания батальонному адъютанту.

— Как же-с, очень-с.

— Я нахожу, что наше жалованье теперь очень большое, Николай Федорыч, — продолжал он: — молодому человеку можно жить весьма прилично и даже позволить себе роскошь маленькую.

— Нет, право, Абрам Ильич, — робко сказал адъютант: — хоть оно и двойное, а только что так... ведь лошадь надо иметь...

— Что вы мне говорите, молодой человек! Я сам прапорщиком был и знаю. Поверьте, с порядком жить очень можно. Да вот вам, сочтите, — прибавил он, загибая мизинец левой руки.

— Все вперед жалованье забираем — вот вам и счет, — сказал Тросенко, выпивая рюмку водки.

— Ну, да ведь на это что же вы хотите... Что?

В это время в отверстие балагана всунулась белая голова со сплюснутым носом, и резкий голос с немецким выговором сказал:

— Вы здесь, Абрам Ильич? а дежурный ищет вас.

— Заходите, Крафт! — сказал Болхов.

Длинная фигура в сюртуке генерального штаба пролезла

в двери и с особенным азартом принялась пожимать всем руки.

— А, милый капитан! и вы тут? — сказал он, обращаясь к Гросенке.

Новый гость, несмотря на темноту, пролез до него и, к чрезвычайному, как мне показалось, удивлению и неудовольствию капитана, поцеловал его в губы.

«Это немец, который хочет быть хорошим товарищем», — подумал я.

## XII

Предположение мое тотчас же подтвердилось. Капитан Крафт попросил водки, назвав ее *горилкой*, и ужасно крикнул и закинул голову, выпивая рюмку.

— Что, господа, поколесовали мы нынче по равнинам Чечни... — начал было он, но, увидав дежурного офицера, тотчас замолчал, предоставив майору отдавать свои приказания.

— Что, вы обошли цепь?

— Обошел-с.

— А секреты высланы?

— Высланы-с.

— Так вы передайте приказания ротным командирам, чтобы были как можно осторожнее.

— Слушаю-с.

Майор прищурил глаза и глубокомысленно задумался.

— Да скажите, что люди могут теперь варить кашу.

— Они уж варят.

— Хорошо. Можете итти-с.

— Ну-с, так вот мы считали, что нужно офицеру, — продолжал майор со снисходительной улыбкой обращаясь к нам. — Давайте считать.

— Нужно вам один мундир и брюки... так-с?

— Так-с.

— Это, положим, пятьдесят рублей на два года, стало быть, в год двадцать пять рублей на одежду; потом на еду, каждый день по два абаза..., так-с?

— Так-с; это даже много.

— Ну, да я кладу. Ну, на лошадь с седлом для ремонта 30 руб. — вот и всё. Выходит всего 25 да 120 да 30=175. Всё вам остается еще на роскошь, на чай и на сахар, на табак — рублей двадцать. Извольте видеть?.. Правда, Николай Федорыч?

— Нет-с, позвольте, Абрам Ильич! — робко сказал адью-

тант: — ничего-с на чай и сахар не останется. Вы кладете одну пару на два года, а тут по походам панталон не наготовишься; а сапоги? Я ведь почти каждый месяц пару истреплю-с. Потом-с белье-с, рубашки, полотенца, подвертки: все ведь это нужно купить-с. А как сочтешь, ничего не останется-с. Это, ей-богу-с, Абрам Ильич!

— Да, подвертки прекрасно носить,—сказал вдруг Крафт после минутного молчания, с особенной любовью произнося слово подвертки: — знаете, просто, по-русски.

— Я вам скажу,— заметил Тросенко: — как ни считай, все выходит, что нашему брату зубы на полку класть приходится, а на деле выходит, что все живем, и чай пьем, и табак курим, и водку пьем. Послужишь с мое, — продолжал он, обращаясь к прапорщику: — тоже выучишься жить. Ведь знаете, господа, как он с денщиками обращается?

И Тросенко, помирая со смеху, рассказал нам всю историю прапорщика с своим денщиком, хотя мы все ее тысячу раз слышали.

— Да ты что, брат, таким розаном смотришь? — продолжал он, обращаясь к прапорщику, который краснел, потел и улыбался, так что жалко было смотреть на него. — Ничего, брат, и я такой же был, как ты, а теперь, видишь, молодец стал. Пусти-ка сюда какого молодчика из России — видали мы их, — так у него тут и спазмы и ревматизмы какие-то сделались бы; а я вот, сел тут — мне здесь и дом, и постель, и все. Видишь...

При этом он выпил еще рюмку водки.

— А? — прибавил он, пристально глядя в глаза Крафту.

— Вот это я уважаю! вот это истинно старый кавказец! Позвольте вашу руку.

И Крафт растолкал всех нас, продрался к Тросенке и, схватив его руку, потряс ее с особенным чувством.

— Да, мы можем сказать, что испытали здесь всего, — продолжал он: — в сорок пятом году... ведь вы изволили быть там, капитан? Помните ночь с двенадцатое на тринадцатое, когда по коленки в грязи ночевали, а на другой день пошли на завалы? Я тогда был при главнокомандующем, и мы пятнадцать завалов взяли в один день. Помните, капитан?

Тросенко сделал головой знак согласия и, выдвинув вперед нижнюю губу, зажмурился.

— Извольте видеть... — начал Крафт, чрезвычайно одушевленно, делая руками неуместные жесты и обращаясь к майору.

Но майор, должно быть, неоднократно слышавший уже этот рассказ, вдруг сделал такие мутные, тупые глаза, глядя на своего собеседника, что Крафт отвернулся от него и обратился ко мне и Болхову, попеременно глядя то на того, то на другого. На Тросенку же он ни разу не взглянул во время всего своего рассказа.

— Вот извольте видеть, как вышли мы утром, главнокомандующий и говорит мне: «Крафт! возьми эти завалы». Знаете, наша военная служба, без рассуждений — руку к козырьку: «слушаю, ваше сиятельство!» и пошел. Только, как мы подошли к первому завалу, я обернулся и говорю солдатам: «Ребята! не робеть! В оба смотреть! Кто отстанет, своей рукой изрублю». С русским солдатом, знаете, надо просто. Только вдруг граната... я смотрю, один солдат, другой солдат, третий солдат, потом пули... взжиги! взжиги! взжиги!.. Я говорю: «Вперед, ребята, за мной!» Только мы подошли, знаете, смотрим, я вижу тут, как это... знаете... как это называется? — и рассказчик замахал руками, отыскивая слово.

— Обрыв, — подсказал Болхов.

— Нет... Ах, как это? Боже мой! ну, как это?.. обрыв, — сказал он скоро. — Только ружья наперевес... ура! та-ра-та-та-та! Неприятеля ни души. Знаете, все удивились. Только хорошо: идем мы дальше — второй завал. Это совсем другое дело. У нас уж ретивое закипело, знаете. Только подошли мы, смотрим, я вижу, второй завал — нельзя итти. Тут... как это, ну как называется этакая... Ах! как это...

— Опять обрыв, — подсказал я.

— Совсем нет, — продолжал он с сердцем: — не обрыв, а... ну, вот, как это называется, — и он сделал рукой какой-то нелепый жест. — Ах, боже мой! как это...

Он, видимо, так мучился, что невольно хотелось подсказать ему.

— Река, может, — сказал Болхов.

— Нет, просто обрыв. Только мы туда, тут, поверите ли, такой огонь — ад...

В это время за балаганом кто-то спросил меня. Это был Максимов. А так как за прослушанием разнообразной истории двух завалов мне оставалось еще тринадцать, я рад был придраться к этому случаю, чтобы пойти к своему взводу. Тросенко вышел вместе со мной. «Всё врет, — сказал он мне, когда мы на несколько шагов отошли от балагана: — его и не было вовсе на завалах», и Тросенко так добродушно расхохотался, что и мне смешно стало.

Уже была темная ночь, и только костры тускло освещали лагерь, когда я, окончив уборку, подошел к своим солдатам. Большой пень, тлея, лежал на углях. Вокруг него сидели только трое: Антонов, поворачивавший в огне котелок, в котором варился *рябка*<sup>1</sup>, Жданов, хворостинкой задумчиво разгребавший золу, и Чикин с своей вечно нераскуренной трубочкой. Остальные уже расположились на отдых — кто под ящичками, кто в сене, кто около костров. При слабом свете углей я различал знакомые мне спины, ноги, головы; в числе последних был и рекрутик, который, придвинувшись к самому огню, казалось, спал уже. Антонов дал мне место, я сел подле него и закурил папироску. Запах тумана и дыма от сырых дров, распространяясь по всему воздуху, ел глаза, и та же сырая мгла сыпалась с мрачного неба.

Подле нас слышались мерное храпенье, треск сучьев в огне, легкий говор и изредка бряцанье ружей пехоты. Везде кругом пылали костры, освещая в небольшом круге вокруг себя черные тени солдат. Около ближайших костров я различал на освещенных местах фигуры голых солдат, над самым пламенем махающих своими рубахами. Еще много людей не спало, двигалось и говорило на пространстве пятнадцати квадратных сажень; но мрачная, глухая ночь давала свой особенный таинственный тон всему этому движению, как будто каждый чувствовал эту мрачную тишину и боялся нарушить ее спокойную гармонию. Когда я заговорил, я почувствовал, что мой голос звучит иначе. На лицах всех солдат, сидевших около огня, я читал то же настроение. Я думал, что до моего прихода они говорили о раненом товарище; но ничуть не бывало: Чикин рассказывал про приемку вещей в Тифлисе и про тамошних школьников.

Я всегда и везде, особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, про-

<sup>1</sup> Солдатское кушанье — моченые сухари с салом. (Прим. автора).

стога и способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего только о пробитом новом полушубке; ездого, вылезавшего из-под убитой под ним лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случая при осаде Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы, и фейерверкер двум солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части. Помню я еще, в отряде 1852 года, один из молодых солдат к чему-то сказал во время дела, что уж, кажется, взводу не выйти отсюда, и как весь взвод со злобой напустился на него за такие дурные слова, которые они и повторять не хотели. Вот теперь, когда у каждого в душе должна была быть мысль о Веленчуке, и когда всякую секунду мог быть по нас залп подкравшихся татар, все слушали бойкий рассказ Чикина, и никто не упоминал ни о нынешнем деле, ни о предстоящей опасности, ни о раненом, как будто это было бог знает как давно или вовсе никогда не было. Но мне показалось только, что лица их были несколько пасмурнее обыкновенного, они не слишком внимательно слушали рассказ Чикина, и даже Чикин чувствовал, что его не слушают, но говорил уж так себе.

К костру подошел Максимов и сел подле меня. Чикин дал ему место, замолчал и снова начал сосать свою трубочку.

— Пехотные в лагерь за водкой посылали, — сказал Максимов после довольно долгого молчания: — сейчас воротились. — Он плюнул в огонь. — Унтер-офицер сказывал, нашего видали.

— Что, жив ещё? — спросил Антонов, поворачивая котелок.

— Нет, помер.

Рекрутик вдруг поднял над огнем свою маленькую голову в красной шапочке, с минуту пристально посмотрел на Максимова и на меня, потом быстро опустил ее и закутался шинелью.

— Вишь, смерть-то недаром к нему поутру приходила, как я будил его в парке, — сказал Антонов.

— Пустое! — сказал Жданов, поворачивая тлеющий пень, — и все замолчали.

Среди общей тишины сзади нас послышался выстрел в лагере. Барабанщики у нас приняли его и заиграли зорю.



Когда затихла последняя дробь, Жданов первый встал и снял шапку. Мы все последовали его примеру.

Среди глубокой тишины ночи раздался стройный хор мужественных голосов:

«Отче наш, иже еси на небесех! да святится имя твое; да придет царствие твое; да будет воля твоя, яко на небеси и на земли; хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

— Так-то у нас в сорок пятом году солдатик один в это место контужен был, — сказал Антонов, когда мы надели шапки и сели опять около огня: — так мы его два дня на орудии возили... помнишь Шевченку, Жданов?.. да так и оставили там под деревом.

В это время пехотный солдат, с огромными бакенбардами и усами, с ружьем и сумкой, подошел к нашему костру.

— Позвольте, землячки, огоньку, закурить трубочку, — сказал он.

— Чтò ж, закуривайте: огню достаточно, — заметил Чикин.

— Это, верно, про Дарги, земляк, сказываете? — обратился пехотный к Антонову.

— Про сорок пятый год, про Дарги, — ответил Антонов.

Пехотный покачал головой, зажмурился и присел около нас на корточках.

— Да уж было там всего, — заметил он.

— Отчего ж бросили? — спросил я Антонова.

— От живота крепко мучился. Как стоим, бывало, ничего, а как тронемся, то криком кричит. Богом просил, чтоб оставили, да все жалко было. Ну, а как он стал нас уж крепко донимать, трех людей у нас убил в орудии, офицера убил, да и от батареи своей отбились мы как-то, — беда совсем, не думали орудия увезти. Грязь же была.

— Пуще всего, что под Индейской горой грязно было, — заметил какой-то солдат.

— Да, вот там-то ему пуще хуже стало; подумали мы с Аношенкой, — старый фирверкин был, — что ж в самом деле, живому ему не быть, а богом просит — оставим, мол, его здесь. Так и порешили. Дерево росла там ветлеватая такая. Взяли мы сухариков моченых ему положили, — у Жданова были, — прислонили его к дереву к этому, надели на него рубаху чистую; простились как следует, да так и оставили.

— И важный солдат был?

— Ничего солдат был, — заметил Жданов.

— И что с ним случилось, бог его знает, — продолжал Антонов. — Много там всякого нашего брата осталось.

— В Даргах-то? — сказал пехотный, вставая и расковыривая трубку и снова зажмурившись и покачивая головой, — уж было там всего.

И он отошел от нас.

— А что, много ещё у нас в батарее солдат, которые в Дарго были? — спросил я.

— Да что? вот Жданов, я, Пацан, что в отпуску теперь, да ещё человек шесть есть. Больше не будет.

— А что, Пацан-то наш загулял в отпуску? — сказал Чикин, спуская ноги и укладываясь головой на бревно. — Почитай, год скоро, что его нет.

— А что, ты ходил в годовой? — спросил я у Жданова.

— Нет, не ходил, — отвечал он неохотно.

— Ведь хорошо итти, — сказал Антонов: — от богатого дома, али когда сам в силах работать, так и итти лестно, и тебе дома рады будут.

— А то что итти, когда от двух братьев! — продолжал Жданов: — самим только бы прокормиться, а не нашего брата солдата кормить. Подмога плохая, как уж двадцать пять лет прослужил. Да и живы ли, кто е знает.

— А разве ты не писал? — спросил я.

— Как не писать! Два письма послал, да все в ответ не присылают. Али померли, али так не посылают, что, значит, сами в бедности живут: так где тут!

— А давно ты писал?

— Пришедши с Даргов, писал последнее письмо.

— Да ты «березушку» спел бы, — сказал Жданов Антонову, который в это время, облокотясь на колени, мурлыкал какую-то песню.

Антонов запел «березушку».

— Эта что ни на есть самая любимая песня дяденьки Жданова, — сказал мне шопотом Чикин, дернув меня за шинель: — другой раз, как заиграет ее Филипп Антоныч, так он ажно плачет.

Жданов сидел сначала совершенно неподвижно, с глазами, устремленными на тлевшие уголья, и лицо его, освещенное красноватым светом, казалось чрезвычайно мрачным; потом скулы его под ушами стали двигаться все быстрее и быстрее, и, наконец, он встал и, разостлав шинель, лег в тени сзади костра. Или он ворочался и кряхтел, укладываясь спать, или же смерть Веленчука и эта печальная погода так настроили меня, но мне действительно показалось, что он плачет.

Низ пня, превратившийся в уголь, изредка вспыхивая,

освещал фигуру Антонова, с его седыми усами, красной рожей и орденами на накиннутой шинели, чьи-нибудь сапоги, голову или спину. Сверху сыпалась та же печальная мгла, в воздухе слышался тот же запах сырости и дыма, вокруг видны были те же светлые точки потухавших костров, и слышны были среди общей тишины звуки заунывной песни Антонова; а когда она замолкала на мгновение, звуки слабого ночного движения лагеря — храпения, бряцания ружей часовых и тихого говора вторили ей.

— Вторая смена! Макатюк и Жданов! — крикнул Максимов.

Антонов перестал петь, Жданов встал, вздохнул, перешагнул через бревно и побрел к орудиям.

15 июня 1855 г.

## ИЗ КАВКАЗСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

### *Разжалованный*

Мы стояли в отряде. Дела уже кончались, дорубали просеку и с каждым днем ожидали из штаба приказа об отступлении в крепость. Наш дивизион батарейных орудий стоял на скате крутого горного хребта, оканчивающегося быстрой горной речкой Мечиком, и должен был обстреливать расстилавшуюся впереди равнину. На живописной равнине этой, вне выстрела, изредка, особенно перед вечером, там и сям показывались невраждебные группы конных горцев, выезжавших из любопытства посмотреть на русский лагерь. Вечер был ясный, тихий и свежий, как обыкновенно декабрьские вечера на Кавказе, солнце спускалось за крутым отрогом гор налево и бросало розовые лучи на палатки, рассыпанные по горе, на движущиеся группы солдат и на наши два орудия, тяжело, как будто вытянув шеи, неподвижно стоявшие в двух шагах от нас на земляной батарее. Пехотный пикет, расположенный на бугре налево, отчетливо обозначался на прозрачном свете заката, с своими козлами ружей, фигурой часового, группой солдат и дымом разложенного костра. Направо и налево, по полугоре, на черной притоптанной земле белели палатки, а за палатками чернели голые стволы чинарного леса, в котором беспрестанно стучали топорами, трещали костры и с грохотом падали подрубленные деревья.

Голубоватый дым трубой подымался со всех сторон в светло-синее морозное небо. Мимо палаток и низами около ручья тянулись с топотом и фырканием казаки, драгуны и артиллеристы, возвращавшиеся с водопоя. Начинало подмораживать, все звуки были слышны особенно явственно, и далеко вперед по равнине было видно в чистом, редком воздухе. Неприятельские кучки, уже не возбуждая любопытства солдат, тихо разъезжали по светложелтому жнивью кукурузных полей, кой-где из-за деревьев виднелись высокие столбы кладбищ и дымящиеся аулы.

Наша палатка стояла недалеко от орудий, на сухом и высоком месте, с которого вид был особенно обширен. Подле палатки, около самой батареи, на расчищенной площадке была устроена нами игра в городки или чурки. Услужливые солдатики тут же приделали для нас плетеные лавочки и столик. По причине всех этих удобств артиллерийские офицеры, наши товарищи, и несколько пехотных любили по вечерам собираться в нашей батарее и называли это место клубом.

Вечер был славный, лучшие игроки собрались, и мы играли в городки. Я, прапорщик Д. и поручик О. проиграли сряду две партии и к общему удовольствию и смеху зрителей, — офицеров, солдат и денщиков, глядевших на нас из своих палаток, — провезли два раза на своих спинах выигравшую партию от одного кона до другого. Особенно забавно было положение огромного, толстого штабс-капитана Ш., который, задыхаясь и добродушно улыбаясь, с волочащимися по земле ногами проехал на маленьком и тщедушном поручике О. Но становилось уже поздно, денщики вынесли нам, на всех шесть человек, три стакана чая без блюдец, и мы, окончив игру, подошли к плетеным лавочкам. Около них стоял незнакомый нам небольшой человечек с кривыми ногами, в нагольном тулупе и в папахе с длинною висящей белой шерстью. Как только мы подошли близко к нему, он нерешительно несколько раз снял и надел шапку и несколько раз как будто собирався подойти к нам и снова останавливался. Но решив, должно быть, что уже больше нельзя оставаться незамеченным, незнакомый человек этот снял шапку и, обходя нас кругом, подошел к штабс-капитану Ш.

— А, Гуськантини! Ну что, батенька? — сказал ему Ш., добродушно улыбаясь еще под влиянием своей поездки.

Гуськантини, как его назвал Ш., тотчас же надел шапку и сделал вид, что он засовывает руки в карманы полушубка, но с той стороны, с которой он стоял ко мне, кармана на полушубке не было, и маленькая красная рука его осталась

в неловком положении. Мне хотелось решить, кто такой был этот человек (юнкер или разжалованный?), и я, не замечая того, что мой взгляд (то есть взгляд незнакомого офицера) смущал его, вглядывался пристально в его одежду и наружность. Ему казалось лет тридцать. Маленькие, серые, круглые глаза его как-то заспанно и вместе с тем беспокойно выглядывали из-за грязного, белого курпоя папахи, висевшего ему на лицо. Толстый, неправильный нос среди ввалившихся щек изобличал болезненную, неестественную худобу. Губы, весьма мало закрытые редкими, мягкими, белесоватыми усами, беспрестанно находились в беспокойном состоянии, как будто пытались принять то то, то другое выражение. Но все эти выражения были как-то недоконченны; на лице его оставалось постоянно одно преобладающее выражение испуга и торопливости. Худую, жилистую шею его обвешивал шерстяной зеленый шарф, скрывающийся под полушубком. Полушубок был затертый, короткий, с нашитой собакой на воротнике и на фальшивых карманах. Панталоны были клетчатые, пепельного цвета, и сапоги с короткими черненными солдатскими голенищами.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал я ему, когда он снова, робко взглянув на меня, снял было шапку.

Он поклонился мне с благодарным выражением, надел шапку и, достав из кармана грязный ситцевый кисет на шнурочках, стал делать папироску.

Я сам недавно был юнкером, старым юнкером, неспособным уже быть добродушно-услужливым младшим товарищем, и юнкером без состояния, поэтому, хорошо зная всю моральную тяжесть этого положения для немолодого и самолюбивого человека, я сочувствовал всем людям, находящимся в таком положении, и старался объяснить себе их характер и степень и направление умственных способностей для того, чтобы по этому судить о степени их моральных страданий. Этот юнкер или разжалованный, по своему беспокойному взгляду и тому умышленному беспрестанному изменению выражения лица, которое я заметил в нем, казался мне человеком очень неглупым и крайне самолюбивым и поэтому очень жалким.

Штабс-капитан Ш. предложил нам сыграть еще партию в городки с тем, чтобы проигравшая партия, кроме перевозу, заплатила за несколько бутылок красного вина, рому, сахару, корицы и гвоздики для глинтвейна, который в эту зиму, по случаю холода, был в большой моде в нашем отряде. Гуськантини, как его опять назвал Ш., тоже пригласили в партию, но, перед тем как начинать игру, он, видимо, бо-

рясь между удовольствием, которое ему доставило это приглашение, и каким-то страхом, отвел в сторону штабс-капитана Ш. и стал что-то нашептывать ему. Добродушный штабс-капитан ударил его своей пухлой, большой ладонью по животу и громко отвечал: «Ничего, батенька, я вам поверю».

Когда игра кончилась, и та партия, в которой был незнакомый нижний чин, выиграла, и ему пришлось ехать верхом на одном из наших офицеров, прапорщике Д., — прапорщик покраснел, отошел к диванчикам и предложил нижнему чину папирос в виде выкупа. Пока заказали глинтвейн и в денщицкой палатке слышалось хлопотливое хозяйничанье Никиты, посылавшего вестового за корицей и гвоздикой, и спина его натягивала то там, то сям грязные полы палатки, мы все семь человек уселись около лавочек и, попеременно попивая чай из трех стаканов и посматривая вперед на начинавшую одеваться сумерками равнину, разговаривали и смеялись о разных обстоятельствах игры. Незнакомый человек в полушубке не принимал участия в разговоре, упорно отказывался от чая, который я несколько раз предлагал ему, и, сидя на земле по-татарски, одну за другою делал из мелкого табаку папироски и выкуривал их, как видно было, не столько для своего удовольствия, сколько для того, чтобы дать себе вид чем-нибудь занятого человека. Когда заговорили о том, что на завтра ожидают отступления и, может быть, дела, он приподнялся на колени и, обращаясь к одному штабс-капитану Ш., сказал, что он был теперь дома у адъютанта и сам писал приказ о выступлении на завтра. Мы все молчали в то время, как он говорил, и, несмотря на то, что он, видимо, робел, заставили его повторить это крайне для нас интересное известие. Он повторил сказанное, прибавив, однако, что он *был и сидел* у адъютанта, с которым он *живет вместе*, в то время как принесли приказание.

— Смотрите, коли вы не лжете, батенька, так мне надо в своей роте итти приказать кой-что к завтраму, — сказал штабс-капитан Ш.

— Нет... отчего же?... как же можно, я наверно... — заговорил нижний чин, но вдруг замолчал и, видимо, решившись обидеться, ненатурально нахмурил брови и, шепча что-то себе под нос, снова начал делать папироску. Но высыпаемого мельчайшего табаку уже было недостаточно в его ситцевом кисете, и он попросил Ш. *одолжить ему папиросочку*. Мы довольно долго продолжали между собою ту однообразную военную болтовню, которую знает каждый, кто бывал в походах, жаловались все одними и теми же выражениями на

скуку и продолжительность похода, одним и тем же манером рассуждали о начальстве, все так же, как много раз прежде, хвалили одного товарища, жалели другого, удивлялись, как много выиграл тот, как много проиграл этот, и т. д., и т. д.

— Вот, батенька, адъютант-то наш прорвался так прорвался, — сказал штабс-капитан Ш., — в штабе вечно в выигрыше был, с кем ни сядет, бывало, загребет, а теперь уж второй месяц все проигрывает. Не задался ему нынешний отряд. Я думаю, монетов 1 000 спустил, да и вещей монетов на 500: ковер, что у Мухина выиграл, пистолеты Никитинские, часы золотые, от Сады, что ему Воронцов подарил, всё ухнуло.

— Поделом ему, — сказал поручик О., — а то уж он очень всех обдувал: — с ним играть нельзя было.

— Всех обдувал, а теперь весь в трубу вылетел, — и штабс-капитан Ш. добродушно рассмеялся. — Вот Гуськов у него живет — он и его чуть не проиграл, право. Так, батенька? — обратился он к Гуськову.

Гуськов засмеялся. У него был жалкий болезненный смех, совершенно изменявший выражение его лица. При этом изменении мне показалось, что я прежде знал и видал этого человека, притом и настоящая фамилия его, Гуськов, была мне знакома, но как и когда я его знал и видел, — я решительно не мог припомнить.

— Да, — сказал Гуськов, беспрестанно поднимая руки к усам и, не дотронувшись до них, опуская их снова. — Павлу Дмитриевичу очень в этот отряд не повезло. такая *veine de malheur*<sup>1</sup>, — добавил он старательным, но чистым французским выговором, причем мне снова показалось, что я уже видал, и даже часто видал, его где-то. — Я хорошо знаю Павла Дмитриевича, он мне все доверяет, — продолжал он, — мы с ним еще старые знакомые, то есть он меня любит, — прибавил он, видимо, испугавшись слишком смелого утверждения, что он старый знакомый адъютанта. — Павел Дмитриевич отлично играет, но теперь удивительно, что с ним сделалось, он совсем как потерянный, — *la chance a tourné*<sup>2</sup>, — добавил он, обращая преимущественно ко мне.

Мы сначала с снисходительным вниманием слушали Гуськова, но как только он сказал еще эту французскую фразу, мы все невольно отвернулись от него.

— Я с ним тысячу раз играл, и ведь согласитесь, что это странно, — сказал поручик О. с особенным ударением на

---

<sup>1</sup> Полоса неудачи.

<sup>2</sup> Счастье отвернулось.

этом слове, — удивительно *странно*: я ни разу у него не выиграл ни абаза. Отчего же я у других выигрываю?

— Павел Дмитриевич отлично играет, я его давно знаю, — сказал я. Действительно, я знал адъютанта уже несколько лет, не раз видал его в игре, большой по средствам офицеров, и восхищался его красивой, немного мрачной и всегда невозмутимо спокойной физиономией, его медлительным малороссийским выговором, его красивыми вещами и лошадьми, его неторопливой хохлацкой молодцеватостью и особенно его умением сдержанно, отчетливо и приятно вести игру. Не раз, каюсь в том, глядя на его полные и белые руки с бриллиантовым перстнем на указательном пальце, которые мне били одну карту за другою, я злился на этот перстень, на белые руки, на всю особу адъютанта, и мне приходили на его счет дурные мысли; но, обсуживая потом хладнокровно, я убеждался, что он просто игрок умнее всех тех, с которыми ему приходится играть. Тем более, что, слушая его общие рассуждения об игре, о том, как следует не отгибаться, поднявшись с маленького куша, как следует бастовать в известных случаях, как первое правило играть на *чистые* и т. д., и т. д., было ясно, что он всегда в выигрыше только оттого, что умнее и характернее всех нас. Теперь же оказалось, что этот воздержный, характерный игрок проигрался впух в отряде не только деньгами, но и вещами, что означает последнюю степень проигрыша для офицера.

— Ему чертовски всегда везет со мной, — продолжал поручик О. — Я уж дал себе слово больше не играть с ним.

— Экой вы чудак, батенька, — сказал Ш., подмигивая на меня всей головой и обращаясь к О., — проиграли ему монетов триста, ведь проиграли!

— Больше, — сердито сказал поручик.

— А теперь хватились за ум, да поздно, батенька: всем давно известно, что он наш полковой шулер, — сказал Ш., едва удерживаясь от смеха и очень довольный своей выдумкой. — Вот Гуськов налицо, он ему и карты подготавливает. От этого-то у них и дружба, батенька мой... — и штабс-капитан Ш. так добродушно, колебаясь всем телом, расхохотался, что расплескал стакан глинтвейна, который держал в руке в это время.

На желтом исхудалом лице Гуськова показалась как будто краска, он несколько раз открывал рот, поднимал руки к усам и снова опускал их к месту, где должны были быть карманы, приподнимался и опускался и, наконец, не своим голосом сказал Ш.: — Это не шутка, Николай Иванович; вы говорите такие вещи, и при людях, которые меня не зна-



ют и видят в нагольном полушубке... потому что... — Голос у него оборвался, и снова маленькие красные ручки с грязными ногтями заходили от полушубка к лицу, то поправляя усы, волосы, нос, то прочищая глаз или почесывая без всякой надобности щеку.

— Да что и говорить, всем известно, батенька, — продолжал Ш., искренно довольный своей шуткой и вовсе не замечая волнения Гуськова. Гуськов еще прошептал что-то и, уперев локоть правой руки на коленку левой ноги, в самом неестественном положении, глядя на Ш., стал делать вид, как будто он презрительно улыбается.

«Нет, — решительно подумал я, глядя на эту улыбку, — я не только видел его, но говорил с ним где-то».

— Мы с вами где-то встречались, — сказал я ему, когда под влиянием общего молчания начал утихать смех Ш. Переменчивое лицо Гуськова вдруг просветлело, и его глаза в первый раз с искренно-веселым выражением устремились на меня.

— Как же, я вас сейчас узнал, — заговорил он по-французски. — В сорок восьмом году я вас довольно часто имел удовольствие видеть в Москве, у моей сестры Ивашиной.

Я извинился, что не узнал его сразу в этом костюме и в этой новой одежде. Он встал, подошел ко мне и своей влажной рукой нерешительно, слабо пожал мою руку и сел подле меня. Вместо того, чтобы смотреть на меня, которого он будто бы был так рад видеть, он с выражением какого-то неприятного хвастовства оглянулся на офицеров. Оттого ли, что я узнал в нем человека, которого несколько лет тому назад видал во фраке в гостиной, или оттого, что при этом воспоминании он вдруг поднялся в своем собственном мнении, мне показалось, что его лицо и даже движения совершенно изменились: они выражали теперь бойкий ум, детское самодовольство от сознания этого ума и какую-то презрительную небрежность, так что, признаюсь, несмотря на жалкое положение, в котором он находился, мой старый знакомый уже внушал мне не сострадание, а какое-то несколько неприязненное чувство.

Я живо вспомнил нашу первую встречу. В 48 году я часто в бытность мою в Москве ездил к Ивашину, с которым мы росли вместе и были старые приятели. Его жена была приятная хозяйка дома, любезная женщина, что называется, но она мне никогда не нравилась... В ту зиму, когда я ее знал, она часто говорила с худо скрываемой гордостью про своего брата, который недавно кончил курс и будто бы был одним из самых образованных и любимых молодых лю-

дей в лучшем петербургском свете. Зная по слухам отца Гуськовых, который был очень богат и занимал значительное место, и зная направление сестры, я встретился с молодым Гуськовым с предубеждением. Раз, вечером приехав к Ивашину, я застал у него невысокого, весьма приятного на вид молодого человека в черном фраке, в белом жилете и галстухе, с которым хозяин забыл познакомить меня. Молодой человек, повидимому, собиравшийся ехать на бал, с шляпой в руке стоял перед Ивашиным и горячо, но учтиво спорил с ним про общего нашего знакомого, отличившегося в то время в венгерской кампании. Он говорил, что этот знакомый был вовсе не герой и человек, рожденный для войны, как его называли, а только умный и образованный человек. Помню, я принял участие в споре против Гуськова и увлекся в крайность, доказывая даже, что ум и образование всегда в обратном отношении к храбрости, и помню, как Гуськов приятно и умно доказывал мне, что храбрость есть необходимое следствие ума и известной степени развития, с чем я, считая себя умным и образованным человеком, не мог втайне не согласиться! Помню, что в конце нашего разговора Ивашина познакомила меня с своим братом, и он, снисходительно улыбаясь, подал мне свою маленькую руку, на которую еще не совсем успел натянуть лайковую перчатку, и так же слабо и нерешительно, как и теперь, пожал мою руку. Хотя я и был предубежден против него, я не мог тогда не отдать справедливости Гуськову и не согласиться с его сестрою, что он был действительно умный и приятный молодой человек, который должен был иметь успех в свете. Он был необыкновенно опрятен, изящно одет, свеж, имел самоуверенно-скромные приемы и вид чрезвычайно моложавый, почти детский, за который вы невольно извиняли ему выражение самодовольства и желание умерить степень своего превосходства перед вами, которое постоянно носили на себе его умное лицо и в особенности улыбка. Говорили, что он в эту зиму имел большой успех у московских барынь. Видав его у сестры, я только по выражению счастья и довольства, которое постоянно носила на себе его молодая наружность, и по его иногда нескромным рассказам мог заключить, в какой степени это было справедливо. Мы встречались с ним раз шесть и говорили довольно много, или, скорее, много говорил он, а я слушал. Он говорил большею частью по-французски, весьма хорошим языком, очень складно, фигурно и умел мягко, учтиво перебивать других в разговоре. Вообще он обращался со всеми и со мною довольно свысока, а я, как это всегда со мной бывает в отношении людей, которые твердо уверены,

что со мной следует обращаться свысока, и которых я мало знаю, чувствовал, что он совершенно прав в этом отношении.

Теперь, когда он подсел ко мне и сам подал мне руку, я живо узнал в нем прежнее высокомерное выражение, и мне показалось, что он не совсем честно пользуется выгодой своего положения нижнего чина перед офицером, так небрежно расспрашивая меня о том, что я делал все это время и как попал сюда. Несмотря на то, что я всякий раз отвечал по-русски, он заговаривал на французском языке, на котором уже заметно выражался не так свободно, как прежде. Про себя он мне мельком сказал, что после своей несчастной, глупой истории (в чем состояла эта история, я не знал, и он не сказал мне) он три месяца сидел под арестом, потом был послан на Кавказ в N. полк, — теперь уже три года служит солдатом в этом полку.

— Вы не поверите, — сказал он мне по-французски, — сколько я должен был выстрадать в этих полках от общества офицеров; еще счастье мое, что я прежде знал адъютанта, про которого мы сейчас говорили: он хороший человек, право, — заметил он снисходительно, — я у него живу, и для меня это все-таки маленькое облегчение. *Oui, mon cher, les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas*<sup>1</sup>, — добавил он и вдруг замялся, покраснел и встал с места, заметив, что к нам подходил тот самый адъютант, про которого мы говорили.

— Такая отрада встретить такого человека, как вы, — сказал мне шопотом Гуськов, отходя от меня, — мне бы много, много хотелось переговорить с вами.

Я сказал, что я очень рад этому, но, в сущности, признаю, Гуськов внушал мне несимпатическое, тяжелое сострадание.

Я предчувствовал, что с глазу на глаз мне будет неловко с ним, но мне хотелось узнать от него многое, и в особенности, почему, когда отец его был так богат, он был в бедности, как это было заметно по его одежде и приемам.

Адъютант поздоровался со всеми нами, исключая Гуськова, и подсел со мной рядом на место, которое занимал разжалованный. Всегда спокойный и медлительный, характерный игрок и денежный человек, Павел Дмитриевич был теперь совершенно другим, как я его знал в цветущие времена его игры; он как будто торопился куда-то, беспрестанно оглядывал всех, и не прошло пяти минут, как он, всегда отказывавшийся от игры, предложил поручику О. составить банчик. Поручик О. отказался под предлогом занятий по службе,

<sup>1</sup> Да, дорогой мой, дни идут один за другим, но не повторяются.

собственно же потому, что, зная, как мало вещей и денег оставалось у Павла Дмитриевича, он считал неблагоприятным рисковать свои триста рублей против ста рублей, а может и меньше, которые он мог выиграть.

— А что, Павел Дмитриевич, — сказал поручик, видимо, желая избавиться от повторения просьбы, — правда говорят — завтра выступление?

— Не знаю, — заметил Павел Дмитриевич, — только велено приготовить, а право, лучше бы сыграли, я бы вам заложил моего кабардинца.

— Нет, уж нынче...

— Серого, уж куда ни шло, а то, ежели хотите, деньгами. Что ж?

— Да я что ж... Я бы готов, вы не думайте, — заговорил поручик О., отвечая на свое собственное сомнение, — а то завтра, может, набег или движение, выспаться надо.

Адъютант встал и, заложив руки в карманы, стал ходить по площадке. Лицо его приняло обычное выражение холодности и некоторой гордости, которые я любил в нем.

— Не хотите ли стаканчик глинтвейну? — сказал я ему.

— Можно-с, — и он направился ко мне, но Гуськов торопливо взял стакан у меня из рук и понес его адъютанту, стараясь притом не глядеть на него. Но, не обратив внимания на веревку, натягивающую палатку, Гуськов спотыкнулся на нее и, выпустив из рук стакан, упал на руки.

— Эка филя! — сказал адъютант, протянувший уже руку к стакану. Все расхохотались, не исключая Гуськова, потиравшего рукой свою худую коленку, которую он никак не мог зашибить при падении.

— Вот как медведь пустынноку услужил, — продолжал адъютант. — Так-то он мне каждый день услуживает, все колышки на палатках пооборвал, — все спотыкается.

Гуськов, не слушая его, извинялся перед нами и взглядывал на меня с чуть заметной грустной улыбкой, которою он как будто говорил, что я один могу понимать его. Он был жалок, но адъютант, его покровитель, казался почему-то озлобленным на своего сожителя и никак не хотел оставить его в покое.

— Как же, ловкий мальчик! куда ни поверните.

— Да кто ж не спотыкается на эти колышки, Павел Дмитриевич, — сказал Гуськов, — вы сами третьего дня спотыкнулись.

— Я, батюшка, не нижний чин, с меня ловкости не спрашивается.

— Он может ноги волочить, — подхватил штабс-капитан Ш., — а нижний чин должен подпрыгивать...

— Странные шутки, — сказал Гуськов почти шопотом и опустив глаза. Адъютант был, видимо, равнодушен к своему сожителю, он с алчностью вслушивался в его каждое слово.

— Придется опять в секрет послать, — сказал он, обращаясь к Ш. и подмигивая на разжалованного.

— Что ж, опять слезы будут, — сказал Ш., смеясь. Гуськов не глядел уже на меня, а делал вид, что достает табак из кисета, в котором давно уже ничего не было.

— Собирайтесь в секрет, батенька, — сквозь смех проговорил Ш., — нынче лазутчики донесли, нападение на лагерь ночью будет, так надо надежных ребят назначить. — Гуськов нерешительно улыбался, как будто собираясь сказать что-то, и несколько раз поднимал умоляющий взгляд на Ш.

— Что ж, ведь я ходил, и пойду еще, коли пошлют, — пролепетал он.

— Да и пошлют.

— Ну, и пойду. Что ж такое?

— Да, как на Аргуне, убежали из секрета и ружье бросили, — сказал адъютант и, отвернувшись от него, начал нам рассказывать приказания на завтрашний день.

Действительно, в ночь ожидали со стороны неприятеля стрельбу по лагерю, а на завтра какое-то движение. Потолковав еще о разных общих предметах, адъютант как будто нечаянно, вдруг вспомнив, предложил поручику О. прометать ему маленькую. Поручик О. совершенно неожиданно согласился, и они вместе с Ш. и прапорщиком пошли в палатку адъютанта, у которого был складной зеленый стол и карты. Капитан, командир нашего дивизиона, пошел спать в палатку, другие господа разошлись тоже, и мы остались одни с Гуськовым. Я не ошибался, мне действительно было с ним неловко с глазу на глаз. Я невольно встал и стал ходить взад и вперед по батарее. Гуськов молча пошел со мной рядом, торопливо и беспокойно поворачиваясь, чтобы не отставать и не опережать меня.

— Я вам не мешаю? — сказал он кротким, печальным голосом. Сколько я мог рассмотреть в темноте его лицо, оно мне показалось глубоко задумчивым и грустным.

— Нисколько, — отвечал я; но так как он не начинал говорить, и я не знал, что сказать ему, мы довольно долго ходили молча.

Сумерки уже совершенно заменились темнотою ночи, над черным профилем гор зажглась яркая вечерняя зарница, над головами, на светлосинем морозном небе мерцали мелкие

звезды, со всех сторон краснело во мраке пламя дымящихся костров, вблизи серели палатки, и мрачно чернела насыпь нашей батареи. От ближайшего костра, около которого, греясь, тихо разговаривали наши денщики, изредка блестела на батарее медь наших тяжелых орудий, и показывалась фигура часового в шинели в накидку, мерно двигавшегося вдоль насыпи.

— Вы не можете себе представить, какая отрада для меня говорить с таким человеком, как вы, — сказал мне Гуськов, хотя он еще ни о чем не говорил со мной, — это может понять только тот, кто побывал в моем положении.

Я не знал, что отвечать ему, и мы снова молчали, несмотря на то, что ему, видимо, хотелось высказаться, а мне выслушать его.

— За что вы были... за что вы пострадали? — спросил я его, наконец, не придумав ничего лучше, чтоб начать разговор.

— Разве вы не слышали про эту несчастную историю с Метениным?

— Да, дуэль, кажется; слышал мельком, — отвечал я: — ведь я уже давно на Кавказе.

— Нет, не дуэль, но эта глупая и ужасная история! Я вам все расскажу, коли вы не знаете. Это было в тот самый год, когда мы с вами встречались у сестры, я жил тогда в Петербурге. Надо вам сказать, я имел тогда то, что называется *une position dans le monde*<sup>1</sup>, и довольно выгодную, ежели не блестящую. *Mon père me donnait 10 000 par an*<sup>2</sup>. В 49 году мне обещали место при посольстве в Турине, дядя мой по матери мог и всегда был готов очень много для меня сделать. Дело прошлое теперь, *j'étais reçu dans la meilleure société de Pétersbourg, je pouvais prétendre*<sup>3</sup> на лучшую партию. Учился я, как все мы учились в школе, так что особенного образования у меня не было; правда, я читал много после, *mais j'avais surtout*, знаете, *ce jargon du monde*<sup>4</sup>, и, как бы то ни было, меня находили почему-то одним из первых молодых людей Петербурга. Что меня еще больше возвысило в общем мнении — *c'est cette liaison avec m-me D.*<sup>5</sup>, про которую много говорили в Петербурге, но я был ужасно молод в то время и мало ценил все эти выгоды. Просто я был молод и глуп,

<sup>1</sup> Положение в свете.

<sup>2</sup> Отец давал мне 10 000 ежегодно.

<sup>3</sup> Я был принят в лучшем обществе Петербурга, я мог рассчитывать

<sup>4</sup> Но особенно я владел этим светским жаргоном.

<sup>5</sup> Так это связь с г-жой Д.

чего мне еще нужно было? В то время в Петербурге этот Метенин имел репутацию... — И Гуськов продолжал в этом роде рассказывать мне историю своего несчастья, которую, как вовсе неинтересную, я пропущу здесь. — Два месяца я сидел под арестом, — продолжал он, — совершенно один, и чего ни передумал я в это время. Но знаете, когда все это кончилось, как будто уж окончательно была разорвана связь с прошедшим, мне стало легче. Mon père, vous en avez entendu parler<sup>1</sup>, наверно, он человек с характером железным и с твердыми убеждениями, il m'a déshérité<sup>2</sup> и прекратил все сношения со мной. По его убеждениям, так надо было сделать, и я нисколько не обвиняю его: il a été consequent<sup>3</sup>. Зато и я не сделал шагу для того, чтобы он изменил своему намерению. Сестра была за границей, m-me D. одна писала ко мне, когда позволили, и предлагала помощь, но вы понимаете, что я отказался. Так что у меня не было тех мелочей, которые облегчают немного в этом положении, знаете: ни книг, ни белья, ни пищи, ничего. Я много, много передумал в это время, на все стал смотреть другими глазами; например, этот шум, толки света обо мне в Петербурге не занимали меня, не льстили нисколько, все это мне казалось смешно. Я чувствовал, что сам был виноват, неосторожен, молод, я испортил свою карьеру и только думал о том, как снова поправить ее. И я чувствовал в себе на это силы и энергию. Из-под ареста, как я вам говорил, меня отослали сюда, на Кавказ, в N. полк.

— Я думал, — продолжал он, воодушевляясь более и более, — что здесь, на Кавказе — la vie de camp<sup>4</sup>, люди простые, честные, с которыми я буду в сношениях, война, опасности, все это придется к моему настроению духа как нельзя лучше, что я начну новую жизнь. On me verra au feu<sup>5</sup> — полюбят меня, будут уважать меня не за одно имя, — крест, унтёр-офицер, снимут штраф, и я опять вернусь et, vous savez, avec ce prestige du malheur! Но quel désenchantement<sup>6</sup>. Вы не можете себе представить, как я ошибся!.. Вы знаете общество офицеров нашего полка? — Он помолчал довольно долго, ожидая, как мне показалось, что я скажу ему, что знаю, как нехорошо общество здешних офицеров; но я ничего не отвечал ему. Мне было противно, что он, потому

<sup>1</sup> Мой отец, вы слышали о нем.

<sup>2</sup> Он лишил меня права на наследство.

<sup>3</sup> Он был последователен.

<sup>4</sup> Лагерная жизнь.

<sup>5</sup> Меня увидят под огнем.

<sup>6</sup> И, знаете, с этим обаянием несчастья! Но, какое разочарование.

верно, что я знал по-французски, предполагал, что я должен был быть возмущен против общества офицеров, которое я, напротив, пробыв долго на Кавказе, успел оценить вполне и уважал в тысячу раз больше, чем то общество, из которого вышел господин Гуськов. Я хотел ему сказать это, но его положение связывало меня.

— В N. полку общество офицеров в тысячу раз хуже здешнего, — продолжал он. — *J'espère que c'est beaucoup dire*<sup>1</sup>, то есть вы не можете себе представить, что это такое! Уже не говорю о юнкерах и солдатах. Это ужас что такое! Меня приняли сначала хорошо, это совершенная правда, но потом, когда увидели, что я не могу не презирать их, знаете, в этих незаметных мелких отношениях, увидели, что я человек совершенно другой, стоящий гораздо выше их, они озлобились на меня и стали отплачивать мне разными мелкими унижениями. *Ce que j'ai eu à souffrir, vous ne vous faites pas une idée*<sup>2</sup>. Потом эти невольные отношения с юнкерами, а главное *avec les petits moyens que j'avais, je manquais de tout*<sup>3</sup>, у меня было только то, что сестра мне присылала. Вот вам доказательство, сколько я выстрадал, что я с моим характером, *avec ma fierté, j'ai écrit à mon père*<sup>4</sup>, умолял его прислать мне хоть что-нибудь. Я понимаю, что прожить пять лет такой жизнью — можно сделаться таким же, как наш разжалованный Дромов, который пьет с солдатами и ко всем офицерам пишет записочки, прося ссудить его тремя рублями, и подписывает *tout à vous*<sup>5</sup> Дромов. Надобно было иметь такой характер, который я имел, чтобы совершенно не погрязнуть в этом ужасном положении. — Он долго молча ходил подле меня. — *Avez-vous un papiros?*<sup>6</sup> — сказал он мне. — Да, так на чем я остановился? Да. Я не мог этого выдержать, не физически, потому что хотя и плохо, холодно и голодно было, я жил как солдат, но все-таки и офицеры имели какое-то уважение ко мне. Какой-то *prestige*<sup>7</sup> оставался на мне и для них. Они не посылали меня в караулы, на ученье. Я бы этого не вынес. Но морально страдал я ужасно. И главное, не видел выхода из этого положения. Я писал дяде, умолял его перевести

---

<sup>1</sup> Надеюсь, что этим достаточно сказано.

<sup>2</sup> Вы не можете себе представить, сколько я перестрадал.

<sup>3</sup> При тех маленьких средствах, которые у меня были, я нуждался во всем.

<sup>4</sup> С моей гордостью, я написал отцу.

<sup>5</sup> Весь ваш.

<sup>6</sup> Есть у вас папироса?

<sup>7</sup> Авторитет.



меня в здешний полк, который, по крайней мере, бывает в делах, и думал, что здесь Павел Дмитриевич, qui est le fils de l'intendant de mon père<sup>1</sup>, все-таки он мог быть мне полезен. Дядя сделал это для меня, меня перевели. После того полка этот показался для меня собранием камергеров. Потом Павел Дмитриевич тут, он знал, кто я такой, и меня приняли прекрасно. По просьбе дяди... Гуськов, vous savez...<sup>2</sup> но я заметил, что с этими людьми, без образования и развития, — они не могут уважать человека и оказывать ему признаки уважения, ежели на нем нет этого ореола богатства, знатности; я замечал, как понемногу, когда увидали, что я беден, их отношения со мной становились небрежнее, небрежнее и, наконец, сделались почти презрительные. Это ужасно! но это совершенная правда.

— Здесь я был на делах, дрался, on m'a vu au feu<sup>3</sup>, — продолжал он, — но когда это кончится? Я думаю, никогда а силы мои и энергия уже начинают истощаться. Потом я воображал la gîte, la vie de camp<sup>4</sup>, но все это не так, как я вижу — в полушубке, немывые, в солдатских сапогах вы идете в секрет и целую ночь лежите в овраге с каким-нибудь Антоновым, за пьянство отданным в солдаты, и всякую минуту вас из-за куста могут застрелить, вас или Антонова, все равно. Тут уж не храбрость — это ужасно. C'est affreux, ça tue<sup>5</sup>.

— Что ж, вы можете теперь за поход получить унтер-офицера, а на будущий год и прапорщика, — сказал я.

— Да, могу, мне обещали, но еще два года, и то едва ли. А что такое эти два года, ежели бы знал кто-нибудь. Вы представьте себе эту жизнь с этим Павлом Дмитриевичем: карты, грубые шутки, кутеж, вы хотите сказать что-нибудь, что у вас накопело на душе, вас не понимают или над вами еще смеются, с вами говорят не для того, чтобы сообщить вам мысль, а так, чтоб, ежели можно, еще из вас сделать шута. Да и все это так пошло, грубо, гадко, и всегда вы чувствуете, что вы нижний чин, это вам всегда дают чувствовать. От этого вы не поймете, какое наслаждение поговорить à соеиг ouvert<sup>6</sup> с таким человеком, как вы.

Я никак не понимал, какой это я был человек, и поэтому не знал, что отвечать ему...

<sup>1</sup> Сын управляющего моего отца.

<sup>2</sup> Вы знаете.

<sup>3</sup> Меня видели под огнем.

<sup>4</sup> Войну, лагерную жизнь.

<sup>5</sup> Это ужасно, это убийственно.

<sup>6</sup> По душе.

— Закусывать будете? — сказал мне в это время Никита, незаметно подобравшийся ко мне в темноте и, как я заметил, недовольный присутствием гостя.—Только вареники да битой говядины немного осталось.

— А капитан уже закусывал?

— Они спят давно, — угрюмо отвечал Никита. На мое приказание принести нам сюда закусить и водочки он недовольно проворчал что-то и потащился к своей палатке. Поворчав еще там, он, однако, принес нам погребец; на погребце поставил свечку, обвязав ее наперед бумагой от ветру, кастрюльку, горчицу в банке, жестяную рюмку с ручкой и бутылку с полынной настойкой. Устроив все это, Никита постоял еще несколько времени около нас и посмотрел, как я и Гуськов выпили водки, что ему, видимо, было очень неприятно. При матовом освещении свечи сквозь бумагу и среди окружающей темноты виднелись только тюленевая кожа погребца, ужин, стоявший на ней, лицо, полушубок Гуськова и его маленькие красные ручки, которыми он принялся выкладывать вареники из кастрюльки. Кругом все было черно и, только взглядевшись, можно было различить черную батарею, такую же черную фигуру часового, видневшуюся через бруствер, по сторонам огни костров и наверху красноватые звезды. Гуськов печально и стыдливо чуть заметно улыбался, как будто ему неловко было глядеть мне в глаза после своего признания. Он выпил еще рюмку водки и ел жадно, выскребая кастрюльку.

— Да, для вас всё-таки облегчение, — сказал я ему, чтобы сказать что-нибудь, — ваше знакомство с адьютантом: он, я слышал, очень хороший человек.

— Да, — отвечал разжалованный, — он добрый человек, но он не может быть другим, не может быть человеком, с его образованием и нельзя требовать. — Он вдруг как будто покраснел.— Вы заметили его грубые шутки нынче о секрете,— и Гуськов, несмотря на то, что я несколько раз старался замять разговор, стал оправдываться передо мной и доказывать, что он не убежал из секрета и что он не трус, как это хотели дать заметить адьютант и Ш.

— Как я говорил вам, — продолжал он, обтирая руки о полушубок, — такие люди не могут быть деликатны с человеком — солдатом и у которого мало денег; это выше их сил. И вот последнее время, как я пять месяцев уж почему-то ничего не получаю от сестры, я заметил, как они переменились ко мне. Этот полушубок, который я купил у солдата и который не греет, потому что весь вытерт (при этом он показал мне голую полу), не внушает ему сострадания или

уважения к несчастью, а презрение, которое он не в состоянии скрывать. Какая бы ни была моя нужда, как теперь, что мне есть нечего, кроме солдатской каши, и носить нечего, — продолжал он потупившись, наливая себе еще рюмку водки, — он не догадается предложить мне денег взаймы, зная наверно, что я отдам ему, а ждет, чтобы я в моем положении обратился к нему. А вы понимаете, каково это мне и с ним. Вам бы, например, я прямо сказал — *vous êtes au-dessus de cela; mon cher, je n'ai pas le sou*<sup>1</sup>. И знаете, — сказал он, вдруг отчаянно взглядывая мне в глаза, — вам я прямо говорю, я теперь в ужасном положении: *prouvez vous me prêter 10 roubles argent?*<sup>2</sup> Сестра должна мне прислать по следующей почте *et mon père*...<sup>3</sup>

— Ах, я очень рад, — сказал я, тогда как, напротив, мне было больно и досадно, особенно потому, что, накануне проигравшись в карты, у меня у самого оставалось только рублей пять с чем-то у Никиты. — Сейчас, — сказал я, вставая, — я пойду возьму в палатке.

— Нет, после, *ne vous dérangez pas*<sup>4</sup>.

Однако, не слушая его, я пролез в застегнутую палатку, где стояла моя постель и спал капитан. — Алексей Иваныч, дайте мне пожалуйста десять рублей до рационов, — сказал я капитану, расталкивая его.

— Что, опять продулись? а еще вчера хотели не играть больше, — спросонков проговорил капитан.

— Нет, я не играл, а нужно, дайте пожалуйста.

— Макатюк! — закричал капитан своему денщику, — достань шкатулку с деньгами и подай сюда.

— Тише, тише, — заговорил я, слушая за палаткой мерные шаги Гуськова.

— Что? отчего тише?

— Это этот разжалованный просил у меня взаймы. Он тут!

— Вот знал бы, так не дал, — заметил капитан, — я про него слышал — первый пакостник мальчишка! — Однако капитан дал-таки мне деньги, велел спрятать шкатулку, хорошенько запахнуть палатку и, снова повторив: — вот коли бы знал на что, так не дал бы, — завернулся с головой под одеяло. — Теперь за вами тридцать два, помните, — прокричал он мне.

---

<sup>1</sup> Вы выше этого; дорогой мой, у меня нет ни гроша.

<sup>2</sup> Можете вы одолжить мне 10 рублей серебром?

<sup>3</sup> И мой отец...

<sup>4</sup> Не беспокойтесь.

Когда я вышел из палатки, Гуськов ходил около диванчиков, и маленькая фигура его с кривыми ногами и в уродливой папаше с длинными белыми волосами выказывалась и скрывалась во мраке, когда он проходил мимо свечки. Он сделал вид, как будто не замечает меня. Я передал ему деньги. Он сказал: *тегісі* и, скомкав, положил бумажку в карман панталон.

— Теперь у Павла Дмитриевича, я думаю, игра во всем разгаре, — вслед за этим начал он.

— Да, я думаю.

— Он странно играет, всегда аребур и не отгибается; когда везет, это хорошо, но зато, когда уже не пойдет, можно ужасно проиграться. Он и доказал это. В этот отряд, ежели считать с вещами, он больше полуторы тысячи проиграл. А как играл воздержно прежде, так что этот ваш офицер как будто сомневался в его честности.

— Да это он так... Никита, не осталось ли у нас чихиря? — сказал я, очень облегченный разговорчивостью Гуськова. Никита поворчал еще, но принес нам чихиря и снова с злобой посмотрел, как Гуськов выпил свой стакан. В обращении Гуськова заметна стала прежняя развязность. Мне хотелось, чтобы он ушел поскорее, и казалось, что он этого не делает только потому, что ему совестно было уйти тотчас после того, как он получил деньги. Я молчал.

— Как это вы с средствами, без всякой надобности, решились *de gaieté de coeur*<sup>1</sup> итти служить на Кавказ? вот чего я не понимаю, — сказал он мне.

Я постарался оправдаться в таком странном для него поступке.

— Я воображаю, и для вас как тяжело общество этих офицеров, людей без понятия об образовании. Вы не можете с ними понимать друг друга. Ведь, кроме карт, вина и разговоров о наградах и походах, вы десять лет проживете, ничего не увидите и не услышите.

Мне было неприятно, что он хотел, чтобы я непременно разделял его положение, и я совершенно искренно уверял его, что я очень любил и карты, и вино, и разговоры о походах, и что лучше тех товарищей, которые у меня были, я не желал иметь. Но он не хотел верить мне.

— Ну, вы это так говорите, — продолжал он, — а отсутствие женщин, то есть я разумею *femmes comme il faut*<sup>2</sup>, разве это не ужасное лишение? Я не знаю, что бы я дал

---

<sup>1</sup> С легким сердцем.

<sup>2</sup> Порядочных женщин.

теперь, чтоб только на минутку перенестись в гостиную и хоть сквозь щелочку посмотреть на милую женщину.

Он помолчал немного и выпил еще стакан чихиря.

— Ах, боже мой, боже мой! Может, случится еще нам когда-нибудь встретиться в Петербурге, у людей, быть и жить с людьми, с женщинами. — Он вылил последнее вино, остававшееся в бутылке, и, выпив его, сказал: — Ах, pardon, может быть, вы хотели еще, я ужасно рассеян. Однако я, кажется, слишком много выпил et je n'ai pas la tête forte<sup>1</sup>. Было время, когда я жил на Морской au rez de chaussée<sup>2</sup>, у меня была чудная квартирка, мебель, знаете, я умел это устроить изящно, хотя не слишком дорого, правда: mon père дал мне фарфоры, цветы, серебра чудесного... Le matin je sortais, визиты, à 5 heures régulièrement<sup>3</sup> я ехал обедать к ней, часто она была одна. Il faut avouer que c'était une femme ravissante!<sup>4</sup> Вы ее не знали? нисколько?

— Нет.

— Знаете, эта женственность была у нее в высшей степени, нежность и потом что за любовь! Господи! я не умел ценить тогда этого счастья. Или после театра мы возвращались вдвоем и ужинали. Никогда с ней скучно не было, toujours gaie, toujours aimante<sup>5</sup>. Да, я и не предчувствовал, какое это было редкое счастье. Et j'ai beaucoup à me reprocher перед нею. Je l'ai fait souffrir et souvent<sup>6</sup>. Я был жесток. Ах, какое чудное было время! Вам скучно?

— Нет, нисколько.

— Так я вам расскажу наши вечера. Бывало, я вхожу — эта лестница, каждый горшок цветов я знал — ручка двери, все это так мило, знакомо, потом передняя, ее комната... Нет, уже это никогда, никогда не возвратится! Она и теперь пишет мне, я вам, пожалуй, покажу ее письма. Но я уж не тот, я погиб, я уже не стою ее... Да, я окончательно погиб! Je suis cassé<sup>7</sup>. Нет во мне ни энергии, ни гордости, ничего. Даже благородства нет... Да, я погиб! И никто никогда не поймет моих страданий. Всем все равно. Я пропащий человек! никогда уж мне не подняться, потому что я морально упал... в грязь... упал... — В эту минуту в его словах слышно было

<sup>1</sup> И у меня слабая голова.

<sup>2</sup> В нижнем этаже.

<sup>3</sup> Утром я выезжал, ровно в 5 часов.

<sup>4</sup> Надо признаться, что это была очаровательная женщина!

<sup>5</sup> Всегда веселая, всегда любящая.

<sup>6</sup> Я за многое упрекаю себя перед нею. Я ее часто заставлял страдать.

<sup>7</sup> Я разбит.

искреннее, глубокое отчаяние: он не смотрел на меня и сидел неподвижно.

— Зачем так отчаиваться? — сказал я.

— Оттого, что я мерзок, эта жизнь уничтожила меня, все, что во мне было, все убито. Я терплю уж не с гордостью, а с подлостью, *dignité dans le malheur*<sup>1</sup> уже нет. Меня унижают ежеминутно, я все терплю, сам лезу на униженья. Эта грязь а *déteint sur moi*<sup>2</sup>, я сам стал груб, я забыл, что знал, я по-французски уж не могу говорить, я чувствую, что я подл и низок. Драться я не могу в этой обстановке, решительно не могу, я бы, может быть, был герой: дайте мне полк, золотые эполеты, трубачей, а итти рядом с каким-то диким Антоном Бондаренко и так далее и думать, что между мной и им нет никакой разницы, что меня убьют или его убьют — все равно, эта мысль убивает меня. Вы понимаете ли, как ужасно думать, что какой-нибудь оборванец убьет меня, человека, который думает, чувствует, и что все равно бы было рядом со мной убить Антонова, существо, ничем не отличающееся от животного, и что легко может случиться, что убьют именно меня, а не Антонова, как всегда бывает иле *fatalité*<sup>3</sup> для всего высокого и хорошего. Я знаю, что они зовут меня трусом; пускай я трус, я точно трус и не могу быть другим. Мало того, что я трус, я по-ихнему нищий и презренный человек. Вот я у вас сейчас выпросил денег, и вы имеете право презирать меня. Нет, возьмите назад ваши деньги, — и он протянул мне скомканную бумажку. — Я хочу, чтоб вы меня уважали. — Он закрыл лицо руками и заплакал; я решительно не знал, что говорить и делать.

— Успокойтесь, — говорил я ему, — вы слишком чувствительны, не принимайте все к сердцу, не анализируйте, смотрите на вещи проще. Вы сами говорите, что у вас есть характер. Возьмите на себя, вам недолго уже осталось терпеть, — говорил я ему, но очень нескладно, потому что был взволнован и чувством сострадания, и чувством раскаяния в том, что я позволил себе мысленно осуждать человека, истинно и глубоко несчастливому.

— Да, — начал он, — ежели бы я слышал хоть раз с тех пор, как я в этом аду, хоть одно слово участия, совета, дружбы — человеческое слово, такое, какое я от вас слышу. Может быть, я бы мог спокойно переносить все, может, я даже взял бы на себя и мог быть даже солдатом, но теперь

---

<sup>1</sup> Достоинства в несчастьи.

<sup>2</sup> Отпечаталась на мне.

<sup>3</sup> Рок.

это ужасно... Когда я рассуждаю здраво, я желаю смерти, да и зачем мне любить опозоренную жизнь и себя, который погиб для всего хорошего в мире? А при малейшей опасности я вдруг невольно начинаю обожать эту подлую жизнь и беречь ее, как что-то драгоценное, и не могу, *je ne puis pas*<sup>1</sup>, преодолеть себя. То есть я могу, — продолжал он опять после минутного молчания, — но мне это стоит слишком большого труда, громадного труда, коли я один. С другими в обыкновенных условиях, как вы идете в дело, я храбр, *j'ai fait mes preuves*<sup>2</sup>, потому что я самолюбив и горд: это мой порок, и при других... Знаете, позвольте мне ночевать у вас, а то у нас целую ночь игра будет, мне где-нибудь, на земле,

Пока Никита устранивал постель, мы встали и стали снова ходить в темноте по батарее. Действительно, у Гуськова голова была, должно быть, очень слаба, потому что с двух рюмок водки и двух стаканов вина он покачивался. Когда мы встали и отошли от свечки, я заметил, что он, стараясь, чтобы я не видал этого, сунул снова в карман десятирублевую бумажку, которую во все время предшествовавшего разговора держал в ладони. Он продолжал говорить, что он чувствует, что может еще подняться, ежели бы был у него человек, как я, который бы принимал в нем участие.

Мы уже хотели идти в палатку ложиться спать, как вдруг над нами просвистело ядро и недалеко ударилось в землю. Так странно было, — этот тихий спящий лагерь, наш разговор, и вдруг ядро неприятельское, которое, бог знает откуда, влетело в середину наших палаток, — так странно, что я долго не мог дать себе отчета, что это такое. Наш солдатик Андреев, ходивший на часах на батарее, подвинулся ко мне.

— Вишь подкрался! Вот тут огонь видать было, — сказал он.

— Надо капитана разбудить, — сказал я и взглянул на Гуськова.

Он стоял, пригнувшись совсем к земле, и заикался, желая выговорить что-то. — Это... а то... неприя... это пре... смешно. — Больше он не сказал ничего, и я не видал, как и куда он исчез мгновенно.

В капитанской палатке зажглась свеча, послышался его всегдашний пробудный кашель, и он сам скоро вышел оттуда, требуя пальник, чтобы закурить свою маленькую трубочку.

— Что это, батюшка, — сказал он, улыбаясь, — не хотят мне нынче спать давать: то вы с своим разжалованным, то

---

<sup>1</sup> Я не могу.

<sup>2</sup> Я доказал.

Шамиль; что же мы будем делать: отвечать или нет? Ничего не было об этом в приказании?

— Ничего. Вот он еще, — сказал я, — и из двух. — Действительно во мраке, справа впереди, загорелось два огня, как два глаза, и скоро над нами пролетело одно ядро и одна, должно быть наша, пустая граната, производившая громкий и пронзительный свист. Из соседних палаток повылезали солдатики, слышно было их побрякиванье и потягиванье и говор.

— Вишь, в очко свистит, как соловей, — заметил артиллерист.

— Позовите Никиту, — сказал капитан с своей всегдашней доброй усмешкой. — Никита! ты не прячься, а горных соловьев послушай.

— Что ж, ваше высокоблагородие, — говорил Никита, стоя подле капитана, — я их видал, соловьев-то, я не боюсь, а вот гость-то, что тут был, наш чихирь пил, как услышал, так живо стрелка дал мимо нашей палатки, шаром прокатился, как зверь какой изогнулся!

— Однако надо съездить к начальнику артиллерии, — сказал мне капитан серьезным начальническим тоном, — спросить, стрелять ли на огонь или нет; оно толку не будет, но все-таки можно. Потрудитесь, съездите и спросите. Велите лошадь оседлать, скорей будет, хоть моего Полкана возьмите.

Через пять минут мне подали лошадь, и я отправился к начальнику артиллерии.

— Смотрите, отзыв *дышло*, — шепнул мне пунктуальный капитан, — а то в цепи не пропустят.

До начальника артиллерии было с полверсты, вся дорога шла между палаток. Как только я отъехал от нашего костра, сделалось так темно, что я не видал даже ушей лошади, а только огни костров, казавшиеся мне то очень близко, то очень далеко, мерещились у меня в глазах. Отъехав немного по милости лошади, которой я пустил поводья, я стал различать белые четверугольные палатки, потом и черные колен дороги; через полчаса, спросив раза три дорогу, раза два зацепив за колышки палаток, за что получал всякий раз ругательства из палаток, и раза два остановленный часовыми, я приехал к начальнику артиллерии. Покуда я ехал, я слышал еще два выстрела по нашему лагерю, но снаряды не долетали до того места, где стоял штаб. Начальник артиллерии не приказал отвечать на выстрелы, тем более, что неприятель приостановился, и я отправился домой, взяв лошадь в повод и пробираясь пешком между пехотными палатками. Не раз я уменьшал шаг, проходя мимо солдатской палатки, в которой светился огонь, и прислушивался



или к сказке, которую рассказывал балагур, или к книжке, которую читал грамотей и слушало целое отделение, битком набившись в палатке и около нее, прерывая чтеца изредка разными замечаниями, или просто к толкам о походе, о родине, о начальниках.

Проходя около одной из палаток третьего батальона, я услышал громкий голос Гуськова, который говорил очень весело и бойко. Ему отвечали молодые, тоже веселые, господские, не солдатские голоса. Это, очевидно, была юнкерская или фельдфебельская палатка. Я остановился.

— Я его давно знаю, — говорил Гуськов. — Когда я жил в Петербурге, он ко мне ходил часто, и я бывал у него, он очень в хорошем свете жил.

— Про кого ты говоришь? — спросил пьяный голос.

— Про князя, — сказал Гуськов. — Мы ведь родня с ним, а главное — старые приятели. Оно знаете, господа, хорошо этакое знакомого иметь. Он ведь богат страшно. Ему сто целковых пустяки. Вот я взял у него немного денег, пока мне сестра придет.

— Ну, посылай же.

— Сейчас. Савельич, голубчик! — заговорил голос Гуськова, подвигаясь к дверям палатки, — вот тебе десять монетов, поди к маркитанту, возьми две бутылки кахетинского и еще чего? Господа? Говорите! — И Гуськов, шатаясь, с спутанными волосами, без шапки вышел из палатки. Отворотив полы полушубка и засунув руки в карманы своих сереньких панталон, он остановился в двери. Хотя он был в свету, а я в темноте, я дрожал от страха, чтобы он не увидал меня, и, стараясь не делать шума, пошел дальше.

— Кто тут? — закричал на меня Гуськов совершенно пьяным голосом. Видно, на холоде разобрало его. — Какый тут черт с лошадью шляется?

Я не отвечал и молча выбрался на дорогу.

15 ноября 1856 г.

## ЗАПИСКИ МАРКЕРА

### Рассказ

Так часу в третьем было дело. Играли господа: гость большой (так его наши прозвали), князь был (что с ним все ездит), усатый барин тоже был, гусар маленький. Оливер, что в актерах был, Пан были. Народу было порядочно.

Гость большой с князем играли. Только вот я себе с машинкой круг бильярда похаживаю, считаю: девять и сорок восемь, двенадцать и сорок восемь. Известно, наше дело маркёрское: у тебя еще во рту куска не было, и не спал-то ты две ночи, а все знай покрикивай да шары вынимай. Считаю себе, смотрю: новый барин какой-то в дверь вошел, посмотрел, посмотрел да и сел на диванчик. Хорошо.

«Кто, мол, это такой будет? из каких, то есть», думаю про себя.

Одет чисто, уж так чисто, что как с иголочки все платье на нем: брюки триковые клетчатые, сюртучок модный, коротенький, жилет плюшевый и цепь золотая, а на ней всякие штучки висят.

Одет чисто, а уж из себя еще того чище: тонкий, высокий, волоса завиты наперед, по-модному, и с лица белый, румяный, — ну, сказать, молодец.

Оно известно, наше дело такое, что народу всякого видим: и самого что ни есть важного, и дряни-то много бывает, так все хотя и маркёл, а к людям приноровишься, то есть, в том разе, что в политике-то кое-что смыслишь.

Посмотрел я на барина, — вижу, сидит тихо, ни с кем не знаком, и платье-то на нем новехонько; думаю себе: али из иностранцев, англичан будет, али из графов каких приезджих. И даром что молодой, вид имеет в себе. Подле него Оливер сидел, так посторожился даже.

Кончили партию. Большой проиграл, кричит на меня:

— Ты, — говорит, — все врешь: не так считаешь, по сторонам смотришь.

Бранится, кий шваркнул и ушел. Вот поди ты! По вечерам с князем по пятидесяти целковых партию играют, а тут бутылку макону проиграл и сам не в себе. Уж такой характер! Другой раз до двух часов играют с князем, денег в лузу не кладут, и уж знаю, денег нет ни у того, ни у другого, а все форсят:

— Идет, — говорит, — от двадцати пяти угол?

— Идет!

Зевни только али шара не так поставь — ведь не каменный человек! — так еще норовит в морду захватить.

— Не на щепки, — говорит, — играют, а на деньги.

Уж этот пуще всех меня донимает.

Ну, хорошо. Только князь и говорит новому барину-то, как большой ушел:

— Не угодно ли, — говорит, — со мной сыграть?

— С удовольствием, говорит.

Сидел он, так таким фофаном смотрит, что ну! Кураж-

ный то есть из себя; ну, а как встал, подошел к бильярду, и не то: заробел. Заробел, не заробел, а видно, что уж не в своем духе. В платье, что ли, в новом неловко, али боится, что смотрят все на него, только уж форцу того нет. Ходит боком как-то, карманом за лузы цепляет, станет кий мелить — мел уронит. Где бы и сделал шара, так все оглядывается да краснеет. Не то, что князь: тот уж привык — намелит, намелит себе руку, рукава засучит, да как пойдет садить, так лузы трещат, даром что маленький.

Сыграли две ли три партии, уж не помню, князь кий положил, говорит:

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нехлюдов, — говорит.

— Ваш, — говорит, — батюшка корпусом командовал?

— Да, — говорит.

Тут по-французски что-то часто заговорили; уж я не понял. Должно, все родство вспоминали.

— А ревуар, — говорит князь: — очень рад с вами познакомиться.

Вымыл руки и ушел кушать; а тот стоит с кием у бильярда, шарики подталкивает.

Наше дело, известно, с новым человеком что грубей быть, то лучше: я взял шары да и собираю. Он покраснел, говорит:

— Можно еще сыграть?

— Известно, — говорю, — на то бильярд стоит, чтобы играть. — А сам на него не смотрю, кии уставляю.

— Хочешь со мной играть?

— Извольте, — говорю, — сударь!

Шары поставил.

— На пролаз угодно?

— Что такое значит, — говорит, — на пролаз?

— Да так, — я говорю, — вы мне полтинничек, а я под бильярд пролезу.

Известно, ничего не видавши, чудно ему показалось, смеется.

— Давай, — говорит.

Хорошо. Я говорю: — Мне вперед сколько пожалеете?

— Разве, — говорит, — ты хуже меня играешь?

— Как можно, — я говорю, — у нас против вас игроков мало.

Стали играть. Уж он и точно думает, что мастер: стучит так, что беда; а Пан сидит да все приговаривает:

— Вот так шар! Вот так удар!

А какой!.. ударишка точно был, да расчету ничего не

знает. Ну, как водится, проиграл я первую партию: полез, крихчу. Тут Оливер, *Пан* с местов пососкочили, киями стучат.

— Славно! Еще, — говорят, — еще!

А уж чего «еще»! Особенно *Пан*-то за полтинник рад бы не то под бильярд, под Синий мост пролезть. А то туда же кричит:

— Славно, — говорит, — пыль не всю еще вытер.

Петрушка маркёл, я чай, всем известен. Тюрин был да Петрушка маркёл.

Только игры, известно, не открыл: проиграл другую.

— Мне, — говорю, — с вами, сударь, так и так не сыграть.

Смеется. Потом как выиграл я три партии — у них сорок девять было; у меня никого — я положил кий на бильярд, говорю:

— Угодно, барин, на всю?

— Как на всю? — говорит.

— Либо три рубля за вами, либо ничего, — говорю.

— Как, — говорит, — разве я с тобою на деньги играю?

Дурак!

Покраснел даже.

Хорошо. Проиграл он партию.

— Довольно, — говорит.

Достал бумажник, новенький такой, в аглицком магазине куплен, открыл, уж я вижу, пофорсить хотел. Полнехонек денег, да все сторублевые.

— Нет, — говорит, — тут мелочи нет.

Достал из кошелька три рубля.

— Тебе, — говорит, — два, да за партии, а остальное возьми на водку.

Благодарю, мол, покорно. Вижу, барин славный! Для такого можно полазить. Одно жаль: на деньги не хочет играть; а то, думаю, уж я бы изловчился: глядишь, рублей двадцать, а то и сорок потянул бы.

Как *Пан* увидел деньги у молодого барина-то: — Не угодно ли, говорит, со мной партийку? Вы так отлично играете. — Такой лисой подъехал.

— Нет, — говорит, — извините: мне некогда. — И ушел.

И чорт его знает, кто он такой был, *Пан* этот. Прозвал его кто-то *паном*, так и пошло. День-деньской, бывало, сидит в бильярдной, все смотрит. Уж его и били-то, и ругали, и в игру ни в какую не принимали, все сидит себе, принесет трубку и курит. Да уж и играл чисто... бестия!

Хорошо. Пришел Нехлюдов в другой раз, в третий, стал

часто ходить. И утром, и вечером, бывало, ходит. В три шара, алагер, пирамидку — все узнал. Смелей стал, познакомился со всеми и играть стал порядочно. Известно, человек молодой, большой фамилии, с деньгами, так уважал каждый. Только с одним с гостем с большим раз как-то повздорил.

И из-за пустяков дело вышло.

Играли алагер князь, гость большой, Нехлюдов, Оливер и еще кто-то. Нехлюдов стоит около печки, говорит с кем-то, а большому играть, — он же крепко выпимши был в тот раз. Только шар его и придишь как раз против самой печки: тесненько там, да и любит он размахнуться.

Вот он, не видал, что ли, Нехлюдова али нарочито, как размахнется в шара, да Нехлюдова в грудь турником ка-ак стукнет! Охнул даже сердечный. Так что ж? Нет того, чтоб извиниться — грубый такой! Пошел себе дальше, на него и не посмотрел; да еще бормочет:

— Чего, — говорит, — тут суются? От этого шара не сделал. Разве нет места?

Тот подошел к нему, побледнел весь, а говорит, как ни в чем не был, учтиво так:

— Вы бы прежде, сударь, должны извиниться: вы меня толкнули, — говорит.

— Не до извинений мне теперь: я бы, — говорит, — должен выиграть, а теперь, — говорит, — вот моего шара сделают.

Тот ему опять говорит:

— Вы должны, — говорит, — извиниться.

— Убьрайтесь вы, — говорит. — Вот пристал!

А сам всё на своего шара смотрит.

Нехлюдов подошел к нему еще ближе да за руку его.

— Вы невежа, — говорит, — милостивый государь!

Даром что тоненький, молоденький, как девушка красная, а какой задорный: глазенки горят, вот так съесть его хочет. Большой-то гость мужчина здоровый, высокий, куда Нехлюдову!

— Что-о? — говорит, — я невежа!

Да как закричит, да как замахнет на него. Тут подскочили, кто был, за руки их поймали обоих, растащили.

Тары да бары, Нехлюдов говорит:

— Пусть он мне удовлетворение даст, он меня оскорбил, дескать, — то есть дуэль хотел с ним иметь. Известно, господа: уж у них такое заведение.. нельзя!.. Ну, одно слово, господа!

— Никакого, — говорит, — удовлетворения знать не хочу! Он мальчишка, больше ничего. Я его за уши выдеру.

— Ежели вы, — говорит, — не хотите драться, так вы не благородный человек.

А сам чуть не плачет.

— А ты, — говорит, — мальчишка: я от тебя ничем не обижусь.

Ну, развели их, как водится, по разным комнатам. Нехлюдов с князем дружны были.

— Поди, — говорит, — ради бога, уговори его, чтобы он, то есть, на дуэль согласие сделал. Он, — говорит, — пьян был; может, он опомнится. Нельзя, — говорит, — этому так кончиться.

Пошел князь. Большой говорит:

— Я, — говорит, — и на дуэли, и на войне дрался. Не стану, — говорит, — с мальчишкой драться. Не хочу, да и шабаш.

Что ж, поговорили, поговорили, да и замолчали; только гость большой перестал к нам ездить.

Насчет этого, то есть канфузу, какой петушок был, амбиционный был... то есть, Нехлюдов-то... а уж что касается чего другого прочего, так вовсе не смыслил. Помню раз:

— Кто у тебя здесь есть? — говорит князь Нехлюдову-то.

— Никого, — говорит.

— Как же, — говорит, — никого?

— Зачем — говорит.

— Как зачем?

— Я, — говорит, — до сих пор так жил, так отчего же нельзя?

— Как: так жил? Не может быть!

И заливается-хохочет, и усатый барин тоже хохочет. Со всем на смех подняли.

— Так никогда? — говорят.

— Никогда.

Помирают со смеху. Я, известно, сейчас понял, что они так над ним смеются. Смотрю: что, мол, будет из него?

— Поедем, — говорит князь, — сейчас.

— Нет, ни за что! — говорит.

— Ну, полно! это смешно, — говорит. — Выпей для куражу, да и поедем.

Принес я им бутылку шампанского. Выпили, повезли молодчика.

Приехали часу в первом. Сели ужинать, и собралось их много, что ни есть самые лучшие господа: Атанов, князь

Разин, граф Шустах, Мирцов. И все Нехлюдова поздравляют, смеются. Меня позвали. Вижу — веселы порядочно.

— Поздравляй, — говорят, — барина.

— С чем? — говорю.

Как бишь он сказал? с *посвящением* ли, с *просвящением* ли, не помню уж хорошенько.

— Честь имею, — говорю, — поздравить.

А он красный сидит; улыбается только. То-то смеху-то было!

Хорошо. Приходят потом в бильярдную, веселы все. а Нехлюдов на себя не похож: глаза посоловели, губами водит, икает все и уж слова не может сказать хорошенько. Известно, ничего не видавши, его и сшибло. Подошел он к бильярду, облокотился, да и говорит:

— Вам, — говорит, — смешно, а мне грустно. Зачем, — говорит, — я это сделал; и тебе, — говорит, — князь, и себе в жизнь свою этого не прощу.

Да как залетится, заплачет. Известно, выпил, сам не знает, что говорит. Подошел к нему князь, улыбается сам.

— Полно, — говорит, — пустяки!.. Поедем домой, Анатолий.

— Никуда, — говорит, — не поеду. Зачем я это сделал?

А сам-то заливается. Нейдет от бильярда, да и шабаш. Что значит человек молодой, непривычный.

Таким-то родом ездил он к нам часто. Приезжают раз с князем и с усатым господином, который все с князем ходил. Из чиновников или из отставных каких он был, бог его знает, только *Федоткой* его все господа звали. Скуластый, дурной такой, а ходил чисто и в карете ездил. За что его господа так любили, бог их ведает. *Федотка, Федотка*, а глядишь — его и кормят, и поят, и деньги за него платят. Да уж и шельма же был! проигрывает — не платит; а выигрывает, так небось! Уж его и ругали-то, и бил в глазах моих гость большой, и на дуэль вызывал... все с князем под ручку ходит.

— Ты, — говорит, — пропадешь без меня. Я *Федот*, — говорит, — да не тот.

Шутник такой! Ну, ладно. Приехали, говорят:

— Давай алагер втроем составим.

— Давай, — говорит.

Стали играть по три рубля ставку. Нехлюдов с князем тары да бары.

— Ты, — говорит, — посмотри, какая у нее ножка. Нет, — говорит, — что ножка! У нес коса, — говорит, — хороша.

Известно, на игру не смотрят; только все промеж себя

разговаривают. А Федотка свое дело помнит: знай с накатцем сыграет, а те промах али вовсе на себя. И зашиб по шести рублей с брата. С князем-то у них бог знает какие счета были, никогда друг другу денег не платили, а Нехлюдов достал две зелененьких, подает ему.

— Нет, — говорит, — я не хочу с тебя денег брать. Давай простую сыграем: китудубль, то есть: либо вдвое, либо ничья.

Поставил я шаров. Федотка вперед взял, и стали играть. Нехлюдов-то бьет, чтоб пофорсить; другой раз на партии стоит: нет, — говорит, — не хочу, легко, мол, слишком; а Федотка свое дело не забывает, знай себе подбирает. Известно, игру скрыл, да как будто невзначай и выиграй партию.

— Давай, — говорит, — еще на все.

— Давай.

Опять выиграл.

— С пустяков, — говорит, — началось. Я не хочу у тебя много выигрывать. Идет на все?

— Идет.

Оно как бы ни было, пятидесяти-то рублей жалко. Уж Нехлюдов просит: «давай на всю». Пошла да пошла, дальше да больше, двести восемьдесят рублей на него и набил. Федотка сноровку знает: простую проиграет, а угол выиграет. А князь сидит, видит, что дело всерьез пошло.

— Асе, — говорит, — асе<sup>1</sup>.

Какой! все куш прибавляют.

Наконец тому дело вышло, за Нехлюдовым пятьсот с чем-то рублей. Федотка кий положил, говорит:

— Не довольно ли? Я устал, — говорит.

А сам до зари готов играть, только б денешки были... политика, известно. Тому еще пуще хочется: давай да давай.

— Нет, — говорит, — ей-богу, устал. Пойдем, — говорит, — наверх; там реванш возьмешь.

А наверху у нас в карты играли господа. Сначала преферансик, а там глядишь — любишь не любишь пойдут.

Вот с того самого числа так его Федотка окрутил, что начал он к нам каждый день ездить. Сыграет партию-другую, да и наверх, да и наверх.

Уж что там у них бывало, бог их знает; только что совсем другой человек стал, и с Федоткой все пошло заодно. Прежде, бывало, модный, чистенький, завитой, а нынче только с утра еще в настоящем виде; а как наверху побывал, придет взъерошенный, сюртук в пуху, в мелу, руки грязные.

---

<sup>1</sup> Довольно.



Раз таким манером приходит оттуда с князем, бледный, губы трясутся, и спорит что-то.

— Я, мол, не позволю ему говорить мне (как, бишь, он сказал?)... что я не великатын, что ли, и что он моих карт не будет бить. Я, — говорит, — ему десять тысяч заплатил, так он мог бы при других-то быть осторожнее.

— Ну, полно, — говорит князь: — стоит ли на Федотку сердиться?

— Нет, — говорит, — я этого так не оставляю.

— Перестань, — говорит, — как можно до того унижаться, что с Федоткой иметь историю!

— Да ведь тут были посторонние.

— Что ж, — говорит, — посторонние? Ну, хочешь, я его сейчас заставлю у тебя прощенья просить?

— Нет, — говорит.

И забормотали что-то по-французски, уж я не понял. Что ж? тот же вечер с Федоткой вместе ужинали, и опять дружба пошла.

Хорошо. Придет другой раз один.

— Что, — говорит, — хорошо я играю?

Наше дело, известно: потрафлять каждому надо; скажешь: хорошо, — а какой хорошо, стучит дуром, а расчету ничего нет. И с того самого время, как с Федоткой связался, все на деньги играть стал. Прежде не любил ни на что, — ни на кушанье, ни на шампанское. Бывало, князь скажет:

— Давай на бутылку шампанского.

— Нет, — говорит, — я лучше так велю принести... Гей! дай бутылку.

А нынче все на интерес стал играть. Ходит, бывало, день-денской у нас, или с кем в бильярд играет, или наверх пойдет. Я себе и думаю: что же другим, а не мне все будет доставаться?

— Что, — говорю, — сударь, со мной давно не играли?

Вот и стали играть.

Как набил я на него полтинников десять, — на квит, — говорю, — хотите, сударь?

Молчит. Не то что прежде дурака сказал. Вот и стали играть на квит, да на квит. Я на него рублей восемьдесят и набил. Так что ж? Каждый день со мной играть стал. Того и ждет, бывало, чтобы не было никого, а то, известно, при других стыдно ему с маркелом играть. Раз как-то погорячился он, а рублей уж за ним с шестьдесят было.

— Хочешь, — говорит, — на все?

— Идет, — говорю.

Выиграл я.

— Сто двадцать на сто на двадцать?

— Идет, — говорю.

Опять выиграл.

— Двести сорок на двести на сорок?

— Не много ли будет? — говорю.

Молчит. Стали играть: опять моя партия.

— Четыреста восемьдесят на четыреста на восемьдесят?

Я говорю:

— Что ж, сударь, мне вас обижать. Сто-то рубликов пожалуйте; а то пусть так будут.

Так он как крикнет! А ведь какой тихий был.

— Я, — говорит, — тебя исколочу. Играй или не играй.

Ну, вижу, делать нечего.

— Триста восемьдесят, — говорю, — извольте.

Известно, хотел проиграть.

Дал я сорок вперед. У него пятьдесят два было, у меня тридцать шесть. Стал он желтого резать, да и положи на себя восемнадцать очков, а мой — на перекате стоял.

Ударил я так, чтобы выскочил шар. Не тут-то было, он дуплетом и упади. Опять моя партия.

— Послушай, — говорит, — *Петр* (Петрушкой не назвал), я тебе сейчас не могу отдать всех, а через два месяца хоть три тысячи могу заплатить.

А сам весь красненький стал, дрожит ажно голос у него.

— Хорошо, — говорю, — сударь.

Да и поставил кий. Он походил, походил, пот так с него и льет.

— *Петр*, — говорит, — давай на все.

А сам чуть не плачет.

Я говорю:

— Что, сударь, играть!

— Ну, давай, пожалуйста.

И сам кий мне подает. Я взял кий да шары на бильярд так шваркнул, что на пол полетели: известно, нельзя не пофорсить; говорю:

— *Давай, сударь*.

А уж он так заторопил, что сам шар поднял. Думаю себе: «Не получить мне семисот рублей; все равно проиграю». Стал нарочно играть. Так что же?

— Зачем, — говорит, — нарочно дурно играешь?

А у самого руки дрожат; а как шар к лузе бежит, так пальцы растарашит, рот скривит да все к лузе и головой-то и руками тянет. Уж я говорю:

— Этим не поможешь, сударь.

Хорошо. Как выиграл он эту партию, я говорю:

— Сто восемьдесят рубликов за вами будет да полтораста партий; а я, мол, ужинать пойду.

Поставил кий и ушел.

Сел я себе за столик против двери, а сам смотрю: что, мол, из него будет? Так что ж? Походит, походит — чай думает: никто на него не глядит — да за волосы себя как дернет, и опять ходит, бормочет все что-то, да опять как дернет.

После того дней с восемь не видать его было. Пришел в столовую раз, угрюмый такой, и в бильярдную не зашел.

Увидал его князь:

— Пойдем, — говорит, — сыграем.

— Нет, — говорит, — я больше играть не буду.

— Да полно! пойдем.

— Нет, — говорит, — не пойду. Тебе, — говорит, — добра не сделает, что я пойду, а мне дурно от этого будет.

Так и не ходил дней с десять еще. А потом на праздниках как-то заехал, во фраке, видно, в гостях был, и целый день пробыл: все играл; на другой день приехал, на третий... Пошло по-старому. Хотел я было с ним еще поиграть, так — нет, — говорит, — с тобой играть не стану. А сто восемьдесят рублей, что я тебе должен, приди ко мне через месяц: получишь.

Хорошо. Пришел к нему через месяц.

— Ей-богу, — говорит, — нет, а в четверг приди.

Пришел я в четверг. Славную такую квартиру занимал.

— Что, — говорю, — дома?

— Почивает, — говорят.

Хорошо, подожду.

Камердин у него из своих был — старичок такой седенький, простой, ничего политики не знал. Вот и поразговорились мы с ним.

— Что, — говорит, — мы тут живем с барином! Совсем замотались, и никакой им ни чести, ни пользы нет от Петербургу от этого. Из деревни ехали, думали: будем как при покойнике барине, царство небесное, по князьям, по графам, да по генералам ездить; думали: возьмем себе какую из графинь кралю, с приданым, да и заживем по-дворянски; а выходит на поверку, что мы только по трактирам бегаем — совсем плохо! Княгиня-то Ртищева ведь нам тетка родная, а князь Воротынцев тятенька хресный. Что ж? только на рождество был раз, да и носу не кажет. Уж ихние люди и то смеются мне: что, мол, ваш барин-то, видно, не в папеньку пошел. Я раз и говорю ему:

— Что, сударь, к тетеньке не изволите ездить? Они скажут, что вас давно не видали.

— Скучно, — говорит, — там, Демьяныч!

Поди ты! только и веселья нашел, что в трактире. Хоть бы служил что ли, а то нет: занялся картами да прочим, а уж евти дела никогда к добру не поведут... Э-эх! пропадаем мы, так, ни за грош пропадаем!.. У нас от барыни-покойницы, царство небесное, богатейшее именье осталось: тысяча душ слишком, тысяч на триста лесу было. Все заложил теперь, лес продал, мужичков разорил, и все нет ничего. Без господина, известно, управляющий сам больше господина... дерет с мужика последнюю шкуру, да и шабаш. Ему что? набить бы только карман, а там хоть с голоду все помирай. Намедни пришли два мужичка, жалобы принесли от всей вотчины.

— Разорил, — говорят, — в конце мужиков.

Что ж? прочитал жалобы, дал по десяти рублей мужичкам. — Я, — говорит, — сам скоро буду. Получу деньги, — говорит, — расплачусь, тогда уеду.

А где расплатиться, когда мы все долги делаем! Ведь много ли, мало ли, тут зиму прожили, тысяч восемьдесят спустили; а теперь в доме рубля серебром нету! А всё от добродетели своей. Уж такой простой барин, что и сказать нельзя. От этого самого и пропадает, так вот ни за что пропадает.

И сам чуть не плачет, старик-то. Такой старик смешной.

Проснулся часу в одиннадцатом, позвал меня.

— Не прислали мне, — говорит, — денег, только я виноват. Затвори, — говорит, — дверь.

Я затворил.

— Вот, — говорит, — возьми часы или булавку брильянтовую и заложу их. Тебе, — говорит, — за них больше ста восьмидесяти рублей дадут, а когда я получу деньги, то выкуплю, — говорит.

— Что ж, — я говорю, — сударь, коли денег у вас нет, нечего делать: пожалуйста хоть часы. Я для вас могу уважить.

А сам вижу, что часы рублей триста стоят.

Хорошо. Заложил я часы за сто рублей, а записку ему принес.

— Восемьдесят, — говорю, — рублей за вами будут; а часы сами извольте выкупить.

Так и по сие время восемьдесят рублей моих денег за ним осталось.

Таким-то родом стал он к нам опять каждый день ходить. Уж не знаю, какие у них промеж себя расчеты были,

только все вместе с князем езжали. Или с Федоткой наверх пойдут играть. И тоже какие-то у них втроем мудреные счета были: тот тому дает, тот тому дает; а кто кому должен, не разберешь никак.

И бывал он таким манером у нас два года, почитай, что каждый день, только вид уж свой потерял: бойкой стал и другой раз до того доходил, что у меня по целковому занимал извозчику отдать; а по сту рублей с князем партию играли.

Скучный, худой, желтый стал. Приедет, бывало, абсину сейчас рюмочку велит подать, канале закусит, да портвейном запьет; ну, и повеселей как будто.

Приезжает раз перед обедом, на маслянице дело было, и стал с каким-то гусаром играть.

— Хотите, — говорит, — заинтересовать партию?

— Извольте, — говорит. — На что?

— Бутылку Клодвужо, хотите?

— Идет.

Хорошо. Гусар выиграл, и пошли кушать. Сели за стол; только Нехлюдов и говорит:

— Simon! бутылку Клодвужо; да смотри, согреть хорошенько.

Simon ушел, приносит кушанье, бутылки нет.

— Что ж, говорит, вино?

Simon побежал, приносит жаркое.

— Подавай же вино, — говорит.

Simon молчит.

— Что ты с ума сошел! мы уж кончаем обедать, а вина нет. Кто ж его пьет с десертом?

Побежал Simon.

— Хозяин, — говорит, — вас просит.

Покраснел весь, выскочил из-за стола.

— Что, — говорит, — ему надо?

А хозяин стоит у двери.

— Я, — говорит, — не могу вам больше верить, коли вы мне по счету не заплатите.

— Да я, — говорит, — вам сказал, что я в первых числах отдам.

— Как вам угодно, — говорит, — будет; а я в долг не могу беспрестанно давать и ничего не получать. У меня и так, — говорит, — десятки тысяч в долгах пропадают.

— Ну, полно, *моншер*, — говорит, — уж мне-то можно поверить. Пришлите бутылку, а я постараюсь вам поскорее отдать.

И убежал сам.

— Что это, вас зачем вызывали? — гусар говорит.

— Так, — говорит, — просил меня об одной вещи.

— А славно бы, — говорит гусар, — теперь винца тепленького стакан выпить.

— Симон, что же?!

Побежал мой Симон. Опять нет ни вина, ничего. Плохо. Вышел из-за стола, прибежал ко мне.

— Ради бога, — говорит, — Петруша, дай мне шесть целковых.

А на самом лица нет.

— Нету, — говорю, — сударь, ей-богу, да уж и так за вами моих много.

— Я тебе, — говорит, — сорок целковых за шесть через неделю отдам.

— Коли бы были, — говорю, — я бы не смел отказать, а то, ей-ей, нету.

Так что же? выскочил, зубы стиснул, кулаки сжал, как шальной по коридору бегаёт, да по лбу себя как треснет.

— Ах! — говорит, — господи! Что это?

Даже не зашел в столовую, вскочил в карету и ускакал.

То-то смеху было. Гусар говорит:

— Где, мол, барин, что со мной обедал?

— Уехал, — говорят.

— Как уехал? Что ж он сказать велел?

— Ничего, — говорят, — не велели сказывать: сели, да и уехали.

— Хорош, — говорит, — гусь!

Ну, думаю себе, теперь долго ездить не будет, после то есть сраму такого. Так нет. На другой день в вечеру приезжает. Пришел в бильярдную и ящик какой-то с собой принес. Снял пальто.

— Давай играть, — говорит.

Глядит исподлобья, сердитый такой.

Сыграли партийку.

— Довольно, — говорит, — поди принеси мне перо и бумагу: письмо нужно написать.

Я, ничего не думамши, не гадамши, принес бумаги, положил на стол в маленькую комнату.

— Готово, — говорю, — сударь.

Хорошо. Сел за стол. Уж он писал, писал, бормотал все что-то, вскочил потом нахмуренный такой.

— Поди, — говорит, — посмотри, приехала ли моя карета?

Дело в пятницу на масляной было, так никого из гостей не было: все по балам.

Я пошел было узнать о карете, только за дверь вышел:

— Петрушка! Петрушка! — кричит, точно испужался чего.  
Я вернулся. Смотрю, он белый, вот как полотно, стоит, на  
меня смотрит.

— Звать, — говорю, — изволили, сударь?

Молчит.

— Что, — говорю, — вам угодно?

Молчит.

— Ах, да! давай еще играть, — говорит.

Хорошо. Выиграл он партию.

— Что, — говорит, — хорошо я научился играть?

— Да, — я говорю.

— То-то. Поди, — говорит, — теперь, узнай, что карета?

А сам по комнате ходит.

Я себе, ничего не думая, вышел на крыльцо: вижу, кареты  
никакой нет, иду назад.

Только иду назад, слышу, кием ровно стукнул кто-то.  
Вхожу в бильярдную: пахнет что-то чудно.

Глядь: а он на полу лежит, ве-есь в крови, и пистоль  
подле брошена. Так я до того испужался, что слова сказать  
не мог.

А он дрыгнет, дрыгнет ногой, да и потянется. Захрапел  
потом, да и растянулся вот этаким родом.

И отчего такой грех с ними случился, что душу свою за-  
губил, то есть бог его знает; только что бумагу эту оставил,  
да и то я никак не соображу.

Уж чего не делают господа!.. Сказано, господа... Одно  
слово: — господа.

«Бог дал мне все, чего может желать человек: богатство,  
ум, благородные стремления. Я хотел наслаждаться и  
затоптал в грязь все, что было во мне хорошего.

«Я не обещен, не несчастен, не сделал никакого престу-  
пления; но я сделал хуже: я убил свои чувства, свой ум,  
свою молодость.

«Я опутан грязной сетью, из которой не могу выпутаться  
и к которой не могу привыкнуть. Я беспрестанно падаю, па-  
даю; чувствую свое падение и не могу остановиться. Мне  
легче бы было быть обещенным, несчастным или преступ-  
ным: тогда было бы какое-то утешительное, угрюмое величие  
в моем отчаянии. Ежели бы я был обещен, я бы мог под-  
няться выше понятий чести нашего общества и презирать  
его. Ежели бы я был несчастлив, я бы мог роптать. Ежели  
бы я сделал преступление, я бы мог раскаянием или наказа-  
нием искупить его; но я просто низок, гадок, знаю это — и  
не могу подняться.

«И что погубило меня? Была ли во мне какая-нибудь сильная страсть, которая бы извиняла меня? Нет.

«Семерка, туз, шампанское, желтый в середину, мел, серенькие, радужные бумажки, папиросы, продажные женщины — вот мои воспоминания!

«Одна ужасная минута забвения, низости, которой я никогда не забуду, заставила меня опомниться. Я ужаснулся, когда увидел, какая неизмеримая пропасть отделяла меня от того, чем я хотел и мог быть. В моем воображении возникли надежды, мечты и думы моей юности.

«Где те светлые мысли о жизни, о вечности, о боге, которые с такою ясностью и силой наполняли мою душу? Где беспредметная сила любви, отрадной теплотой согревавшая мое сердце? Где надежда на развитие, сочувствие ко всему прекрасному, любовь к родным, к ближним, к труду, к славе? Где понятие об обязанности?

«Меня оскорбили — я вызывал на дуэль и думал, что вполне удовлетворил требованиям благородства. Мне нужны были деньги для удовлетворения своих пороков и тщеславия — я разорил тысячи семейств, вверенных мне богом, и сделал это без стыда, — я, который так хорошо понимал эти священные обязанности. Бесчестный человек сказал мне, что у меня нет совести, что я хочу красть, — и я остался его другом, потому что он бесчестный человек и сказал мне, что он не хотел меня обидеть. Мне сказали, что смешно жить скромником, — и я отдал без сожаления цвет своей души — невинность — продажной женщине. Да, никакой убитой части моей души мне так не жалко, как любви, к которой я так был способен. Боже мой! Любил ли хоть один человек так, как я любил, когда еще не знал женщин!

«А как я мог быть хорош и счастлив, ежели бы шел по той дороге, которую, вступая в жизнь, открыли мой свежий ум и детское, истинное чувство! Не раз пробовал я выйти из грязной колени, по которой шла моя жизнь, на эту светлую дорогу. Я говорил себе: употреблю все, что есть у меня воли, — и не мог. Когда я оставался один, мне становилось неловко и страшно с самим собой. Когда я был с другими, я забывал невольно свои убеждения, не слышал более внутреннего голоса и снова падал.

«Наконец я дошел до страшного убеждения, что не могу подняться, перестал думать об этом и хотел забыться; но безнадежное раскаяние еще сильнее тревожило меня. Тогда мне в первый раз пришла страшная для других и отрадная для меня мысль о самоубийстве.

«Но и в этом отношении я был низок и подл. Только



вчерашняя глупая история с гусаром дала мне довольно решимости, чтобы исполнить свое намерение. Во мне не осталось ничего благородного — одно тщеславие, и из тщеславия я делаю единственный хороший поступок в моей жизни.

«Я думал прежде, что близость смерти возвысит мою душу. Я ошибался. Через четверть часа меня не будет, а взгляд мой нисколько не изменился. Я так же вижу, так же слышу, так же думаю; та же странная непоследовательность, шаткость и легкость в мыслях, столь противоположная тому единству и ясности, которые, бог знает зачем, дано воображать человеку. Мысли о том, что будет за гробом, и какие толки будут завтра о моей смерти у тетушки Ртищевой, с одинаковой силой представляются моему уму.

«Непостижимое создание человек!»

1853—1855

## МЕТЕЛЬ

*Рассказ*

### I

В седьмом часу вечера, я, напившись чаю, выехал со станции, которой названия уже не помню, но помню, где-то в Земле Войска Донского, около Новочеркасска. Было уже темно, когда я, закутавшись в шубу и полость, рядом с Алешкой уселся в сани. За станционным домом казалось тепло и тихо. Хотя снегу не было сверху, над головой не виднелось ни одной звездочки, и небо казалось чрезвычайно низким и черным сравнительно с чистой снежной равниной, расстилавшейся впереди нас.

Едва миновав темные фигуры мельниц, из которых одна неуклюже махала своими большими крыльями, и выехав за станицу, я заметил, что дорога стала тяжелее и засыпаннее, ветер сильнее стал дуть мне в левую сторону, заносить в бок хвосты и гривы лошадей и упрямо поднимать и относить снег, разрываемый полозьями и копытами. Колокольчик стал замирать, струйка холодного воздуха пробежала через какое-то отверстие в рукаве за спину, и мне пришел в голову совет зрителя не ездить лучше, чтоб не проплутать всю ночь и не замерзнуть дорогой.

— Не заблудиться бы нам? — сказал я ямщику. Но, не получив ответа, яснее предложил вопрос: — Что́, доедем до станции, ямщик? не заблудимся?

— А бог знает, — отвечал он мне, не поворачивая головы, — вишь, какая поземная расходится: ничего дороги не видать. Господи-батюшка!

— Да ты скажи лучше, надеешься ты довезти до станции или нет? — продолжал я спрашивать. — Доедем ли?

— Должны доехать, — сказал ямщик и еще продолжал говорить что-то, чего уже я не мог расслышать за ветром.

Ворочаться мне не хотелось; но и проплутать всю ночь в мороз и метель в совершенно голой степи, какова эта часть Земли Войска Донского, казалось очень невесело. Притом же, несмотря на то, что в темноте я не мог рассмотреть его хорошенько, ямщик мой почему-то мне не нравился и не внушал к себе доверия. Он сидел совершенно посередине, с ногами, а не сбоку, роста был слишком большого, голос у него был ленивый, шапка какая-то не ямская — большая, раскачивающаяся в разные стороны; да и понукал он лошадей не так, как следует, а держа вожжи в обеих руках, точно как лакей, который сел на козлы за кучера, и, главное, не доверял я ему почему-то за то, что у него уши были подвязаны платком. Одним словом, не нравилась и как будто не обещала ничего хорошего эта серьезная, сторбленная спина, торчавшая передо мною.

— А по-моему лучше бы воротиться, — сказал мне Алешка: — плутать-то что́ веселого!

— Господи-батюшка! вишь, несет какая куря! Ничего дороги не видать, все глаза залепило... Господи-батюшка! — ворчал ямщик.

Не проехали мы четверти часа, как ямщик, остановив лошадей, передал вожжи Алешке, неловко выпростал ноги из сиденья и, хрустя большими сапогами по снегу, пошел искать дорогу.

— Что́ куда ты? сбились, что ли? — спрашивал я; но ямщик не отвечал мне, а отвернув лицо в сторону от ветра, который сек ему глаза, отошел от саней.

— Ну, что́? есть? — повторил я, когда он вернулся.

— Нету ничего, — сказал он мне вдруг нетерпеливо и с досадой, как будто я был виноват в том, что он сбился с дороги, и, медлительно опять просунув свои большие ноги в передок, стал разбирать вожжи замерзлыми рукавицами.

— Что́ ж будем делать? — спросил я, когда мы снова тронулись.

— Что́ ж делать! поедем, куда бог даст.

И мы поехали тою же мелкой рысью, уже, очевидно, целиком, где по сыпучему в четверть снегу, где по хрупкому голу насту.

Несмотря на то, что было холодно, снег на воротнике таял весьма скоро; заметь низовая всё усиливалась, и сверху начинал падать редкий сухой снег.

Ясно было, что мы едем бог знает куда, потому что, проехав еще с четверть часа, мы не видали ни одного верстового столба.

— Чтò, как ты думаешь, — спросил я опять ямщика: — доедем мы до станции?

— До которой? Назад приедем, коли дать волю лошадям: они привезут; а на ту вряд... только себя погубить можно.

— Ну, так пускай назад, — сказал я: — и в самом деле...

— Стало ворочаться? — повторил ямщик.

— Да, да, ворочайся!

Ямщик пустил вожжи. Лошади побежали шибче, и хотя я не заметил, чтобы мы поворачивали, ветер переменился, и скоро сквозь снег завиднелись мельницы. Ямщик приободрился и стал разговаривать.

— Анадьсь так-то в заметь обратные с той станции поехали, — сказал он, — да в стогах и ночевали, к утру только приехали. Спасибо еще к стогам прибились, а то все бы чисто позамерзли — холод был. И то один ноги позаморозил, — так три недели от них умирал.

— А теперь ведь нехолодно и потише стало, — сказал я, — можно бы ехать?

— Оно тѣпло-то тѣпло, да метет. Теперь взад, так оно полегче кажет; а метет дюже. Ехать бы можно, кабы кульер али чтò, по своей воле; а то ведь шутка ли — седока заморозить. Как потом за вашу милость отвечать?

## II

В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас.

— Колокол кульерский, — сказал мой ямщик, один такой на всей станции есть.

И, действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош: чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотничье заведение: три колокольчика — один большой в середине, с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшийся в

воздухе, был необыкновенно паразителен и странно хорош в этой пустынной, глухой степи.

— Пошта бежит, — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поровнялась с нами. — А что дорога? проехать можно? — крикнул он заднему из ямщиков; но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему.

Звук колокольчиков быстро замер по ветру, как только почта миновала нас.

Должно быть, моему ямщику стало стыдно.

— А то поедете, барин! — сказал он мне, — люди проехали — теперь же их следок свежий.

Я согласился, и мы снова повернули против ветра и по-тащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две след был виден ясно; потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями, а скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это, или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убежание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти; как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и, наконец, дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались, ямщик выпрастывал свои большие ноги и лазил искать дорогу; но всё тщетно. Я тоже пошел было раз посмотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось; но едва я с трудом сделал шагов шесть против ветра и убедился, что везде были одинаковые, однообразные, белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, — как уже я не видал саней. Я закричал: «Ямщик! Алешка!», но голос мой — я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани, — саней не было, пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз: «Ямщик!» тогда как он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся набок шапкой вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням.

— Еще спасибо — тепло, — сказал он: — а морозом хватит — беда!.. Господи-батюшка!

— Пускай лошадей, пусть везут назад, — сказал я, усевшись в сани. — Привезут? а, ямщик?

— Должны привезть.

Он бросил вожжи, ударил раза три кнутиком по седелке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотничий колокольчик и еще два; но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными свади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотничьим колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков, слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица.

Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».

### III

Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону.

— Вишь, чорт косоглазый, не видит! куда воротит — на людей. Чорт! — принялся ругаться хриплым дребезжащим голосом один невысокий ямщик, старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бранить моего ямщика.

Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и ямщик скрылись в белой мгле метели.

— Васили-ий! давай сюда буланого: так не пойма-ешь, — послышался еще его голос.

Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, взлез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным галопцем скрылся по тому же направлению.

Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше.

— Как же! поймает! — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. — Уж коли к лошадям не пошла, значит — оголтела лошадь, туда заведет, что и... не выйдет.

С тех пор, как ямщик мой ехал сзади, он сделался как

будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, из села Кирпичного, что у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли с самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до рождества недостает, и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец; что из их села каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть не ездил ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по ста двадцати рублей ассигнациями в год, из которых сто в семью посылает, и что жить бы хорошо, «да кульеры очень звери, да и народ здесь все ругатель».

— Ну, чего ругался ямщик-то этот? Господи-батюшка! разве я нарочно ему лошадей оборвал? разве я кому злодей? И чего поскакал за ними! сами бы пришли; а то только лошадей заморит да и сам пропадет, — повторял богобоязненный мужичок.

— А это что чернеется? — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас.

— А обоз. То-то любезная езда! — продолжал он, когда мы поровнялись с огромными, покрытыми рогожами возами, шедшими друг за другом на колесах. — Гляди, ни одного человека не видать — все спят. Сама умная лошадь знает: не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядом, — прибавил он, — так знаем.

Действительно, странно было смотреть на эти огромные возы, засыпанные от рогожного верху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем возу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поровнялись с ней.

Проехав еще с полчаса молча, ямщик снова обратился ко мне.

— А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?

— Не знаю, — отвечал я.

— Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем. Нет, мы не туда едем, мы тоже длуемся, — заключил он совершенно спокойно.

Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусо-

ват — на миру и смерть красна, — он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прехладнокровно делал наблюдения над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа; мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору, или под гору, тогда как степь была везде ровная.

Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось, далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу; но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже; точно так же люди все спали под рогожами, и так же передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши.

— Вишь, кружили, кружили, опять к тому же обозу выехали! — сказал мой ямщик недовольным тоном. — Кульерские лошади добрые: то-то он так и гонит дуром; а наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проедем.

Он прокашлялся.

— Вернемся-ка, барин, от греха.

— Зачем? куда-нибудь да приедем.

— Куда приехать? уж будем в степи ночевать. Как метет... Господи-батюшка!

Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно, уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а, весело покрикивая, продолжал ехать полной рысью, я уже не хотел отставать от них.

— Пошел за ними, — сказал я.

Ямщик поехал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.

#### IV

Метель становилась сильнее и сильнее, и сверху снег шел сухой и мелкий; казалось, начинало подмораживать: нос и щеки сильнее зябли, чаще пробегала под шубу струйка холодного воздуха, и надо было запахиваться. Изредка сани постукивали по голому, обледенелому черепку, с которого снег сметало. Так как я, не ночуя, ехал уже шестую сотню верст, несмотря на то, что меня очень интересовал исход нашего

плутанья, я невольно закрывал глаза и задремывал. Раз, когда я открыл глаза, меня поразил, как мне показалось в первую минуту, яркий свет, освещавший белую равнину: горизонт значительно расширился, черное низкое небо вдруг исчезло, со всех сторон видны были белые косые линии падающего снега; фигуры передовых троек виднелись яснее, и, когда я посмотрел вверх, мне показалось в первую минуту, что тучи разошлись, и что только падающий снег застилает небо. В то время как я вздремнул, взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и падающий снег свой холодный яркий свет. Одно, что я видел ясно, это были мои сани, лошади, ямщик и три тройки, ехавшие впереди: первая — курьерская, в которой все так же на облучке сидел один ямщик и гнал крупной рысью; вторая, в которой, бросив вожжи и сделав себе из армяка *ватишку*, сидели двое и, не переставая, курили трубочку, что видно было по искрам, блестящим оттуда, и третья, в которой никого не видно было, и предположительно ямщик спал в середине. Передовой ямщик, однако, когда я проснулся, изредка стал останавливать лошадей и искать дороги. Тогда, только что мы останавливались, слышнее становилось завывание ветра и виднее поразительно огромное количество снега, носящегося в воздухе. Мне видно было, как при лунном, застилаемом метелью свете невысокая фигура ямщика с кнутовищем в руке, которым он ощупывал снег впереди себя, двигалась взад и вперед в светлой мгле, снова подходила к саням, вскакивала бочком на передок, и слышались снова среди однообразного свистения ветра ловкое, звучное покрикивание и звучание колокольчиков. Когда передовой ямщик вылезал, чтобы искать признаков дороги или стогов, из вторых саней всякий раз слышался бойкий, самоуверенный голос одного из ямщиков, который кричал передовому:

— Слышь, Игнашка! влево совсем забрали: правее забирай, под погоду-то. — Или: Что кружишь дуром? по снегу ступай, как снег лежит — как раз выедешь. — Или: вправо-то, вправо-то пройди, братец ты мой! вишь, чернеет что-то, столб никак. — Или: Что путаешь-то? что путаешь? Отпряжь-ка пегого да пусти передом, так он как раз тебя выведет на дорогу. Дело-то лучше будет!

Сам же тот, который советовал, не только не отпрягал пристяжной или не ходил по снегу искать дороги, но носу не высовывал из-за своего армяка и когда Игнашка-передовой на один из советов его крикнул, чтобы он сам ехал передом, когда знает, куда ехать, то советчик отвечал, что когда бы он на куьерских ездил, то и поехал бы и вывел



бы как раз на дорогу. — А наши лошади в заметь передом не пойдут! — крикнул он: — не такие лошади!

— Так не муди! — отвечал Игнашка, весело посвистывая на лошадей.

Другой ямщик, сидевший в одних санях с советчиком, ничего не говорил Игнашке и вообще не вмешивался в это дело, хотя не спал еще, о чем я заключал по неугасаемой его трубочке и по тому, что, когда мы останавливались, я слышал его мерный, непрерываемый говор. Он рассказывал сказку. Раз только, когда Игнашка в шестой или седьмой раз остановился, ему, видимо, досадно стало, что прерывается его удовольствие езды, и он закричал ему:

— Ну что стал опять? Вишь, найти дорогу хочет! Сказано, метель! Теперь землемер самый, и тот дороги не найдет. Ехал бы, поколе лошади везут. Авось до смерти не замерзнем... пошел знай!

— Как же! небось, поштальон в прошлом году до смерти замерз! — отозвался мой ямщик.

Ямщик третьей тройки не просыпался всё время. Только раз, во время остановки, советчик крикнул:

— Филипп! а, Филипп! — и, не получив ответа, заметил: — Уж не замерз ли? Ты бы, Игнашка, посмотрел.

Игнашка, который попевал на всё, подошел к саням и начал толкать спящего.

— Вишь, с косушки как его разобрало! Замерз, так скажи! — говорил он, раскачивая его.

Спящий промычал что-то и ругнулся.

— Жив, братцы! — сказал Игнашка и снова побежал вперед, и мы снова ехали, и даже так скоро, что маленькая гнеденькая пристяжная в моей тройке, беспрестанно постегиваемая в хвост, не раз попрыгивала неловким галопцем.

## У

Уже, я думаю, около полуночи к нам подъехали старичок и Василий, догонявшие оторвавшихся лошадей. Они поймали лошадей и нашли и догнали нас; но каким образом сделали они это в темную, слепую метель, среди голой степи, мне навсегда останется непонятным. Старичок, размахивая локтями и ногами, рысью ехал на коренной (другие две лошади были привязаны к хомуту: в метель нельзя бросать лошадей). Поровнявшись со мной, он снова принялся ругать моего ямщика:

— Вишь, чорт косоглазый! право...

— Э, дядя Митрич, — крикнул сказочник из вторых саней: — жив? полезай к нам.

Но старик не отвечал ему, а продолжал браниться. Когда ему показалось достаточным, он подъехал ко вторым саням.

— Всех поймал?— сказали ему оттуда.

— А то нет!

И небольшая фигура его на рыси грудью ввалилась на спину лошади, потом соскочила на снег, не останавливаясь, пробежала за санями и ввалилась в них, с выпущенными кверху через грядку ногами. Высокий Василий, так же, как и прежде, молча сел в передние сани с Игнашкой и с ним вместе стал искать дорогу.

— Вишь, ругатель... Господи-батюшка! — пробормотал мой ямщик.

Долго после этого мы ехали, не останавливаясь, по белой пустыне, в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели. Откроешь глаза — та же неуклюжая шапка и спина, занесенные снегом, торчат передо мной, та же невысокая дуга, под которой между натянутыми ременными поводками узды поматывается, все в одном расстоянии, голова коренной с черной гривой, мерно подбиваемой в одну сторону ветром; виднеется из-за спины та же гнedenькая пристяжная направо, с коротко подвязанным хвостом и вальком, изредка постукивающим о лубок саней. Посмотришь вниз — тот же сыпучий снег разрывают полозья, и ветер упорно поднимает и уносит всё в одну сторону. Впереди, на одном же расстоянии, убегают передовые тройки; справа, слева все белеет и мерещится. Напрасно глаз ищет нового предмета: ни столба, ни стога, ни забора — ничего не видно. Везде все бело, бело и подвижно: то горизонт кажется необъятно-далеким, то сжатым на два шага во все стороны, то вдруг белая, высокая стена вырастает справа и бежит вдоль саней, то вдруг исчезает и вырастает спереди, чтобы убежать дальше и дальше и опять исчезнуть. Посмотришь ли наверх — покажется светло в первую минуту, кажется, сквозь туман видишь звездочки; но звездочки убегают от взора выше и выше, и только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно. Ветер как будто изменяется: то дует навстречу и лепит глаза снегом, то сбоку досадно закидывает воротник шубы на голову и насмешливо треплет меня им по лицу, то сзади гудит в какую-нибудь скважину. Слышно слабое, неумолкаемое хрустение копыт и полозьев по снегу и замирающее, когда мы едем по глубокому снегу, звяканье колокольчиков. Только изредка, когда мы едем против ветра и по голому намерзшему черешку, ясно долетают до слуха энергическое посвистывание

Игната и заливи́стый звон его колокольчика с отзывающейся дребезжащей квинтой, и звуки эти вдруг отрадно нарушают унылый характер пустыни и потом снова звучат однообразно, с несносной верностью наигрывая все тот же самый мотив, который невольно я воображаю себе. Одна нога начала у меня зябнуть, и, когда я поворачивался, чтобы лучше закрыться, снег, насыпавшийся на воротник и шапку, прскакивал за шею и заставлял меня вздрагивать; но мне было вообще еще тепло в обогретой шубе, и дремота клонила меня.

## VI

Воспоминания и представления с усиленной быстротой смеялись в воображении.

«Советчик, что всё кричит из вторых саней, какой это мужик должен быть? Верно, рыжий, плотный, с короткими ногами, — думаю я, — в роде Федора Филиппыча, нашего старого буфетчика». И вот я вижу лестницу нашего большого дома и пять человек дворовых, которые на полотенцах, тяжело ступая, тащат фортепьяно из флигеля; вижу Федора Филиппыча с завороченными рукавами нанкового сюртука, который несет одну педаль, забегает вперед, отворяет задвижки, подергивает там за ручник, поталкивает тут, пролезает между ног, всем мешает и озабоченным голосом кричит, не переставая:

— На себя возьми, передовые-то, передовые! Вот так, хвостом-то в гору, в гору, в гору, заноси в дверь! Вот так.

— Уж вы позвольте, Федор Филиппыч! мы одни, — робко замечает садовник, прижатый к перилам, весь красный от напряжения, из последних сил поддерживая один угол рояля.

Но Федор Филиппыч не унимается.

«И что́ это? — рассуждал я, — думает он, что он полезен, необходим для общего дела, или просто рад, что бог дал ему это самоуверенное, убедительное красноречие, и с наслаждением расточает его? Должно быть, так». И я вижу почему-то пруд, усталых дворовых, которые по колено в воде тянут невод, и опять Федор Филиппыч с лейкой, крича на всех, бежит по берегу и только изредка подходит к воде, чтобы, придерживав рукой золотистых карасей, спустить мутную воду и набрать свежей. Но вот полдень в июле месяце. Я по только что скошенной траве сада, под жгучими прямыми лучами солнца иду куда-то. Я еще очень молод, мне чего-то недостает и чего-то хочется. Я иду к пруду, на свое любимое место, между шиповниковой клумбой и березовой аллеей, и ложусь спать. Помню чувство, с которым я, лежа, гляжу

сквозь красные колючие стволы шиповника на черную, засохшую крупинками землю и на просвечивающее яркоголубое зеркало пруда. Это было чувство какого-то наивного самодовольствия и грусти. Всё вокруг меня было так прекрасно, и так сильно действовала на меня эта красота, что мне казалось, я сам хорош, и одно, что мне досадно было, это то, что никто не удивляется мне. Жарко. Я пытаюсь заснуть, чтоб утешиться; но мухи, несносные мухи, не дают мне и здесь покоя, начинают собираться около меня и упорно, туго как-то, как косточки, перепрыгивают со лба на руки. Пчела жужжит недалеко от меня на самом припеке; желтокрылые бабочки, как раскислые, перелетают с травки на травку. Я гляжу вверх: глазам больно — солнце слишком блестит через светлую листву кудрявой березы, высоко, но тихонько раскачивающейся надо мной своими ветвями, — и кажется еще жарче. Я закрываю лицо платком; становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина. В шиповнике завозились воробьи в самой чаще. Один из них спрыгнул на землю в аршине от меня, притворился раза два, что энергически клюнул землю, и, хрустя ветками и весело чиликнув, вылетел из клумбы; другой тоже соскочил на землю, подернул хвостик, оглянулся и также, как стрела, чиликая, вылетел за первым. На пруде слышны удары валька по мокрому белью, и удары эти раздаются и разносятся как-то низом, вдоль по пруду. Слышны смех и говор и плесканье купающихся. Порыв ветра зашумел верхушками берез еще далеко от меня; вот ближе; слышу, он зашевелил траву, вот и листья шиповниковой клумбы заколебались, забились на своих ветках; а вот, поднимая угол платка и щекотя потное лицо, до меня добежала свежая струя. В отверстие поднятого платка влетела муха и испуганно забилась около влажного рта. Какая-то сухая ветка жмет мне под спиной. Нет, не улежать: пойти выкупаться. Но вот около самой клумбы слышу торопливые шаги и испуганный женский говор:

— Ах, батюшки! Да что ж это! и мужчин никого нету!

— Что это, что? — спрашиваю я, выбегая на солнце, у дворовой женщины, которая, охая, бежит мимо меня. Она только оглядывается, взмахивает руками и бежит дальше. Но вот и столетилетняя старуха Матрена, придерживая рукою платок, сбивающийся с головы, подпрыгивая и волоча одну ногу в шерстяном чулке, бежит к пруду. Две девочки бегут, держась друг за друга, и десятилетний мальчишка, в юцовском сюртуке, держась за лосконную юбку одной из них, поспешает сзади.

— Что случилось? — спрашиваю я у них.

— Мужик утонул.

— Где?

— В пруде.

— Какой? наш?

— Нет, прохожий.

Кучер Иван, ёрзая большими сапогами по скошенной траве, и толстый приказчик Яков, с трудом переводя дух, бегут к пруду, и я бегу за ними.

Помню чувство, которое мне говорило: «Вот бросься и вытащи мужика, спаси его, и все будут удивляться тебе», чего мне именно и хочется.

— Где же, где? — спрашиваю я у толпы дворовых, собравшейся на берегу.

— Вон там, в самой пучине, к тому берегу, у бани почти — говорит прачка, убирая мокрое белье на коромысло. — Я гляжу, что он ныряет; а он покажется так-то, да и уйдет опять, покажется еще, да как крикнет: «тону, батюшки!» и опять ушел на низ, — только пузырьки пошли. Тут я увидела, мужик тонет. Как взвою: «батюшки мужик тонет!»

И прачка, взвалив на плечо коромысло, виляя боком, пошла по тропинке прочь от пруда.

— Вишь, грех какой! — говорит Яков Иванов, приказчик, отчаянным голосом: — что теперь хлопот с земским судом будет — не оберешься.

Какой-то один мужик с косою пробрался сквозь толпу баб, детей и стариков, столпившихся у того берега, и, повесив косу на сук ракиты, медленно разувается.

— Где же, где он утонул? — всё спрашиваю я, желая броситься туда и сделать что-нибудь необыкновенное.

Но мне указывают на гладкую поверхность пруда, которую изредка рябит проносющийся ветер. Мне непонятно, как же он утонул, а вода все так же гладко, красиво, равнодушно стоит над ним, блестя золотом на полуденном солнце, и мне кажется, что я ничего не могу сделать, никого не удивлю, тем более, что весьма плохо плаваю; а мужик уже через голову стаскивает с себя рубашку и сейчас бросится. Все смотрят на него с надеждой и замиранием; но, войдя в воду по плечи, мужик медленно возвращается и надевает рубашку: он не умеет плавать.

Народ все сбегается, толпа становится больше и больше, бабы держатся друг за друга; но никто не подает помощи. Те, которые только что приходят, подают советы, ахают и на лицах выражают испуг и отчаянье; из тех же, которые собрались прежде, некоторые садятся, устав стоять, на траву, некоторые возвращаются. Старуха Матрена спрашивает у

дочери, затворила ли она заслонку печи; мальчишка в отцовском сюртуке старательно бросает камешки в воду.

Но вот от дому, с лаем и в недоумении оглядываясь назад, бежит под гору Трезорка, собака Федора Филиппыча; но вот и самая фигура его, бегущего с горы и кричащего что-то, показывается из-за шиповниковой клумбы.

— Что стоите? — кричит он, на бегу снимая сюртук. — Человек потонул, а они стоят! давай веревку!

Все с надеждой и страхом смотрят на Федора Филиппыча, пока он, придерживаясь рукой за плечо услужливого дворового, снимает носком левой ноги каблук правой.

— Вон там, где народ стоит, так вот поправее ракиты, Федор Филиппыч, вон там-то, — говорит ему кто-то.

— Знаю! — отвечает он и, нахмутив брови, должно быть, в ответ на признаки стыдливости, выражающейся в толпе женщин, снимает рубашку, крестик, передавая его мальчишке-садовнику, который подобострастно стоит перед ним, и, энергически ступая по скошенной траве, подходит к пруду.

Трезорка, в недоумении насчет причин этой быстроты движений своего господина, остановившись около толпы и чмокая, съев несколько травинок около берега, вопросительно смотрит на него и, вдруг весело взвизгнув, вместе с своим хозяином бросается в воду. Первую минуту ничего не видно, кроме пены и брызгов, которые летят даже до нас; но вот Федор Филиппыч, грациозно размахивая руками и равномерно подымая и опуская белую спину, саженьями, бойко плывет к тому берегу. Трезорка же, захлебнувшись, торопливо возвращается назад, отряхивается около толпы и на спине вытирается по берегу. В одно и то же время, как Федор Филиппыч подплывает к тому берегу, два кучера прибегают к раките с свернутым на палке неводом. Федор Филиппыч для чего-то поднимает кверху руки, ныряет раз, другой, третий, всякий раз пуская изо рта струйку воды и красиво встряхивая волосами и не отвечая на вопросы, которые со всех сторон сыплются на него. Наконец он выходит на берег и, сколько мне видно, распоряжается только расправлением невода. Невод вытаскивают, но в корме ничего нет, кроме тины и нескольких мелких карасиков, бьющихся между нею. В то время как невод еще раз затаскивают, я перехожу на ту сторону.

Слышно только голос Федора Филиппыча, отдающего приказания, поплескивание по воде мокрой веревки и вздохи ужаса. Мокрая веревка, привязанная к правому крылу, больше и больше покрытая травой, дальше и дальше выходит из воды.

— Теперь вместе тяни, дружной, разом! — кричит голос Федора Филиппыча. Показываются камола, облитые водой.

— Есть что-то, тяжело идет, братцы, — говорит чей-то голос.

Но вот и крылья, в которых бьются два-три карасика, моча и прижимая траву, вытягиваются на берег. И вот сквозь тонкий, колеблющийся слой возмутившейся воды в натянутой сети показывается что-то белое. Негромкий, но поразительно слышный среди мертвой тишины вздох ужаса проносится в толпе.

— Тащи, дружной, на сухое тащи! — слышится решительный голос Федора Филиппыча, и утопленника по скошенным стеблям лопуха и репейника волоком подтаскивают к раките.

И вот я вижу мою добрую старую тетюшку в шелковом платье, вижу ее лиловый зонтик с бахромой, который почему-то так несообразен с этой ужасной по своей простоте картиной смерти, лицо, готовое сию минуту расплакаться. Помню выразившееся на этом лице разочарование, что нельзя тут ни к чему употребить арнику, и помню больное, скорбное чувство, которое я испытал, когда она мне с наивным эгоизмом любви сказала: «Пойдем, мой друг. Ах, как это ужасно! А вот ты все один купаешься и плаваешь».

Помню, как ярко и жарко пекло солнце сухую, рассыпчатую под ногами землю, как играло оно на зеркале пруда, как бились у берегов крупные карпии, в середине зыбили гладь пруда стайки рыбок, как высоко в небе бился ястреб, стоя над утятами, которые, бурля и плескаясь, через тростник выплывали на середину; как грозовые белые кудрявые тучи собирались на горизонте, как грязь, вытащенная неводом у берега, понемногу расходилась, и как, проходя по плотине, я снова услышал удары валька, разносящиеся по пруду.

Но валец этот звучит, как будто два валька звучат вместе в терцию, и звук этот мучит, томит меня, тем более, что я знаю — этот валец есть колокол, и Федор Филиппыч не заставит замолчать его. И валец этот, как инструмент пытки, сжимает мою ногу, которая зябнет, — я засыпаю.

Меня разбудило, как мне показалось, то, что мы очень быстро скачем, и два голоса говорят подле самого меня.

— Слышь, Игнат, а Игнат! — говорит голос моего ямщика: — возьми седока — тебе все одно ехать, а мне что даром гонять! — возьми!

Голос Игната подле самого меня отвечает: — А что мне радости-то за седока отвечать?.. Поставишь полштофа?

— Ну, полштофа!.. косушку уж так и быть.

— Вишь, косушку! — кричит другой голос: — лошадей помучить за косушку!

Я открываю глаза. Всё тот же несносный колеблющийся снег мерещится в глазах, те же ямщики и лошади, но подле себя я вижу какие-то сани. Мой ямщик догнал Игната, и мы довольно долго едем рядом. Несмотря на то, что голос из других саней советует не брать меньше полуштофа, Игнат вдруг останавливает тройку.

— Перекладывай, уж так и быть, твое счастье. Косушку поставь, как завтра приедем. Клади много, что ли?

Мой ямщик с несвойственной ему живостью выскакивает на снег, кланяется мне и просит, чтобы я пересел к Игнату. Я совершенно согласен; но видно, что богобоязненный мужичок так доволен, что ему хочется излить на кого-нибудь свою благодарность и радость: он кланяется, благодарит меня, Алешку, Игнашку.

— Ну вот и слава богу! а то что это, господи-батюшка! половину ночи ездим, сами не знаем куда. Он-то вас довезет, батюшка-барин, а мои уж лошади вовсе стали.

И он выкладывает вещи с усиленной деятельностью.

Пока перекладывались, я по ветру, который так и подносил меня, подошел ко вторым саням. Сани, особенно с той стороны, с которой от ветра завешан был на головах двух ямщиков армяк, были на четверть занесены снегом; за армяком же было тихо и уютно. Старичок лежал так же с выпущенными ногами, а сказочник продолжал свою сказку: «В то самое время, как генерал от королевского, значит, имени приходит, значит, к Марии в темницу, в то самое время Мария говорит ему: «Генерал! я в тебе не нуждаюсь и не могу тебя любить, и, значит, ты мне не любовник; а любовник мой есть тот самый принц...»

— В то самое время... — продолжал было он, но, увидав меня, замолк на минуту и стал раздувать трубочку.

— Что, барин, сказочку пришли послушать? — сказал другой, которого я назвал советчиком.

— Да у вас славно, весело! — сказал я.

— Что ж! от скуки, — по крайности, не думается.

— А что, не знаете вы, где мы теперь?

Вопрос этот, как мне показалось, не понравился ямщикам.

— А кто е разберет, где може и к калмыкам заехали вовсе, — отвечал советчик.

— Что же мы будем делать? — спросил я.

— А что делать? Вот едем, можь и выедем, — сказал он недовольным тоном.



— Ну, а как не выедем, да лошади станут в снегу, что тогда?

— А что! Ничего.

— Да замерзнуть можно.

— Известно, можно, потому и стогов теперича не видать: значит, мы вовсе к калмыкам заехали. Первое дело надо по снегу смотреть.

— А ты никак боишься замерзнуть, барин? — сказал старичок дрожащим голосом.

Несмотря на то, что он как будто подтрунивал надо мной, видно было, что он продрог до последней косточки.

— Да, холодно очень становится, — сказал я.

— Эх ты, барин! А ты бы как я: нет, нет да и пробежись, — оно тебя и согреет.

— Первое дело, как пробежишь за саньми, — сказал советчик.

## VII

— Пожалуйте: готово! — кричал мне Алешка из передних саней.

Метель была так сильна, что насилу-насилу, перегнувшись совсем вперед и ухватясь обеими руками за полы шинели, я мог по колеблющемуся снегу, который выносило ветром из-под ног, пройти те несколько шагов, которые отделяли меня от моих саней. Прежний ящик мой уже стоял на коленках в середине пустых саней, но, увидав меня, снял свою большую шапку, причем ветер неистово подхватил его волосы кверху, и попросил на водку. Он, верно, и не ожидал, чтобы я дал ему, потому что отказ мой несколько не огорчил его. Он поблагодарил меня и на этом, надвинул шапку и сказал мне: «Ну, дай бог вам, барин...», и, задержав вожжами и зачмокав, тронулся от нас. Вслед затем и Игнашка размахнулся всей спиной и крикнул на лошадей. Опять звуки хрустенья копыт, покрякиваньи и колокольчика заменили звук завывания ветра, который был особенно слышен, когда стояли на месте.

С четверть часа после перекладки я не спал и развлекался рассматриванием фигуры нового ящика и лошадей. Игнашка сидел молодцом, беспрестанно подпрыгивал, замахивался рукою с висящим кнутом на лошадей, покрякивал, постукивал ногой об ногу и, перегибаясь вперед, поправлял шлему коренной, которая все сбивалась на правую сторону. Он был не велик ростом, но хорошо сложен, как казалось. Сверх полушубка на нем был надет неподпоясанный армяк, которого

воротник был почти откинут, и шея совсем голая, сапоги были не валеные, а кожаные, и шапка маленькая, которую он снимал и поправлял беспрестанно. Уши закрыты были только волосами. Во всех его движениях заметна была не только энергия, но еще более, как мне казалось, желание возбудить в себе энергию. Однако, чем дальше мы ехали, тем чаще и чаще он, оправляясь, подпрыгивал на облучке, хлопывал ногой об ногу и заговаривал со мной и Алешкой: мне казалось, он боялся упасть духом. И было от чего: хотя лошади были добрые, дорога с каждым шагом становилась тяжелее и тяжелее, и заметно было, как лошади бежали неохотнее: уже надобно было постегивать, и коренная, добрая, большая косматая лошадь спотыкнулась раза два, хотя тотчас же, испугавшись, дернула вперед и подкинула косматую голову чуть не под самый колокольчик. Правая пристяжная, которую я невольно наблюдал, вместе с длинной ременной кисточкой шлеи, бившейся и подпрыгивающей с левой стороны, заметно спускала постромки, требовала кнутика, но, по привычке доброй, даже горячей лошади, как будто досадовала на свою слабость, сердито опускала и подымала голову, попрашивая повода. Действительно, страшно было видеть, что метель и мороз все усиливаются, лошади слабеют, дорога становится хуже, и мы решительно не знаем, где мы и куда ехать, не только на станцию, но к какому-нибудь приюту,—и смешно и странно слышать, что колокольчик звенит так непринужденно и весело, и Игнатка покрикивает так бойко и красиво, как будто в крещенский морозный солнечный полдень мы катаемся в праздник по деревенской улице,—и главное, странно было думать, что мы все едем, и шибко едем куда-то прочь от того места, на котором находились. Игнатка запел какую-то песню, хотя весьма гаденькой фистулой, но так громко и с такими остановками, во время которых он посвистывал, что странно было робеть, слушая его.

— Ге-гей! что горло-то дерешь, Игнат! — послышался голос советчика: — постой на час!

— Чаво?

— Посто-о-о-ой!

Игнат остановился. Опять все замолкло, и загудел и запищал ветер, и снег стал, крутясь, гуще валить в сани. Советчик подошел к нам.

— Ну что?

— Да что! куда ехать-то?

— А кто е знает!

— Что, ноги замерзли, что ль, что хлопаешь-то?

— Вовсе зашлись.

— А ты бы вот сходил: во-он маячит — никак калмыцкое кочевье. Оно бы и ноги-то посогреет.

— Ладно. Подержи лошадей... на.

И Игнат побежал по указанному направлению.

— Все надо смотреть да походить: оно и найдешь; а то так, что дуром-то ехать! — говорил мне советчик: — вишь, как лошадей упарил!

Все время, пока Игнат ходил, — а это продолжалось так долго, что я даже боялся, как бы он не заблудился, — советчик говорил мне самоуверенным, спокойным тоном, как надо поступать во время метели, как лучше всего отпрячь лошадь и пустить, что она, как бог свят, выведет, или как иногда можно и по звездам смотреть, и как, ежели бы он передом ехал, уж мы бы давно были на станции.

— Ну что́, есть? — спросил он у Игната, который возвращался, с трудом шагая, почти по колени в снегу.

— Есть-то есть, кочевье видать, — отвечал, задыхаясь, Игнат: — да незнамо какое. Это мы, брат, должно, вовсе на Пролговскую дачу заехали. Надо левой брать.

— И что́ мелет! это вовсе наши кочевья, которые позадь станицы, — возразил советчик.

— Да говорю, что нет!

— Уж я глянул, так знаю: оно и будет; а не оно, так Тамышевско. Все надо правой забирать: как раз и выедем на большой мост — осьмью версту.

— Да говорят, что нет! Ведь я видал! — с досадой отвечал Игнат.

— Э, брат! а еще ямщик!

— То-то ямщик! ты сходи сам.

— Что́ мне ходить! я так знаю.

Игнат рассердился, видно: он, не отвечая, вскочил на облучок и погнал дальше.

— Вишь, как зашлись ноги: ажно не согреешь, — сказал он Алешке, продолжая похлопывать чаще и чаще и огребать и высыпать снег, который ему забился за голенищи.

Мне ужасно хотелось спать.

## VIII

«Неужели это я уже замерзаю, — думал я сквозь сон, — замерзание всегда начинается сном, говорят. Уж лучше утонуть, чем замерзнуть, пускай меня вытащат в неводе; а впрочем, всё равно — утонуть ли, замерзнуть, только бы под спину не толкала эта палка какая-то и забыться бы».

Я забываюсь на секунду.

«Чем же, однако, всё это кончится? — вдруг мысленно говорю я, на минуту открывая глаза и вглядываясь в белое пространство: — чем же это кончится? Ежели мы не найдем стогов и лошади станут, что, кажется, скоро случится, — мы все замерзнем». Признаюсь, хотя я и боялся немного, желание, чтобы с нами случилось что-нибудь необыкновенное, несколько трагическое, было во мне сильнее маленькой боязни. Мне казалось, что было бы недурно, если бы к утру в какую-нибудь далекую, неизвестную деревню лошади бы уж сами привезли нас полузамерзлых, чтобы некоторые даже замерзли совершенно. И в этом смысле мечты с необыкновенной ясностью и быстротой носились передо мною. Лошади становятся, снегу наносится больше и больше, и вот от лошадей видны только дуга и уши; но вдруг Игнашка является наверху с своей тройкой и едет мимо нас. Мы умоляем его, кричим, чтобы он взял нас; но ветром относит голос, голосу нет. Игнашка посмеивается, кричит по лошадям, посвистывает и скрывается от нас в каком-то глубоком, занесенном снегом овраге. Старичок вскакивает верхом, размахивает локтями и хочет ускакать, но не может сдвинуться с места; мой старый ящик, с большой шапкой, бросается на него, стаскивает на землю и топчет в снегу. «Ты колдун! — кричит он: — ты ругатель! Будем плутать вместе». Но старичок пробивает головой сугроб: он не столько старичок, сколько заяц, и скачет прочь от нас. Все собаки скачут за ним. Советчик, который есть Федор Филиппыч, говорит, чтобы все сели кружком, что ничего, ежели нас занесет снегом: нам будет тепло. Действительно нам тепло и уютно; только хочется пить. Я достаю погребец, потчую всех ромом с сахаром и сам пью с большим удовольствием. Сказочник говорит какую-то сказку про радугу, — и над нами уже потолок из снега и радуга. «Теперь сделаемте себе каждый комнатку в снегу и давайте спать!» говорю я. Снег мягкий и теплый, как мех. Я делаю себе комнатку и хочу войти в нее; но Федор Филиппыч, который видел в погребеце мои деньги, говорит: «Стой! давай деньги. Все одно умирать!» и хватает меня за ногу. Я отдаю деньги и прошу только, чтобы меня отпустили; но они не верят, что это все мои деньги, и хотят меня убить. Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее: рука старичка нежная и сладкая. Он сначала вырывает ее, но потом отдает мне и даже сам другой рукой ласкает меня. Однако Федор Филиппыч приближается и грозит мне. Я бегу в свою комнату; но это не комната, а длинный белый коридор, и кто-то держит меня за ноги. Я вырываюсь. В руках того,

кто меня держит, остаются моя одежда и часть кожи; но мне только холодно и стыдно, — стыдно тем более, что тетушка с зонтиком и гомеопатической аптечкой, под руку с утопленником, идут мне навстречу. Они смеются и не принимают знаков, которые я им делаю. Я бросаюсь на сани, ноги волокутся по снегу; но старичок гонится за мной, размахивая локтями. Старичок уже близко, но я слышу, впереди звонят два колокола, и знаю, что я спасен, когда прибегу к ним. Колокола звучат слышней и слышней; но старичок догнал меня и животом упал на мое лицо, так что колокола едва слышны. Я снова схватываю его руку и начинаю целовать ее, но старичок не старичок, а утопленник... и кричит: «Игнашка! стой, вон Ахметкины стоги, кажись! Подь-ка посмотри!» Это уж слишком страшно. Нет! проснусь лучше...

Я открываю глаза. Ветер закинул мне на лицо полу Алешкиной шинели, колено у меня раскрыто, мы едем по голому насту, и терция колокольчиков слышнехонько звучит в воздухе с своей дребезжащей квинтой.

Я смотрю, где стоги; но, вместо стогов, уже с открытыми глазами, вижу какой-то дом с балконом и зубчатую стену крепости. Меня мало интересует рассмотреть хорошенько этот дом и крепость: мне, главное, хочется опять видеть белый коридор, по которому я бежал, слышать звон церковного колокола и целовать руку старичка. Я снова закрываю глаза и засыпаю.

## IX

Я спал крепко; но терция колокольчиков все время была слышна и виделась мне во сне то в виде собаки, которая лает и бросается на меня, то органа, в котором я составляю одну дудку, то в виде французских стихов, которые я сочиняю. То мне казалось, что эта терция есть какой-то инструмент пытки, которым не переставая сжимают мою правую пятку. Это было так сильно, что я проснулся и открыл глаза, потирая ногу. Она начинала замораживаться. Ночь была та же светлая, мутная, белая. То же движение подталкивало меня и сани; тот же Игнашка сидел боком и похлопывая ногами; та же пристыжная, вытянув шею и невысоко поднимая ноги, рысью бежала по глубокому снегу, кисточка подпрыгивала на шлее и хлесталась о брюхо лошади. Голова коренной с развевающейся гривой, натягивая и отпуская поводья, привязанные к дуге, мерно покачивалась. Но все это, больше чем прежде, покрыто, занесено было снегом. Снег крутился спереди, сбоку, засыпал полозья, ноги лошадей по колени и

сверху валил на воротники и шапки. Ветер был то справа, то слева, играл воротником, полой Игнашкина армяка, гривой пристяжной и завывал над дугой и в оглоблях.

Становилось ужасно холодно, и едва я высовывался из воротника, как морозный сухой снег, крутясь, набивался в ресницы, нос, рот и заскакивал за шею; посмотришь кругом — все бело, светло и снежно, нигде ничего, кроме мутного света и снега. Мне стало серьезно страшно. Алешка спал в ногах и в самой глубине саней; вся спина его была покрыта густым слоем снега. Игнашка не унывал: он беспрестанно подергивал вожжами, покрикивал и хлопал ногами. Колокольчик звенел так же чудно. Лошади похрапывали, но бежали, спотыкаясь чаще и чаще и несколько тише. Игнашка опять подпрыгнул, взмахнул рукавицей и запел песню своим тоненьким напряженным голосом. Не допев песни, он остановил тройку, перекинул вожжи на передок и слез. Ветер завыл неистово; снег, как из совка, так и посыпал на полы шубы. Я оглянулся: третьей тройки уж за нами не было (она где-то отстала). Около вторых саней, в снежном тумане, видно было, как старичок попрыгивал с ноги на ногу. Игнашка шага три отошел от саней, сел на снег, распрясался и стал снимать сапоги.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

— Перебуться надо; а то вовсе ноги заморозил, — отвечал он и продолжал свое дело.

Мне холодно было высунуть шею из-за воротника, чтобы посмотреть, как он это делал. Я сидел прямо, глядя на пристяжную, которая, оставив ногу, болезненно, устало помахивала подвязанным и занесенным снегом хвостом. Толчок, который дал Игнат санями, вскочив на облучок, разбудил меня.

— Что, где мы теперь? — спросил я: — доедем ли хоть к свету?

— Будьте покойны: доставим, — отвечал он. — Теперь важно ноги согрелись, как перебулся.

И он тронул, колокол зазвенел, сани снова стали раскачиваться и ветер свистеть под полозьями. И мы снова пустились плыть по беспредельному морю снега.

## Х

Я заснул крепко. Когда же Алешка, толкнув меня ногой, разбудил, и я открыл глаза, было уже утро. Казалось еще холодней, чем ночью. Сверху снега не было; но сильный, сухой ветер продолжал заносить снежную пыль на поле и осо-

бенно под копытами лошадей и полозьями. Небо справа на востоке было тяжелое темносиневатого цвета; но яркие, красно-оранжевые косые полосы яснее и яснее обозначались на нем. Над головами, из-за бегущих белых, едва окрашивающихся туч, виднелась бледная синева; налево облака были светлы, легки и подвижны. Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал на поле белый, острыми слоями рассыпанный, глубокий снег. Кое-где виднелся сереющий буторок, через который упорно летела мелкая, сухая снежная пыль. Ни одного, ни санного, ни человеческого, ни звериного следа не было видно. Очертания и цвета спины ямщика и лошадей виднелись ясно и резко даже на белом фоне... Около Игнашкиной темносиней шапки, его воротник, волосы и даже сапоги были белы. Сани были занесены совершенно. У сивой коренной вся правая часть головы и холки были иабиты снегом; у моей пристяжной ноги обсыпаны были до колен, и весь сделавшийся кудрявым потный круп облеплен с правой стороны. Кисточка подпрыгивала так же в такт какого бы ни захотел воображать мотива, и сама пристяжная бежала так же, только по впадому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена. Один только новый предмет останавливал внимание: это был верстовой столб, с которого сыпало снег на землю и около которого ветер намет целую гору справа и всё еще рвался и перебрасывал сыпкий снег с одной стороны на другую. Меня ужасно удивило, что мы ехали целую ночь на одних лошадях двенадцать часов, не зная куда и не останавливаясь, и всё-таки как-то приехали. Наш колокольчик звенел как будто еще веселее. Игнат запахивался и покрякивал; сзади фыркали лошади, и звенели колокольчики троек старичка и советчика; но тот, который спал, решительно в степи отбился от нас. Просхав полверсты, попался свежий, едва занесенный следок саней и тройки, и изредка розоватые пятна крови лошади, которая засекалась верно, виднелись на нем.

— Это Филипп! Вишь, раньше нас угодил! — сказал Игнашка.

Но вот домишко с вывеской виднеется один около дороги посреди снега, который чуть не до крыш и окон занес его. Около кабака стоит тройка серых лошадей, курчавых от пота, с отставленными ногами и понурыми головами. Около двери расчищено, и стоит лопата; но с крыши все метет еще и крутит снег гудящий ветер.

Из двери, на звон наших колоколов, выходит большой, красный, рыжий ямщик, со стаканом вина в руках, и кричит

что-то. Игнашка обертывается ко мне и просит позволения остановиться. Тут я в первый раз вижу его рожу.

## XI

Лицо у него было не черноватое, сухое и прямоносое, как я ожидал, судя по его волосам и сложению. Это была круглая, веселая, совершенно курносая рожа, с большим ртом и светлыми, яркоголубыми круглыми глазами. Щеки и шея его были красны, как натертые суконкой; брови, длинные ресницы и пушок, ровно покрывающий низ его лица, были залеплены снегом и совершенно белы. До станции оставалось всего полверсты, и мы остановились.

— Только поскорее, — сказал я.

— В одну минутую, — отвечал Игнашка, соскакивая с облучка и подходя к Филиппу.

— Давай, брат, — сказал он, снимая с правой руки и бросая на снег рукавицу с кнутом, и, опрокинув голову, залпом выпил поданный ему стаканчик водки.

Целовальник, должно быть, отставной казак, с полуштофом в руке, вышел из двери.

— Кому подносить? — сказал он.

Высокий Василий, худощавый, русский мужик с козлиною бородкой, и советчик, толстый, белобрысый, с белой густой бородой, обкладывающей его красное лицо, подошли и тоже выпили по стаканчику. Старичок подошел было тоже к группе пьющих, но ему не подносили, и он отошел к своим привязанным сзади лошадям и стал поглаживать одну из них по спине и заду.

Старичок был точно такой, каким я воображал его: маленький, худенький, со сморщенным, посинелым лицом, жиденькой бородкой, острым носиком и съеденными желтыми зубами. Шапка на нем была ямская, совершенно новая, но полушубчишка, истертый, испачканный дегтем и прорванный на плече и полах, не закрывал колен и посконного нижнего платья, всунутого в огромные валеные сапоги. Сам он весь сгорбился, сморщился и, дрожа лицом и коленами, копошился около саней, видимо стараясь согреться.

— Что ж, Митрич, поставь косушку-то: согрелся бы важно, — сказал ему советчик.

Митрича подернуло. Он поправил шлею у своей лошади, поправил дугу и подошел ко мне.

— Что ж, барин, — сказал он, снимая шапку с своих седых волос и низко кланяясь: — всю ночь с вами плутали, дорогу искали: хоть бы на косушечку пожаловали. Право,



батюшка, ваше сиятельство! А то обогреться не на что, — прибавил он с подобострастной улыбочкой.

Я дал ему четвертак. Целовальник вынес косушку и поднес старичку. Он снял рукавицу с кнотом и поднес маленькую черную, корявую и немного посиневшую руку к стакану; но большой палец его, как чужой, не повиновался ему: он не мог удержать стакана и, разлив вино, уронил его на снег.

Все ямщики расхохотались.

— Вишь, замерз Митрич-то как! аж вина не сдержит.

Но Митрич очень огорчился тем, что пролил вино.

Ему, однако, налили другой стакан и вылили в рот. Он тотчас же развеселился, сбегал в кабак, запалил трубку, стал ослаблять свои желтые съеденные зубы и ко всякому слову ругаться. Допив последнюю косуху, ямщики разошлись к тройкам, и мы поехали.

Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, глядя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче и ярче расходились вверх по небу; даже красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи; лазурь стала блестящее и темнее. По дороге около станицы след был ясный, отчетливый, желтоватый, кой-где были ухабы; в морозном, сжатом воздухе чувствительна была какая-то приятная легкость и прохлада.

Моя тройка бежала очень быстро. Голова коренной и шея с развевающейся по дуге гривой раскачивались быстро, почти на одном месте, под охотничьим колокольчиком, язычок которого уже не бился, а скоблил по стенкам. Добрые пристяжные дружно натянули замерзлые кривые постромки, энергически подпрыгивали, кисточка билась под самое брюхо и шлею. Иногда пристяжная сбивалась в сугроб с пробитой дороги и запорашивала глаза снегом, бойко выбиваясь из него. Игнашка покрикивал веселым тенором; сухой мороз повизгивал под полозьями; сзади звонко-празднично звенели два колокольчика, и слышны были пьяные покрикиванья ямщиков. Я оглянулся назад: серые, курчавые пристяжные, вытянув шеи, равномерно сдерживая дыхание, с перекосившимися удилами, попрыгивали по снегу. Филипп, помахивая кнотом, поправлял шапку; старичок, задрал ноги, так же как и прежде, лежал в середине саней.

Через две минуты сани заскрипели по доскам сметенного подъезда станционного дома, и Игнашка повернул ко мне свое засыпанное снегом, дышащее морозом, веселое лицо.

— Доставили-таки, барин! — сказал он.

*11 февраля 1856 г.*

# ДВА ГУСАРА

## Повесть

(Посвящается графине М. Н. Толстой)

...Жомини да Жомини,  
А об водке ни полслова...

*Д. Давыдов*

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-каamelий, которых так много развелось в наше время, — в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой, пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и булочки, — когда в длинные осенние вечера награла сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков, когда прелестные дамы-каamelии прятались от дневного света, — в наивные времена масонских лож, мартицистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, — в губернском городе К. был съезд помещиков, и кончались дворянские выборы.

### I

— Ну, всё равно, хоть в залу, — говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

— Съезд такой, батюшка, ваше сиятельство, огромный, — говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что

фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство». — Афремовская помещица с дочерью обещались к вечеру выехать: так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый номер, — говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — *здешних* дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах. Войдя в комнату и зазвав туда *Блюхера*, огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ящик про- сить на водку.

— Сашка! — крикнул граф, — дай ему!

Ящик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

— Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ящика.

— Будет с него, — сказал он басом, — да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ящику, который поцеловал его в оучку и вышел.

— Вот пригнал! — сказал граф: — последние пять рублей.

— По-гусарски, граф, — улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязанности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. — Вы здесь долго намерены пробыть, граф?

— Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и номеров нет. Чорт их дери, в этом кабаке проклятом...

— Позвольте, граф, — возразил кавалерист, — да не угодно ли ко мне? Я вот здесь, в седьмом номере. Коли не побрезгуете покамест проночевать. А вы побудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

— Право, граф, погостите, — подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек: — куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

— Сашка! давай белее: поеду в баню, — сказал граф, вставая. — А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

— Так я, батюшка, к вам в номер велю перенести чемодан, — крикнул граф из-за двери.

— Сделайте одолжение, осчастливите, — отвечал кавалерист, подбегая к двери. — Седьмой номер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

— А ведь это тот самый.

— Ну?

— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар, — ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили — от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно, — отвечал красивый молодой человек. — Как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать. Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар-душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив

наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевными отворотами с тем, чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, остались самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошлое, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.

— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата. — Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом. — Едешь, бывало, перед эскадронном, под тобой чорт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чортом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, чорт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой номер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастье, которое ему выпало на долю — жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что, — приходило ему в голову, — как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу, да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... нет, по-товарищески не сделает...» утешал он себя.

— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

— Ты уж не утерпел: напился, каналья!.. Накормить Блюхера!

— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.

— Ну, не разговаривать! пошел, накорми.

— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

— Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах, и кавалеристу даже стало немного страшно.

— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека, — проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и,

схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

— Он мне зубы разбил, — ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизовавшегося Блюхера, — он мне зубы разбил, Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому, он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и почти трезвый пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

— Вы меня просто обидите, — говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели: — я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

— Спасибо, батюшка, — сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста, — спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет, что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запекает и что нынче к ним все от предводителя собираются.

— И игра есть порядочная, — рассказывал он: — Лухнов, приезжий, играет, с деньгами, и Ильин, что в восьмом номере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж не скупой — последнюю рубашку отдаст.

— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой, — сказал граф.

— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут

## II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было

тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал, — что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту — валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержанием гостиницы — задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он собирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротить», — подумал он.

«Погубил я свою молодость», — сказал он вдруг сам себе, не

потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость — он даже вовсе и не думал об этом, — но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать?» — рассуждал он. «Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прешла по тротуару. «Вот так глупая барыня», подумал он отчего-то. «Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных доставало две тысячи пятьсот рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую угол... на семь кушей, на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... — три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

— Что, давно встали, Михайло Васильич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно выгирая их красным шелковым платком.

— Нет, сейчас только. Отлично спал.

— Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слышали?

— Нет, не слышал... А что же, еще никого нет?

— Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в номер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокурный заводчик, игравший по целым ночам всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

— Надо вообразить, — говорил он: — Москва — первопрестольный град, столица — и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих — и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.



Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался.

— Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело.

— Да вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится, — сказал грек.

— Точно, пора бы, — сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

— Будете метать? — спросил улан.

— Не рано ли?

— Белов! — крикнул улан, покраснев отчего-то, — принеси мне обедать... Я еще не ел ничего, господа.. шампанского принеси и карты подай.

В это время в номер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись, выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

— Экой молодчина улан! — говорил он. — Усищи-то, усищи-то!

У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

— Что, вы играть собираетесь, кажется? — сказал граф. — Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! — прибавил он, улыбаясь.

— Да вот собираются, — отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт. — А вы, граф, не изволите?

— Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то с перстнями, должно быть, шулер, — и облапошил дочиста.

— Разве ты долго сидел там на станции? — спросил Ильин.

— Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

— А что?

— Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская, — лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату, знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настезь все

двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут тоже. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце — градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню.. Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!

— Вот так отличная манера! — сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом: — это как тараканов вымораживают!

— Только не укараулил я как-то, вышел, — и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке, она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал, — отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал, мерзавец, лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер! Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

— Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун, — сказал Турбин, — *любишь не любишь* — дело хорошее.

### III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами, коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера, — банку двести, — сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо, — сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел с боку банкмета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая что-то

то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему; только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить, — приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что, — замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкюмета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который совершенно невольно для него заглушал все другие, — зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж как ни играй, все равно.

— Так ты, наверно, проиграешь. Дай я за тебя попюнтирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкюмета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — учтиво и равнодушно спросил банкюмет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

— Блюхер! фю! — крикнул граф, вставая, — узи его! — прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

— Этак нельзя играть, — сказал он: — я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

— Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется, — поддакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? — сказал Лухнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратился Ильин к Турбину.

— Поди сюда на минутку, — сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках — шулер первой руки.

— Э, полно! что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?..

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю: я тебе говорю, что в очках — это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста, — сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

— Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора. Завальшевский! поедem к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

— Эка башка! — сказал помещик, смеясь.

— Ну, теперь не будет мешать, — прибавил торопливо и еще шопотом гарнизонный офицер.

И игра продолжалась.

#### IV

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета», и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор, со звездой, под руку с художавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д. — губерньские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно sprыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем-гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был не высок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами темнорусые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка», было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился, и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «очень рада-с, надеюсь, будете танцовать» — и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим:

«Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательностью и прекрасной, веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит. Вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре — молодой, полненькой вдовушке, с самого приезда графа влившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

— А мастер танцевать! — сказала толстая помещица, следя за ногами, в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз два, три... — мастер!

— Так и строчит, так и строчит, — сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе, — как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притопыванием каблучка, и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и не далек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой — богатой, красивой, и глупой, с средней — худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой — некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу, с ней он танцевал и кадрили, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все

эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платье, или из одной руки в другую перекалывала опахало. Когда же она говорила: «полноте, граф, вы шутите» и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий, бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову желание с такой силой вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающею любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты: уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

— Хороши вы, — сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнура пошло на всю куртку, — хороши вы: обещали за мной захватить кататься и конфет мне привезти.

— Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не

было, и конфеты самые лучшие оставил, — сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

— Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфет. Пожалуйста, не думайте...

— Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменялись, и знаю отчего. Только это нехорошо, — прибавил он, но, видимо, не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый, беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

— Ну что? мил? — спросила барышня.

— Только ужасно как пристает, — отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

— Каков? он у меня сувенир просил, — сказала она приятельнице, — только ничего ему не бу-у-удет, — пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

— Когда все благородное дворянство нашего уезда почтило его выбором, — говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший, — то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угащивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

— Что ж вы не танцуете, господа? — спросил он перед тем, как выходить из комнаты.



— Мы не танцоры, — отвечал исправник, смеясь: — мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне по-выросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройду, граф... могу, граф...

— А пойдем, теперь пройдемся, — сказал Турбин, — разгуляемся перед цыганами.

— Что ж, пойдемте, господа! Потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались итти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

— Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре, — говорил он, с трудом переводя дыхание, — оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

— Что? — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись. — Что? Мальчишка! — крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха: — что, вы стреляться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

— Что, вы с ума сошли? Вы напильсь, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? — говорили они ему.

— Нет, не напилься, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! — пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

— Полноте, граф! — увещевали, с своей стороны, Турбина исправник и Завальшевский: — ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сделалось, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш.

— Ну, чорт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и так же, как и прежде, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выдывали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся по середине танцующих.

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? скажите, братец». Кавалерист объяснил, сколько мог, сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и, наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

— Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастие было, и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа.

— Ваш братец дурак! — сказал он резко. — Вы знаете, что, когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

— Женщину целуют при всех, — тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. — Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать, — потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

— Ах, только не сейчас, — проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.

— Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

— Ну так, стало быть, нельзя, — сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

— Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

— Да как же вы найдете?

— Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо?

— Хорошо.

Экосес кончился; протанцовали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, лоя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцовали еще грос-фатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор к тому месту, где стояли экипажи.

— Анны Федоровны Зайцовой экипаж! — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. — Стой! — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

— Чего надо? — отозвался кучер.

— В карету надо сесть, — отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. — Стой же, чорт! Дурень!

— Васька! стой! — крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей. — Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

— Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый, да слезь, закрой дверцы, — говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах. да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, сбирался слезть. Но граф ничего не слышал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцовой карету!» кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

— Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь — еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее

закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопы по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку», она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

— Скажи ж что-нибудь. Ты не сердисься? — говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

## VI

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

— Батюшка, ваше сиятельство! ждали не дождались! — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу. — С Лебедяни не видали... Стеша зачахла совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

— А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! — говорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством.

Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более, что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каж-

дый начинал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и приглаголся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходиться в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

— Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество!.. Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головой и, повторяя одни и те же слова, шопотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косога Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту.

— Ура! — закричал кавалерист, когда вошел граф.

Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась пляска, то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный,

из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся, страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикивание при начале хора, — все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывая ногой гитару, переворачивал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали в лад и в такт одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделявая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «Виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать; но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

— Ах ты, мой голубчик! — сказал он, — зачем ты только от нас уехал! А? — Граф молчал, видимо, думая о другом. — Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалеристу и вдруг

пустил в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке, уверяя ее, что он на ней непременно женится после Святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось... Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и, даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волнение». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать в присядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительно вылил на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.

— Однако мне пора в Москву, — сказал он вдруг, вставая. — Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

## VII

— Закладывать! — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами. — Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распорядись чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он, — прибавил Турбин и, выйдя в коридор, направился в номер улана.

Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улана никаких не было: какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности, даже раскаяния не было. Он по-

пробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить пятнадцать тысяч проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи, — и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происшедшей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен, — и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще все на пе и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну, что же еще потом? Да ну и славная, славная бы штука была!

Он опять лег на диван и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом номере? — подумал он, — это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

— Ну, что, продулся, брат, а? — крикнул он.

«Притворюсь, что сплю, — подумал Ильин, — а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове.

— Ну, что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

— Проиграл. Ну, что тебе? — пробормотал Ильин сонным, равнодушно-недовольным голосом, не переменив положения.

— Все?

— Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?

— Послушай, говори правду, как товарищу, — сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам. — Право, я тебя любил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскочил с дивана.

— Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... лулю в лоб — вот что мне осталось одно! — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь



слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.

— Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.

Граф вышел из комнаты.

— Где стоит Лухнов, помещик? — спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.

— Вы, кажется, меня не узнаете? — сказал граф, решительными шагами подходя к столу.

Лухнов узнал графа и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне хочется поиграть с вами, — сказал Турбин, садясь на диван.

— Теперь?

— Да.

— В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть собираюсь. Не угодно ли винца? Доброе винцо.

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет; а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете?

Опять тот же жест.

— А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?..

Молчание.

— Будете играть? — второй раз спросил граф: — Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

— Будете играть? — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась. — Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

— Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! И вовсе неприлично притти с ножом к горлу к человеку, — заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги — и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем номере еще пробуду полчаса, — прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

— Мошенник! грабитель!.. — слышалось оттуда. — Под уголовный подведу!

Ульин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в номере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его.

Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время слышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

— На! отыграл! — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций. — Сочти, все ли! Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду, — прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.

## VIII

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит,

и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменял на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой номер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтобы повелить еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что *барорай* (по-цыгански: граф или князь или, точнее, большой барин) прогневаётся. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула.

— Ну, на прощанье еще песню, и марш по домам, — сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

— У меня всего было пятнадцать тысяч казенных; а ты мне дал шестнадцать тысяч триста, — сказал он: — эти твои, стало быть.

— Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

— Убирайся! Илюшка!.. слушай меня.. на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы. — И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф, в синей медвежьей шубе, вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф,

Ильин, Стешка, Илюшка, и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выровнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно много на прощаньи и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно со слезами бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как придет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему ты, толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и, наконец, вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине. Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у них графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «пошел!», сняв фуражку замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепя промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

— Назад! — крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

— Поворачивай назад! Пошел в город! Живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцовой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

## IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло, и еще больше недоросшего уродливого молодого появилось на свет божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью природы любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные мягкие морщины. Она уже не ездила никогда в город, с трудом даже влезала

в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька, можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое имение и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кризисах ногам видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кафейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги — занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог, и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза были уже слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.

— Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я всё забываю, — сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

— Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! — сказала она, перекладывая карты. — Вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали, — прибавила она, незаметно снимая одну карту.

— Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

— Нет, право, значит, удастся. Вышло.

— Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?

— Я уже велела разогреть самовар. Сейчас пойду. Вам

сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

— Лизочка! Лизанька! — заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку. — Опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

— Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И, действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

— Вот вам, чтобы не спускали петлей, — сказала она, смеясь, — урок и не довязали.

— Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булабочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

— Ну, поцелуйте же меня за это, — сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку. — Вам с ромом нынче чаю. Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

— Дяденька, идите посмотреть: гусары идут к нам! — слышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

— А жаль, сестрица, — заметил дядя Анне Федоровне, — жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры — ведь это все такая молодежь, славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

— Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная, да вот эта ваша комната — вот и все. Где ж их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит: чисто тоже.

— А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! — сказал дядя.

— Нет, я не хочу гусара; я хочу улана; ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного; но снова засмеялась своим звучным смехом.

— Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела, — сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

— Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть, — сказала Анна Федоровна. — Ну что, где поместились офицеры?

— У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие, один граф, сказывают.

— А фамилия как?

— Казаров ли, Турбинов ли — не запомнила, виновата-с.

— Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

— Что ж, я сбегая.

— Да уж я знаю, что ты на это мастерица, — нет, пускай Данило ходит; скажите ему, братец, чтоб он ходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учтивость надо сделать, что барышня, мол, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

— Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то, — говорила она, — просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, стягивая в себя дух, какую-то молитву.

— Так вот как тебе понравились гусары, — сказала Лиза, — да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша, — кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой, — думала она, — брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется, — подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку. — Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Ивана Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня!»

Голос матери, звавшей ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.



Лучшие вещи всегда выходят нечаянно; а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частью дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя—дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платица и козловые башмачки, посылала гулять и собирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленьки тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах, — но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем — уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и све-

тилось как на зло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью, — так и светилось нейспорченное умом, доброе, прямое сердце.

## Х

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка остонавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли на вороных, замунштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распушенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

— Где квартира для нас отведена? — спросил его граф.

— Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом. — Здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.

— Ну, хорошо, — сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы. — А что, коляска моя приехала?

— Изволила прибыть, ваше сиятельство! — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицера. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изда была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, оставив железную кровать и постлав ее, разбираал белье из чемодана.

— Фу, мерзость какая квартира! — сказал граф с досадой. — Дяденко! разве нельзя было лучше отвести у помещика где-нибудь?

— Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор, — отвечал Дяденко, — да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

— Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

— Иоган! — крикнул он на камердинера, — опять бугор по середине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько. Иоган хотел поправить.

— Нет, уж не надо теперь... А халат где? — продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал халат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

— Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! — прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его. — Ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

— Я не мог успевать, — отвечал Иоган.

— Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, — должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

— Иоган! — крикнул он снова, — подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

— К чаю рому подай.

— Рому не покупал, — сказал Иоган.

— Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

— Денег не доставало.

— Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

— Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

— Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

— Вот два письма из штаба к вам, — сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

— Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

— Очень хорошо! Поганая, вонючая изба, и рому нет по твоей милости: твой болван не купил и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

— Отчего же ты не купил рому? — спрашивал в это время в сенях корнет шопотом у своего денщика. — Ведь у тебя деньги были?

— Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все. Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

— От кого это? — спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.

— От Мины, — весело отвечал граф, подавая ему письмо. — Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо — денег просит.

— Да, это нехорошо, — заметил корнет.

— Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадронам, я ей пошлю. Не жалко, право: что за прелесть... а? — говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

— Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно любит, — отвечал корнет.

— Гм! Еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

— А то письмо от кого? — спросил корнет, передавая то, которое он читал.

— Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо! — отвечал граф, видимо, огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо, находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую, отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

— А что, ведь может отлично выйти, — вдруг обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф, — ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнуть.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

— Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина? — добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К. — Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

— Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благо-

дарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь.

— Ну, зачем ты это? — сказал Полозов, когда Данило вышел. — Разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а они будут стесняться.

— Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут.

— Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца, — продолжал граф, открывая улыбкой свои белые, блестящие зубы, — как-то всегда совестно за *лапашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был, — добавил он уже серьезно.

— А я тебе не рассказывал, — сказал Полозов, — я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

— Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтобы подделаться ко мне, и как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, — я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи, — он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

## XI

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захопоталась.

— А, батюшки мои! Голубчик он мой!.. Данило! Скорей беги, скажи: барыня к себе просит, — заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью. — Лизанька! Устюшка! приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

— Ничего, сестрица, я на полу лягу.

— Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу

на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут, — суежилась Анна Федоровна, — да две кровати принеси — одну у приказчика возьми, да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь.

Наконец, все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнату для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели; велела поставить графин воды и свечи подле, на столике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! — шопотом про себя твердила она. — Давно ли, кажется? Как теперь гляжу на него. Ах, шалун был! — И у нее слезы выступили на глаза. — Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

— Лизанька, ты бы платьице муслин-де-леневое надела к вечеру.

— Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо, — отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров, — лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее.

— Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, глядя ее по волосам и вместе с тем думая: «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее гды... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери, но женитьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать, — но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жила с покойником.

Старичок-кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

— Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф, точно, истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

— Ну, вот видишь ли, — сказал граф, как был, в гильзных сапогах ложась на приготовленную постель: — разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

— Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

— Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! — крикнул он, — спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется, не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был благодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его, — старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком-кавалеристом и благодарил за помещение.

— Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство, — так уж отвык от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо, — прибавил старичок и под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, повидимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шулуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась — лучше графа Федора Иваныча никто не был — и, наконец, уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, а что все-таки граф Федор Иваныч так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, мож-

но сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

— Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать, — заговорила Анна Федоровна. — Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибами и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

— Только хересу у вас осталось, братец?

— Нету, сестрица! у меня и не было.

— Как же нету! А вы что-то пьете такое с чаем.

— Это ром, Анна Федоровна.

— Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно — ром. Да уж не попросить ли их лучше сюла. братец? Вы все знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется, и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гротро и новый чепец, а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая, черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятым, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

— Пойдем же, — сказал он Полозову.

— Право, лучше не ходить, — отвечал корнет, — *ils feront des frais pour nous recevoir*<sup>1</sup>.

— Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем, — сказал граф по-французски.

<sup>1</sup> Они израсходуются для того, чтобы принять нас.



— Je vous en prie, messieurs! <sup>1</sup> — сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

## ХП

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокаивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видала той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того, как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он несколько не отличался от всех тех, кого она видала, что не стоило бояться его, — только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без не-

---

<sup>1</sup> Прошу вас, господа!

которой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» думала она.

### ХIII

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

— Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? — спрашивала она. — Так чем бы вас занять, дорогих гостей? — продолжала она после отрицательного ответа. — Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

— Да ведь вы сами играете в преферанс, — отвечал кавалерист, — так уж вместе давайте. Будете, граф? И вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать всё то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, придет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

— Только вы не станете по маленькой играть, может быть? — спросил дядя. — Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

— Ах, по чем прикажете, я очень рад, — отвечал граф.

— Ну, так по копейке ассигнациями! Уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху, — сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

«А может, и выиграю у них целковый», подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

— Хотите я вас выучу с табелькой играть, — сказал граф, — и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет, и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начи-

нала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф по привычке играть большую коммерческую игру играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованьи.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров, и в особенности на белые с тонкими, розовыми, отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию брата уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

— Ничего, мамаша: еще отыграетесь!.. — улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения. — Вы дяденьку обремизите раз, тогда он попадетсЯ.

— Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь. — Я не знаю, как это...

— Да и я не знаю по этому играть, — отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери. — А вы этак много проиграете, мамаша! И Пимочке на платье не останется, — прибавила она шутя.

— Да, этак легко можно рублей десять серебром проиграть, — сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.

— Разве мы не ассигнациями играем? — оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

— Я не знаю как, только я не умею считать ассигнации, — сказал граф. — Как это? То есть что это ассигнации?

— Да теперь уж никто ассигнациями не считает, — подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, покраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы, и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец, партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счастья, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» несколько раз спра-

шивала Анна Федоровна и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями, и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет—вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

— Однако как досадно, что мы вас так обыграли, — сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь. — Это просто бессовестно.

— Да еще бы выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею: как же ассигнациями-то сколько же выходит всего? — спрашивала она.

— Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой, — твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа, — давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

— И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбрала его, ежели он заговорит с ней. Он молча, потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые, тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллею, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

— Какая чудная погода! — сказал граф, подходя к Лизе

и садясь на низкое окно. — Вы, я думаю, много гуляете?

— Да, — отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом, — я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой — маменькиной воспитанницей.

— Приятно в деревне жить! — сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу. — А по ночам, при лунном свете вы не ходите гулять?

— Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь — бессонница — находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

— Странно, — заметил граф. — Да ведь это ваша комнатка, кажется?

— Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнату вы занимаете.

— Неужели?.. Ах, боже мой!.. Век себе не прошу этого беспокойства, — сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стеклышко из глаза, — ежели бы я знал, что я вас потревожу...

— Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое, я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад пере-лезу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка! — подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее, и, как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку. — И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах большую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

— А какое должно быть наслаждение, — сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи, — провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

— Какая прелестная ночь, — сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают», подумала Лиза.

— Какой вид чудесный! — продолжал корнет. — Только вам, я думаю, уж надоело! — прибавил он по странной, свойственной ему склонности говорить вещи, немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

— Отчего же вы так думаете? кушанье одно и то же, платье — надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть.

— А соловьев у вас нет, кажется? — спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительнее условия свиданья.

— Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе словно запел было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

— Что эта болтушка вам рассказывает? — сказал дядя, подходя к разговаривающим. — Закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош, — подумала она, — только уж слишком занимается собой».

#### XIV

— Ну, как тебе не стыдно? — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату. — Я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

— Уморительная госпожа! Как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

— Вот-те и сын друга семейства!.. ха-ха-ха! — продолжал смеяться граф.

— Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало, — сказал корнет.

— Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл. Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал,

когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь; а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! — думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца. — Вот счастье — жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

— Что ж ты не раздеваешься? — спросил он графа, который ходил по комнате.

— Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

— Не хочется еще спать что-то, — повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю, — рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину, — какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят! Я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо: тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась».

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним, — так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

— Куда ты? — спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

— Пойду на конюшню. Посмотрю, все ли в порядке.

«Странно!» подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: все грустно-живое воспомин-

нание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению, раздевшись, выпив полстакана кваса, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала.

«Это кошка мешает», подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но, тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон все еще не приходил к Анне Федоровне и не успокаивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные, белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот, небось, спит себе дурак-дураком, рад, что выиграл, нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?» и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уж весь блестящий серебряным сиянием.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая, капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки, — вся эта, все та же, столь-



ко раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых, — все это вдруг показалось *не то*, все это показалось *скудно, ненужно*. Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! Двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? Нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то», говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым, — идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какой-нибудь грубой действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило Провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастьем чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастьем. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? И не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи боже мой! — думала она, — неужели я даром потеряла счастье и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» — И она вглядывалась в высокое светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. — «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит, правда», подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени деревьев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда, — утешала она себя, — а вот если соловей запоет нынче ночью, то значит вздор все, что я ду-

маю, и не надо отчаиваться», подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило, и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкало. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налили в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

## XV

Действительно это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах, я дурак! — твердил он бессознательно. — Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под ног его в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и, наконец, увидел белую тень; как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна; как то ему казалось несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидел ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью

самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сто-рож снова крикнул и, скрипнув калиткой, вышел из сада. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня. Свеженькая какая! Просто прелесть! И так прозевал... Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеи.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное, молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! Какая чудная ночь! — думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада. — Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

— Ты не спишь? — спросил граф.

— Нет.

— Рассказать тебе, что было?

— Ну?

— Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожди ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленной улыбкой подсел на постель товарища.

— Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendez-vous! <sup>1</sup>

— Что ты говоришь? — вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

<sup>1</sup> Свиданье!

— Ну, слушай.

— Да как же? Когда же? Не может быть!

— А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна, и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть.

— Да, это она так сказала.

— Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил!—прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

— Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал все, как было.

— Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

— Так она закричала и убежала, — сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

— Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча лежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет? — спокойно отозвался граф. — Что, корнет Полозов?

— Граф Турбин! Вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели.

## XVI

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.

## СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

### *Севастополь в декабре месяце*

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горой; темно-синяя поверхность моря уже сбросила с себя сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — всё черно, но утренний резкий мороз хватается за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая маджара на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п. — кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами — причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, заше благородие? Пожалуйте, — предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие толки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на краси-

вые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырьки, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина<sup>1</sup> держите, — скажет вам старик матрос, оборотившись назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке, — вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все, — заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил, — заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик, после долгого молчания взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко-высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это он с новой батареи нынче палит, — прибавит старик, равнодушно поплеывая на руку. — Ну, навались, Мишка, баркас перегоним. — И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то жули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристаёт между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережных шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат *сбитень горячий*, и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядра, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные кóзла; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедет

---

<sup>1</sup> Корабль «Константин». (Прим автора.)

казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки, — везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но взгляните ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурашского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия — так же спокойно и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидającychся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает через улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости; — ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида, и звуков с Северной стороны. Но прежде, чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским Собранием и у крыльца которого стоят солдаты с носилками, — вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы от-

ворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело-раненых больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство, — идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите по середине постелей и ищите лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого, исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенес их.

— В ногу, — отвечает солдат; — но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена. — Слава богу теперь, — прибавляет он: — на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит ничего; только как будто в икре ноет, когда погода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как он ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, не думать много: как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье, повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем, чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как



великие князья говорили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем, чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не можст. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто извиняется за нее перед вами, как будто говорит: «уж вы ее извините. Известно. бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову, — и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться, — говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Что, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох, — прибавляет она шопотом. — Я его нынче чаем поила — что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь — так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылушена в

плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное-бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой, — скажет вам ваша путеводительница: — она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными, угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый, под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания, — увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но, вместе с тем, в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдание такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развешающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли; похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнь часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров; купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры, — все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж верно идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Чорт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький, безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе, — отвечает молоденький офицер, и вы непременно с большим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя», скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб вцепило», скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот каналы! — прибавит он к трактирному слуге. — Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один молодой, с красным во-

воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «я иду на четвертый бастион», непременно заметно в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «откуда?» большей частью отвечают: «с четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различных мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были, и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморозь сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытывавшими всякое горе и нужду ветеранами, и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречается женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустившись под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то

странные груды развалин — камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадают капли крови и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледножелтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «куда ранен?» носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы, и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время, как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихоотрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, — вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались на гору, справа и слева начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не итти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое, грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребками, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагроможденным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где по середине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи; везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко

от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль, — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезть только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугунок во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папироску из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам, — но только, ежели вы его расспросите, — про бомбардирование пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро 6-го он *палил*<sup>1</sup> из всех орудий; расскажет вам, как 5-го попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразур батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь, как в тридцати-сорока сажнях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразур, чтобы посмот-

---

<sup>1</sup> Моряки все говорят палить, а не стрелять. (Прим. автора.)

реть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — он, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке», и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого, скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед затем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть, — это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую абрауру попала; кажись, убило двух... вон понесли», услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда», скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «пу-ушка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вокруг себя брызги грязи и камни. Батареинный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «маркела!»<sup>1</sup> — и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите

<sup>1</sup> Мортира. (Прим. автора.)

черный шар, удар о землю, ошутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще и поближе упало около вас ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «маркела», еще посвистывание, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его виден один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время, как ему приносят носилки, и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше, и в то время, как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «простите, братцы!», еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь», говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

. . . . .

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра,—идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, это—



убеждение в невозможности взять Севастополь и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитро сплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так мало напряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они все могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди непрерывного труда, бдения и грязи. Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,— о временах, когда этот герой, достойный древней Греции,— Корнилов, объезжая войска, говорил: «умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали; а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину... Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечерет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь, 1855 г., 25 апреля.

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не перестовали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними.

Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято; сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А всё те же звуки раздаются с бастионов, всё так же — с невольным трепетом и суеверным страхом — смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на черную изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает, с вышки телеграфа, штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, нерешенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что ежели бы одна воюющая сторона предложила другой — выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы, между разумными представителями разумных созданий, должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата — один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восьмьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против

двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город, — на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, нагроможденных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен — длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лилового цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги, но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартирмейстер полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспоминал одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам «Инвалид», то Пупка (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на эс в беседку, в гостиную (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: вот Михайлов! говорит она, так это *душка человек* — я готова расцеловать его, когда увижу — он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». — В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас *рисурс*, что ты себе представить не можешь) — так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, *так что французам нет уж сообщения с Балаклавой*, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила целую ночь* и говорит, что ты наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился...»

Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель верно составил себе истинное и невыгодное понятие, в отношении порядочности, о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эсе (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о *чувстве*, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним, — вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом

цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имели тем *большую* прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда, в минуты откровенности, ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное — «пускай говорит», мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей — водкой, к игре на пятирублевый банк, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.

От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. «Каково будет удивление и радость Наташи, — думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулку, — когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник...» — и он был уже генералом, удостоивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки яснее долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего *незначущим*, *неловким* и *робким*.

### 3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стояли музыканты, которым вместо пюпитров другие солдаты того же полка раскрывши держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составили кружок писаря, юнкера, няньки с детьми и офицеры в *старых* шинелях. Кругом павильона стояли, сидели и ходили большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шинелях. По большойallee бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сор-

тов женщины, изредка в шляпках, большей частью в платочках (были и без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а все молодые. Внизу по тенистым, пахучим аллеям белых акаций ходили и сидели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитана Обжогова и прапорщика Сусликова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шинели и с таким красным вспотевшим лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходить с ними, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним — с адъютантом — штабс-капитан Михайлов кланялся, а с другим — штаб-офицером — мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого.

Притом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел на музыку.

Ему бы хотелось подойти к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этими господами совсем не для того, чтобы капитан Обжогов и прапорщик Сусликов и поручик Пиштецкий и другие видели, что он говорит с ними, но просто для того, что они приятные люди, притом знают все новости — порассказали бы... Но отчего же штабс-капитан Михайлов боится и не решается подойти к ним? «Что ежели они вдруг мне не поклонятся? думает он, или поклонятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меня нет, или вовсе уйдут от меня, и я там останусь один между *аристократами*». Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России (где бы, кажется, не должно бы было быть его) с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?) — между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно и тщеславия много, то есть *аристократы*, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа* и *не-аристократа*. Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ*, потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ*, потому

что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасное слово *аристократ*. Зачем подпоручик Зобов так принужденно смеется, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он и не *аристократ*, но все-таки ничуть не хуже их. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым лениво-грустным голосом? Чтоб доказать своему собеседнику, что он *аристократ* и очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юнкер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыней, которую он в первый раз видит и к которой он ни за что не решится подойти? Чтоб показать всем офицерам, что несмотря на то, что он им шапку снимает, он всё-таки *аристократ*, и ему очень весело. Зачем артиллерийский капитан так грубо обошелся с добродушным ординарцем? Чтобы доказать всем, что он никогда не заискивает и в *аристократах* не нуждается и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие и тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века. Отчего между прежними людьми не слышно было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в наш век есть только три рода людей: одних — принимающих начало тщеславия, как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его, как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно, рабски действующих под его влиянием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а литература нашего века есть только бесконечная повесть «Снобсов» и «Тщеславия»?

Штабс-капитан Михайлов два раза в нерешительности прошел мимо кружка своих *аристократов*, в третий раз сделал усилие над собой и подошел к ним. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютант Калугин, знакомый Михайлова, адъютант князь Гальцин, бывший даже немножко *аристократом* для самого Калугина, подполковник Нефердов, один из так называемых ста двадцати двух светских людей, поступивших на службу из отставки под влиянием отчасти патриотизма, отчасти честолюбия, и, главное, того, что все это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, ничего не делающих, ничего не понимающих и осуждающих все распоряжения на-

чальства, и ротмистр Праскухин, тоже один из ста двадцати двух героев. К счастью Михайлова, Калугин был в прекрасном расположении духа (генерал только что поговорил с ним весьма доверенно, и князь Гальцин, приехав из Петербурга, остановился у него) — он счел не унижительным подать руку штабс-капитану Михайлову, чего не решился, однако, сделать Праскухин, весьма часто встречавшийся на бастионе с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку и даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зная еще хорошенько князя Гальцина, ему не хотелось изобличить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капитаном; он слегка поклонился ему.

— Что, капитан, — сказал Калугин, — когда опять на бастиончик? Помните, как мы с вами встретились на Шварцовском редуте — жарко было? а?

— Да, жарко, — сказал Михайлов, с прискорбием вспоминая о том, какая у него была печальная фигура, когда он в ту ночь, согнувшись пробираясь по траншее на бастион, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

— Мне, по-настоящему, приходится завтра идти, но у нас болен, — продолжал Михайлов, — один офицер, так... — Он хотел рассказать, что черед был не его, но так как командир восьмой роты был нездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он счел своей обязанностью предложить себя на место поручика Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

— А я чувствую, что на-днях что-нибудь будет, — сказал он князю Гальцину.

— А что, не будет ли нынче чего-нибудь? — робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

— Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

— Это около моей квартиры дочь одного матроса, — отвечал штабс-капитан.

— Пойдемте, посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой — штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видно, не верили



князь Гальцин и Калугин и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но, так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известного храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку аристократов. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую руку, не раз колотившую французов, за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за несличком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с этим моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретает задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про милое письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен, и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно торд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя, вследствие этого, героем, он несколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

#### 4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидел свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидел своего Никиту, который с взбудораженными, сальными

волосами, почесываясь, встал с полу; увидел свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали концы мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь итти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче, — думал штабс-капитан, — я чувствую. И главное, что не мне надо было итти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне итти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь итти, нельзя с прапорщиком роте итти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой долг был итти... да, долг. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было итти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки, и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

— Отчего не починен сюртук? тебе только бы все спать, этакой! — сердито сказал Михайлов.

— Что спать? — проворчал Никита: — день-деньской бегаешь как собака: умаешься небось, — а тут не засни еще.

— Ты опять пьян, я вижу.

— Не на ваши деньги напился, что попрекает.

— Молчи, скотина! — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

— Скотина? скотина? — повторял слуга: — и что ругаетесь скотиной, сударь? ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

— Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита, — сказал он кротким голосом. — Письмо это к батюшке на столе, оставь так и не трогай, — прибавил он, краснея.

— Слушаюсь, — сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил «на свои деньги», и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «прощай, Никита!», то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» всхлипывая, говорил он.

Старуха-матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, а что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую бандировку и как ее домишко на слободке весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей) и т. д., и т. д. По уходе барина, Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а, напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят, рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону. Но куда? как? сюда или сюда? — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь. — Вот ежели бы сюда — он думал о верхней части ноги — да кругом бы обошла — все-таки должно быть больно. Ну, а как сюда да осколком — кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у него молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе.

Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемент, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолвившись богу, хотел заснуть немного.

5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

— Ну, так ты мне не досказал про Ваську Менделя, — говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна, на мягком покойном кресле, и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки, — как же он женился?

— Умора братец! *Je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à P[étersbourg]*<sup>1</sup>, — сказал, смеясь, Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина: — просто умора. Уж я все это знаю подробно. И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас неинтересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь, кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, особенно Калугин и Гальцин, очень милыми, простодушными, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

— Что Маслоцкой?

— Который? лейб-улан или конно-гвардеец?

— Я их обоих знаю. Конно-гвардеец при мне мальчишкой был, только что из школы вышел. Что старший — ротмистр?

— О! уж давно.

— Что, все возится с своей цыганкой?

— Нет, бросил, — и т. д. в этом роде.

Потом Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал

---

<sup>1</sup> Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге.

вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

— Поддай князю, — сказал Калугин.

— А ведь странно подумать, — сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну, — что мы здесь в осажденном городе: *фортапласы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

— Да уж ежели бы еще этого не было, — сказал всем недовольный, старый подполковник, — просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют — и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было удобств.

— А как же наши пехотные офицеры, — сказал Калугин, — которые живут на бастионах с солдатами в блиндаже и едят солдатский борщ, — как им-то?

— Вот этого я не понимаю и признаюсь не могу верить, — сказал Гальцин, — чтобы люди в грязном белье, во в[шах] и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, — *cette belle bravoure de gentilhomme*<sup>1</sup> — не может быть.

— Да они и не понимают этой храбрости, — сказал Праксухин.

— Ну что ты говоришь пустяки, — сердито перебил Калугин, — уж я видел их здесь больше тебя и всегда, и везде скажу, что наши пехотные офицеры, хоть правда во в[шах] и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

— Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN? — спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой, спросил офицера, не угодно ли им подождать и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персонею и руками без перчаток, которые висели перед ним.

— По крайне нужному делу-с, — сказал офицер, после минутного молчания.

— А! так пожалуйста, — сказал Калугин с той же оскор-

---

<sup>1</sup> Этой прекрасной храбрости дворянина.

бительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

— *Eh bien, messieurs, je crois que celà chauffera cette nuit*<sup>1</sup>, — сказал Калугин, выходя от генерала.

— А? что? что? вылазка? — стали спрашивать все.

— Уж не знаю — сами увидите, — отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

— Да ты мне скажи, — сказал барон Пест, — ведь ежели есть что-нибудь, так я должен итти с Т. полком на первую вылазку.

— Ну, так и иди с богом.

— И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо итти, — сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему — он сам должен был знать, итти ли ему или нет.

— Ничего не будет, уж я чувствую, — сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа». — «До свиданья, господа! еще нынче ночью увидимся», — прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

— Да, немножко, — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

— *Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit?*<sup>2</sup> — сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

— Тебе я могу рассказать — видишь ли — ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на одном четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была траншея, — и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутано и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

— Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наши или его? вон лопнула, — говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающихся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-

---

<sup>1</sup> Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко.

<sup>2</sup> Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет?

синее небо и белый дым пороха, и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

— *Quel charmant coup d'oeil!*<sup>1</sup> а? — сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. — Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

— Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба.

— Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это все бомбы: так привыкнешь.

— Однако не пойти ли мне на эту вылазку? — сказал князь Гальцин, после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть там во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

— Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пушу, — отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда. — Еще успеешь, братец!

— Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? А?

В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

— Вот оно когда пошло настоящее! — сказал Калугин. — Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и «ура», — прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голов: «а-а-а-а-а-а-а!» — доносившихся до него с бастиона.

— Чье это «ура»? их или наше?

— Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскочил ординарец-офицер с казаком и слез с лошади.

— Откуда?

— С бастиона. Генерала нужно.

— Пойдемте. Ну что?

— Атаковали ложементы, — заняли — французы подвели огромные резервы — атаковали наших — было только два батальона, — говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

<sup>1</sup> Какой красивый вид!

— Что ж, отступили? — спросил Гальцин.

— Нет, — сердито отвечал офицер: — подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ним.

Через пять минут Калугин уже сидел верхом на казачьей лошадке (и опять той особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион с тем, чтобы по приказанию генерала передать туда некоторые приказания и дожидаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

## 6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в госпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

— Господи, мати пресвятая богородицы! — говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую: — страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая — прямо над нашим домом в слободке.

— Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад все попадают, — сказала девочка.

— И где-то, где-то барин мой таперича? — сказал Никита нараспев и еще пьяный немного. — Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьет, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евtimi сме-



нить, что тут в карты играют — это что — тьфу! одно слово! — заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой, во время отсутствия штабс-капитана, юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

— Звездочки-то, звездочки так и катятся! — глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты, — вон, вон еще скатилась! к чему это так? а маынька?

— Совсем разобьют домишко наш, — сказала старуха вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

— А как мы нонче с дяинькой ходили туда, маынька, — продолжала певучим голосом разговаривавшая девочка, — так большущая такая ядро в самой комнатке подля шкапа лежит: она сенцы видно пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

— У кого были мужья, да деньги, так повыехали, — говорила старуха, — а тут — ох горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, господи!

— А как нам только выходить, как одна бомба прилетит-и-ит, как лопни-и-ит, как засыпи-и-ит землю, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

— Крест ей за это надо, — сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

— Ты сходи до генерала, старуха, — сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу, — право!

— Pójdź na ulicę zobaczić co tam powego <sup>1</sup>, — прибавил он, спускаясь с лесенки.

— A my tym czasem napijmy siz wódkki, bo coś dusza w pigty ucieka <sup>2</sup>, — сказал смеясь веселый юнкер Жвадческий.

## 7

— Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одних другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

— Как они подскочили, братцы мои, — говорил басом один

<sup>1</sup> Сходить на улицу, узнать, что там новенького.

<sup>2</sup> А мы тем часом кнаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно.

высокий солдат, несший два ружья за плечами, — как подскочили, как крикнут: Алла, Алла!<sup>1</sup> так так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут — ничего не сделаешь. Видимо-невидимо... — Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

— Ты с бастьона?

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, что там было? Расскажи.

— Да что было? Подступила их, ваше благородие, сила, лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

— Как одолели? да ведь вы отбили же?

— Где тут отбить, когда его вся сила подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это — странность, которую всякий может заметить: солдат, раненый в деле, всегда считает его проигранным и ужасно кровопролитным.)

— Как же мне говорили, что отбили, — с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский, в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

— Не изволите ли знать, что это такое было? — спросил он учтиво, дотрагиваясь рукою до козырька.

— Я сам расспрашиваю, — сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями: — может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

— Сейчас, ваше благородие! — отвечал солдат, — вряд ли, должно за ним траншея осталась, — совсем одолел.

— Ну, как вам не стыдно — отдали траншею. Это ужасно! — сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием, — как вам не стыдно! — повторил он, отворачиваясь от солдата.

— О! это ужасный народ! вы их не изволите знать, — подхватил поручик Непшитшетский, — я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то все ассистенты, только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать нашу траншею! — добавил он, обращаясь к солдатам.

— Что ж, когда сила! — проворчал солдат.

— И! ваши благородия! — заговорил в это время солдат

---

<sup>1</sup> Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «Алла!» (Прим. автора.)

с носилок, поровнявшийся с ними, — как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы ни отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровнее братцы, ровней иди... о-о-о! — застонал раненый.

— А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет, — сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями. — Ты зачем идешь? Эй, ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

— Куда ты идешь и зачем? — закричал он на него строго. — Него... — но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

— Ранен, ваше благородие!

— Чем ранен?

— Сюда-то, должно, пулей, — сказал солдат, указывая на руку, — а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, — и он, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волосы на затылке.

— А ружье другое чье?

— Стуцер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не етого солдатика проводить, а то упадет неравно, — прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и перемывая левую ногу.

— А ты где идешь, мерзавец! — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, — желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет, — что редко с ним случалось — отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись ча крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходящими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

Большая, высокая темная зала, — освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, — была буквально полна. Носильщики

беспреданно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах не занятых, горячее дыхание нескольких сотен человек и испарение рабочих с носилками производили какой-то особенный тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. Сестры, с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубашками. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

— Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, *fractura femoris complicata*<sup>1</sup>, — кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу. — Переверни-ка его.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, чтоб его не трогали.

— *Perforatio capitis*<sup>2</sup>.

— Семен Нефердов, подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу, — говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

— Ай, не надо! Ой, ради бога, скорей, скорей, ради... а-а-а-а!

— *Perforatio pectoris*...<sup>3</sup> Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не лишите: *moritur*<sup>4</sup>. Несите его, — сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и, молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

. . . . .

<sup>1</sup> Осложненное раздробление бедра.

<sup>2</sup> Пробождение черепа.

<sup>3</sup> Пробождение грудной полости.

<sup>4</sup> Умирает.

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который марш-марш скакал с бастиона.

— Зобкин! Зобкин! постойте на минутку.

— Ну, что?

— Вы откуда?

— Из ложементов.

— Ну как там? жарко?

— Ад! ужасно!

И ординарец поскакал дальше. Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!» подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказание, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

— Vous êtes blessé? <sup>1</sup> — сказал ему Наполеон.

— Je vous demande pardon, sire, je suis tué <sup>2</sup>, — и адъютант упал с лошади и умер на месте.

Ему показалось это прекрасным, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку*, оглянулся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

— Что вы здесь делаете? — крикнул он на них.

— Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели, — отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

— То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

И он вместе с ними пошел по траншее в гору, на каждом

<sup>1</sup> Вы ранены?

<sup>2</sup> Извините, государь, я убит.

шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх нескоро уступает место другому чувству: он, который всегда хвастался, что никогда не погибает, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо!» подумал он, спотыкнувшись, «неприменно убьют», и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не покушался преодолеть своего чувства.

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом, и первый крикнул ему: «ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

— Вишь, какой бравый! — сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее; — и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилося сильнее, кровь хлынула к голове, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

— Что вы так запыхались? — сказал генерал, когда он ему передал приказания.

— Шел скоро очень, ваше превосходительство!

— Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал NN, командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и

образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

— А вот я рад, что и вы здесь, капитан, — сказал он морскому офицеру, в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны. — Мне генерал приказал узнать, — продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом, — могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

— Одно только орудие может, — угрюмо отвечал капитан.

— Все-таки пойдете, посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

— Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного, — сказал он: — нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам все покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей, — и даже, когда не было блиндажей, — не выходя, с начала осады жил на бастионе и между морями имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» подумал он.

— Ну, так я пойду один, если вы позволите, — сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие—желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уж прошел через все это — сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе, уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в

амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

— Ротмистр Праскухин! — сказал генерал: — сходите пожалуйста в правый ложемент и скажите второму батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

— Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу. Стрельба становилась реже.

## 10

— Это второй батальон М. полка? — спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдата, который в мешке на спине нес землю.

— Так точно-с.

— Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, руку к козырьку, подошел к нему.

— Генерал приказал... вам... извольте итти... поскорей... и главное потише... назад, не назад, а к резерву, — говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя, после трех часов бомбардированья, из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что ежели так много бомб и ядер пролетело, не задев его, отчего же теперь задеет? Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

— До свидания, — сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они



вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера: — счастливого пути.

— И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна, — хоть глаз выколи, — только огни выстрелов и рзрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдата: — «Господи, господи! что это такое!» — Иногда поражал стон раненого и крик: «носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал «пу-ушка!» — и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Чорт возьми! как они тихо идут, — думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова, — право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет — пойду рядом».

«И зачем он идет со мной, — думал с своей стороны Михайлов, — сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам с тем, чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем итти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и не мало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы, — тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибая голову и все уверял, что «это прямо сюда».

— Смотрите, капитан, это прямо сюда, — сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного

с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. — «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, — этот капитан», — подумал он, входя в двери блиндажа.

— Ну, что новенького? — спросил офицер, который, ужинавшая, один сидел в комнате.

— Да ничего, кажется, что уж больше не будет.

— Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть, — подумал Калугин, — но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной *chair à saup*»<sup>1</sup>.

— И в самом деле я их лучше тут подожду, — сказал он.

Действительно минут через пять генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было.

Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин, вместе с Пестом, вышел из блиндажа.

## 11

— У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? — спросил его Калугин.

— Ах, братец, ужасно! можешь себе представить... — И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир [был] убит, как он заколол француза и что, ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытый до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки, потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись

<sup>1</sup> Пушечное мясо.

в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольной сдержанностью и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно [было] подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шопотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколот руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

— Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружьем не пасть, а штыками... Когда я крикну «ура!» — за мной и не отставать... Дружной, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! — говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

— Как фамилия нашего ротного командира? — спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним, — какой он храбрый!

— Да, как в дело, всегда — мертвецки, — отвечал юнкер, — Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршали камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с элевационного станка и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

— Бомбами пускать! сук[ин] сын... Дай только добратся, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! — заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая — приказано было взять ружья на перевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел, как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то,

потому что все бежали и все кричали. Потом он споткнулся и упал на что-то — это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: «коли его, что смотришь?» Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «А moi, camarades! Ah, sacré b..... Ah! Dieu!» — закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и, вместе с толпой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

— А я заколол одного! — сказал он батальонному командиру.

— Молодцом, барон. . . . .

## 12

— А, знаешь, Праскухин убит, — сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

— Не может быть!

— Как же, я сам его видел.

— Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен, — думал Калугин, возвращаясь к дому, — в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я — жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «*Splendeur et misères des courtisanes*»<sup>2</sup>, которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая

<sup>1</sup> Ко мне, товарищи! О, чорт! О, господи!

<sup>2</sup> «Роскошь и убожество куртизанок», роман Бальзака. Одна из тех милых книг, которых разведось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашей молодежью. (Прим. автора.)

их весьма естественно, — с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начал уже оживать немного, как он увидел молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услышал крик часового: «маржела!» и слова одного из солдат, шедших сзади: «как раз на батальон прилетит!» Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените—в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, — бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, — может быть, бомба упала далеко, и ему только казалось, что трубка шипит тут же.

Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидел, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключаящий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда, — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнуло в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом, — и я могу еще жив остаться. А может быть, од-

ного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе—меня». Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в цепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому не отплатил за оскорбление, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет», — подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, его глаза поразил красный огонь, и с страшным треском что-то толкнуло его в середину груди; он побежал куда-то, споткнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! я только контужен» — было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди — но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали голову. В глазах его мелькали солдаты — и он бессознательно считал их: «один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер», — думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки, а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут все мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к небу, и ужасная жажда мучала его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди — это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал», — подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал, все силы и хотел закричать: «возьмите меня», но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, — и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше ничего не видел, не слышал, не думал и не чувствовал.

Он был убит на месте осколком в середину груди.

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванной. Он мысленно молился богу и все твердил: «Да будет воля твоя! И зачем я пошел в военную службу, — вместе с тем думал он, — и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, — в нечет, то будет убит. «Все кончено! — убит!» — подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит, — подумал он, — что будет там? Господи! прими дух мой с миром. Только одно странно, — рассуждал он, — что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

— Давай носилки, — эй! ротного убило! — крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос Барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидел над головой темносинее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидел Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу туда, что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье — страх и желание уйти поскорее с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако?» — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. — «Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более, что и рота скоро выйдет из-под огня, — шепнул ему какой-то голос, — а с раной остаться в деле — непременно награда».

— Не нужно, братец, — сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому главное самому хотелось поскорее выбраться отсюда, — я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

— Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует, — сказал робкий Игнатъев: — ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один — с бакенбардами — сказал ему, что он никак не умрет от этой раны, и что вилкой можно больней уколотся.

«Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь», — подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

— А где ординарец Праскухин, который шел со мной? — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

— Не знаю, убит, кажется, — неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

— Убит или ранен? как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его не взяли?

— Где тут было брать, когда жарня этакая!

— Ах, как же вы это, Михал Иванович, — сказал Михайлов сердито: — как же бросить, ежели он жив; да и убит, так все-таки тело надо было взять, — как хотите, ведь он ординарец генерала и еще жив, может.

— Где жив, когда я вам говорю, я сам подходил и видел, — сказал прапорщик. — Помилуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускаться, — прибавил он, присядая. Михайлов тоже присел и схватился за голову, которая от движения ужасно заболела у него.

— Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жив, — сказал Михайлов. — Это наш долг, Михайло Иваныч!

Михайло Иваныч не отвечал.

«Вот ежели бы он был хороший офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а и посылать как?»



под этим страшным огнем могут убить задаром», — думал Михайлов.

— Ребята! надо сходить назад—взять офицера, что ранен там в канаве, — сказал он не слишком громко и повелительно, чувствуя, как неприятно будет солдатам исполнять это приказанье, — и действительно, так как он ни к кому именно не обращался, никто не вышел, чтобы исполнить его.

— Унтер-офицер! поди сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал итти на своем месте.

«И точно, может, он уже умер и не стоит подвергать людей напрасно, а виноват один я, что не позаботился. Схожу сам, узнаю, жив ли он. Это мой долг», — сказал сам себе Михайлов.

— Михал Иваныч! ведите роту, а я вас догоню, — сказал он и, одной рукой подобрав шинель, другой рукой дотрагиваясь беспрестанно до образка Митрофания-угодника, в которого он имел особенную веру, почти ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарищ его был убит, Михайлов так же пыхтя, присядая и придерживая рукой сбившуюся повязку и голову, которая сильно начинала болеть у него, потащился назад. Батальон уже был под горой на месте и почти вне выстрелов, когда Михайлов догнал его.—Я говорю: почти вне выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальные бомбы (осколком одной в эту ночь убит один капитан, который сидел во время дела в матросской землянке).

«Однако, надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться», — подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его, — «это поможет к представленью».

#### 14

Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах—ползали, ворочались и стонали, — одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длин-

ные тучки по светлолазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещающая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило.

На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним дорожкам из цветущих душистых белых акаций.

Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезное, почти печальное выражение, как будто потери вчерашнего дела сильно трогали и огорчали каждого, но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека (да и бывают ли в военном быту очень близкие люди?), это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы. Да спросите по совести прапорщика Петрушова и поручика Антонова и так далее — всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья.

— Нет, извините, — говорил полковник, — прежде началось на левом фланге. *Ведь я был там.*

— А может быть, — отвечал Калугин, — *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

— Да уж верно Калугин знает, — сказал полковнику князь Гальцин, — ты знаешь, мне нынче В... про тебя говорил, что ты молодцом.

— Потери только, потери ужасные, — сказал полковник тоном официальной печали. — *У меня в полку четыреста человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце

бульвара, показалась лиловая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера присядал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой с тем, чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

— Il fallait voir dans quel état je l'ai rencontré hier sous le feu <sup>1</sup>, — улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились.

— Что, вы ранены, капитан? — сказал Калугин с улыбкой, которая значила: — «что вы видели меня вчера? каков я?»

— Да, немножко, камнем, — отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «видел и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох».

— Est-ce que le pavillon est baissé déjà? <sup>2</sup> — спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

— Non pas encore <sup>3</sup>, — отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

— Неужели продолжается еще перемирие? — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря — как это показалось штабс-капитану, — что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан так же, как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами — с одними не желая сходитья, а к другим не решаясь подойти, — сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, как будто бы один французский офицер сказал ему: «S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi heure, les embuscades auraient été reprises» <sup>4</sup>, и как он отвечал ему: «Monsieur! Je ne dit pas non, pour ne pas vous donner un démenti» <sup>5</sup>, и как это хорошо он сказал и так далее.

<sup>1</sup> Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем.

<sup>2</sup> Разве флаг уже спущен?

<sup>3</sup> Нет еще.

<sup>4</sup> Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты.

<sup>5</sup> Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: *de quel régiment êtes-vous?*<sup>1</sup> Ему отвечали и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. *«Il vient regarder nos travaux, ce sacré c.....»*<sup>2</sup> сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и поручик Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и все с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кое-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были, или не забыли про них прежде.

— А я его не узнал было, старика-то, — говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцево-лиловым лицом и вывернутыми зрачками, — под спину берись, Морозка, а то, как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» — вот все, что осталось между людьми от этого человека.....

## 16

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине, кучками лежат без сапог, в серых и синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

---

<sup>1</sup> Какого вы полка?

<sup>2</sup> Он идет смотреть наши работы, этот проклятый...

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и француз<sup>з</sup>ов молоденькой офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

— Э сеси пуркуа се уазо иси? <sup>1</sup> — говорит он.

— Parce que c'est une giberne d'un régiment de la garde, Monsieur, qui porte l'aigle impérial <sup>2</sup>.

— Э ву де ла гард? <sup>3</sup>

— Pardon, Monsieur, du 6-éme de ligne <sup>4</sup>.

— Э сеси у аште? <sup>5</sup> — спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

— A Balaclave, Monsieur! C'est tout simple — en bois de palme <sup>6</sup>.

— Жоли! <sup>7</sup> — говорит офицер, руководимый в разговоре не собственным произволом, но теми словами, которые он знает.

— Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez <sup>8</sup>. И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе как французы, так и русские кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает и расковыривает трубочку и высыпает огня русскому.

— Табак бун, — говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc, — говорит француз, — et chez vous tabac russe? bon? <sup>9</sup>

---

<sup>1</sup> Почему эта птица здесь?

<sup>2</sup> Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.

<sup>3</sup> А вы из гвардии?

<sup>4</sup> Нет, шестого линейного.

<sup>5</sup> А это где купили?

<sup>6</sup> В Балаклаве. Это просто из пальмового дерева.

<sup>7</sup> Красивая!

<sup>8</sup> Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече.

<sup>9</sup> Да, хороший табак, турецкий табак, — а у вас русский? Хороший?

— Рус бун, — говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. — Франсе нет бун, бонжур, мусье, — говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет французца по животу и смеется. Французы тоже смеются.

— Ils ne sont pas jolis ces b[êtes] de russes <sup>1</sup>, — говорит один зуав из толпы французов.

— De quoi de ce qu'ils rient donc? <sup>2</sup> — говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

— Кафтан бун, — говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

— Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré пот.....<sup>3</sup> — кричит французской капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров, наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, m-r <sup>4</sup>, — говорит французский офицер с одним эполетом: — c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons <sup>5</sup>.

— Il y a un Sazonoff que j'ai connu, — говорит кавалерист, — mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près <sup>6</sup>.

— C'est ça, m-r, c'est lui. Oh que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. — Capitaine Latour <sup>7</sup>, — говорит он кланяясь.

— N'est ce pas terrible, la triste besogne que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas? <sup>8</sup> — говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

— Oh, m-r, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux. — Il faut avouer que les vôtres

---

<sup>1</sup> Они не красивы, эти русские скоты.

<sup>2</sup> О чем это они смеются?

<sup>3</sup> Не выходи за черту, по местам, чорт возьми...

<sup>4</sup> Графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь.

<sup>5</sup> Это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим.

<sup>6</sup> Я знал одного Сазонова, — говорит кавалерист, — но он, насколько я знаю, не граф; небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста.

<sup>7</sup> Это так, это он. О! как я хотел бы видеть этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. — Капитан Латур.

<sup>8</sup> Не правда ли, какое ужасное, печальное дело мы делаем? Жарко было прошлой ночью, не правда ли?

ne se mouchent pas du pied non plus<sup>1</sup>, — говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он удивительно умен. Но довольно.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом — должно быть, отцовском — картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одною помощью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по долине, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос ст запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв недвижно довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется честная, невинная кровь, и слышатся стоны и проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать; но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

<sup>1</sup> О! это было ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие драться с такими молодцами. — Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (*bravoure de gentilhomme*) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин пустой, безвредный человек, хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест, — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда.

1855 г., 26 июня.

## СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

### 1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой<sup>1</sup> и Бахчисараем, шагом, в густой и жаркой пыли ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой и корзинкой).

В повозке — спереди на корточках сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офицерской фуражке, подергивавший вожжами; сзади на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сидел пехотный офицер в летней шинели. Офицер был, сколько можно было заключить о нем в сидячем положении, не высок ростом, но чрезвычайно широк, и не столько от плеча до плеча, сколько от груди до спины; он был широк и плотен, шея и затылок были у него очень развиты и напряжены, так называемой талии — перехвата в середине туловища — у него не было, но и живота тоже не было, напротив он был скорее худ, особенно в лице, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы красиво, ежели бы не какая-то одутловатость и мягкие, нестарческие, крупные морщины, сливавшие и увеличивавшие черты и дававшие всему лицу общее выражение несвежести и грубости. Глаза у него были небольшие, карие, чрезвычайно

<sup>1</sup> Последняя станция к Севастополю. (Прим. автора.)



бойкие, даже наглые; усы очень густые, но не широкие, и обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, из Симферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы, — но в самом ли Севастополе, на Северной или на Инкермане, он еще ни от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и, казалось, близко: то как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре, и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

— А это с нашей роты солдатик слабый, — сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поровнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку, на весьма грязной рубаше, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за рядки повозки, и поднятые колени, как мочалы, мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и

обязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

— Должников! — крикнул он.

— Я-о, — отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

— Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

— Здравия желаем, вашбородие! — тем же отрывистым басом крикнул он.

— Где нынче полк стоит?

— В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

— Куда?

— Неизвестно... должно, на Северную, вашбородие! Нынче, вашбородие, — прибавил он протяжным голосом и надевая шапку, — уже скрость палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносить; нынче так бьет, что беда, ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, — поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уж делали, что он, и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был не глуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

— Как же! очень буду слушать, что Москва<sup>1</sup> болтает! — пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардирования. — Смешная эта Москва... Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! — прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покати-лась рысью.

— Только покормим минутку и сейчас, нынче же дальше, — сказал офицер.

## 2

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкбй, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге. Повозка принуждена была остано-виться.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

— Далеке идете, землячок? — сказал один из них, переже-вывая хлеб, солдату, который с небольшим мешком за пле-чами остановился около них.

— В роту идем из губернии, — отвечал солдат, глядя в сто-рону от арбуза и поправляя мешок за спиной. — Мы вот, почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь вишь потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Кора-бельную заступили наши на прошлой неделе. Вы не слышали, господа?

— В городе, брат, стоит, в городе, — проговорил другой, старый фуштатский солдат, копавший с наслаждением склад-ным ножом в неспелом, белёсом арбузе. — Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет.

— А что так, господа?

— Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места це-лого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя.

И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал

<sup>1</sup> Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полула-скаательно называют солдата Москва или еще присяга. (Прим. автора.)

языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

— Никто, как бог, господа! Прощенья просим! — сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

— Эх, обождал бы лучше! — сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

— Всё одно, — пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок; — видно, тоже харбуза купить повечерять, вишь, что говорят люди.

### 3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перепранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

— И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих, — а я вам не запрягу с же.

— Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? — кричал старший из двух офицеров, с стаканом чая в руках и, видимо, избегая местоприимения, но давая чувствовать, что очень легко и ты сказать смотрителю.

— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель, — говорил с запинками другой, молоденький офицерик, — нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже стало быть нужны, коли нас требовали. А то я право генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

— Вы всегда испортите! — перебил его с досадой старший: — вы только мешаєте мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

— И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

— Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить — и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

— Что ж, — совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным, — уж три месяца едем, подождем еще. Не беда — успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, навверное сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки, и по одному тому, как они смотрели на других, и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры, и что они довольны этим. Не то, чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами — сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков — одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры. Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему и, главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на-днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать», перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

— Однако это ужасно как досадно, — говорил один из молодых офицеров, — что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

— Поспеее еще, поверьте, — сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выразалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только».

— Как же мы решим, — сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке, — ночуем здесь или поедем на своей лошади?

Товарищ отказался ехать.

— Вы можете себе представить, капитан, — продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот, — нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

— Дорого, я думаю, с вас содрали?

— Право не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

— Недорого, коли молодая лошадь, — сказал Козельцов.

— Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромяя немножко, только это пройдет, нам говорили. Но она крепкая такая.

— Вы из какого корпуса? — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

— Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек, мы все едем в Севастополь по собственному желанию, — говорил словоохотливый офицерик, — только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

— А в Симферополе разве нельзя было узнать? — спросил Козельцов.

— Не знаю... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию в одну; ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно. Угодно вам готовую папироску? — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

— А вы тоже из Севастополя? — продолжал он. — Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! — сказал он, обращаясь к Козельцову с уважением и добродушной лаской.

— Как же, вам, может, назад придется ехать? — спросил поручик.

— Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным — кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые, — у нас денег совсем не осталось, — сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища, — так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

— Разве вы не получили подъемных денег? — спросил Козельцов.

— Нет, — отвечал он шопотом, — только нам обещали тут дать.

— А свидетельство у вас есть?

— Я знаю, что главное — свидетельство; но мне в Москве сенатор один — он мне дядя, — как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

— Непременно дадут.

— И я думаю, что, может быть, так дадут, — сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

## 5

— Да как же не дать, — сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям. — Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от Т., ста тридцати шести рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст

третий месяц еду. Вот с этими господами второй месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

— Неужели третий месяц? — спросил кто-то.

— А что прикажете делать, — продолжал рассказывающий. — Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места, так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет. — когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да видно судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись, не торопись, все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим — и обжитым местом, и квартирой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу, — он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошения он по команде получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое



является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один, с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, и прождал двенадцать часов лошадей, — он уже совершенно раскисал в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров, с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и, наконец, довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванкóй он был жалким трусом и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел как на препровождение времени и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

## 6

— Кто борщу требовал? — провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все, бывшие в комнате, устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

— Ах, это Козельцов спрашивал, — сказал молодой офицер: — надо его разбудить. Вставай обедать, — сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазами и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился по середине комнаты.

— Ах, извините, пожалуйста, — сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

— Не узнаешь? — сказал он, улыбаясь.

— А-а-а! — закричал меньшей брат, — вот удивительно! — и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

— Ну, как я рад, — сказал старший, вглядываясь в брата. — Пойдем на крыльцо — поговорим.

— Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон, — сказал он товарищу.

— Да ведь ты хотел есть.

— Не хочу ничего.

Когда они вышли на крыльцо, меньшей все спрашивал у брата: «ну, что ты, как, расскажи», и все говорил, как он рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло минут пять, во время которых они успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшей вышел не в гвардию, как этого все наши ожидали.

— Ах, да! — отвечал меньшей, краснея при одном воспоминании, — это ужасно меня убило, и я никак не ожидал, что это случится. Можешь себе представить, — перед самым выпуском мы пошли втроем курить, — знаешь эту комнатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верно, так же было, — только можешь вообразить, этот каналья сторож увидал и побежал сказать дежурному офицеру (и ведь мы несколько раз давали на водку сторожу), он и подкрался; только как мы его увидели, те побросали папироски и драло в боковую дверь, — знаешь, а мне уж некуда, он тут мне стал неприятности говорить, разумеется, я не спустил, ну, он сказал инспектору, и пошло. Вот за это-то поставили неполные баллы в поведении, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, ну и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я не хотел и просился на войну.

— Вот как!

— Право, я тебе без шуток говорю, все мне так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастливо пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковники, а здесь Тотлебен так в два года из подполковников в генералы. Ну, а убьют, — так что же делать!

— Вот ты какой! — сказал брат, улыбаясь.

— А главное, знаешь ли, что, брат, — сказал меньшей, улыбаясь и краснея, как будто собирался сказать что-нибудь очень стыдное: — все это пустяки; главное, я затем просил,

что все-таки как-то совестно жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мне хотелось быть, — прибавил он еще застенчивее.

— Какой ты смешной! — сказал старший брат, доставая папиросницу и не глядя на него. — Жаль только, что мы не вместе будем.

— А что, скажи по правде, страшно на бастионах? — спросил вдруг младший.

— Сначала страшно, потом привыкаешь — ничего. Сам увидишь.

— А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

— Бог знает.

— Одно только досадно, — можешь вообразить, какое несчастье: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и не знаю, как я буду являться. Ты знаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да и вообще столько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве...

Козельцов второй, Владимир, был очень похож на брата Михайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у него были те же русые, но густые и вьющиеся на висках. На белом нежном затылке у него была русая косичка — признак счастья, как говорят нянюшки. По нежному белому цвету кожи лица не стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровный молодой румянец. Те же глаза, как и у брата, были у него открытее и светлее, что особенно казалось оттого, что они часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам и над красными губами, весьма часто складывавшимися в застенчивую улыбку и открывавшими белые, блестящие зубы. Стройный, широкоплечий, в расстегнутой шинели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивной радостью в лице и жесте, как он стоял перед братом, это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрел на него. Он чрезвычайно рад был брату, с уважением и гордостью смотрел на него, воображая его героем; но в некоторых отношениях, именно в рассуждении вообще светского образования, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умения говорить по-французски, быть в обществе важных людей, танцевать и т. д., он немножко стыдился за него, смотрел свысока и даже надеялся, ежели можно, образовать его. Все впечатления его еще были из Пе-

тербурга, из дома одной барыни, любившей хорошеньких и бравшей его к себе на праздники, и из дома сенатора в Москве, где он раз танцевал на большом бале.

7

Наговорившись почти досыта и дойдя, наконец, до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, братья помолчали довольно долго.

— Так бери же свои вещи и едем сейчас, — сказал старший.

Младший вдруг покраснел и замялся.

— Прямо в Севастополь ехать? — спросил он после минуты молчания.

— Ну да, ведь у тебя немного вещей, я думаю, уложим.

— И прекрасно! сейчас и поедем, — сказал младший со вздохом и пошел в комнату.

Но, не отворяя двери, он остановился в сенях, печально опустив голову, и начал думать:

«Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад — ужасно! Однако все равно, когда-нибудь надо же было. Теперь, по крайней мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе, и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал, и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил, наконец, дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

— Сейчас, сейчас я выйду! — заговорил он, махая рукой брату. — Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

— Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат, — сказал он.

— Как? Что за вздор!

— Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

— Много ты должен? — спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

— Много... нет, не очень много; но совестно ужасно. Он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

— Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? — сказал строго, не глядя на брата, старший.

— Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним поеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехрублевую бумажку.

— Вот мои деньги, — сказал он. — Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлагае, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов второй с преферансом и сахаром был должен только восемь рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что так нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

— На что ж ты играл?

Младший не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

## 8

Николаев, подкрепивший себя в Дуванкóй двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил, — думал меньшей, — разве он не мог не говорить про это? Точно, как будто он думал, что я вор, да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в

Севастополе. Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы небольшие, но порядочные вырастут к тому времени, — и он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта. — Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело, вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый — такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать, — продолжал он, — нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки. Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. Вот мы нынче приедем, — продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко, — и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой, и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и, конечно, мне нет спасения; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побегим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: «За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете, — я скажу, — и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет, — сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне, Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу, — только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: «Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог! — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

— Что, ты был когда-нибудь в схватке? — спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

— Нет, ни разу, — отвечал старший: — у нас две тысячи человек из полка выбыло, все на работах; и я ранен тоже на

работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата: ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

— Ты на меня не сердись, Миша? — сказал он после минутного молчания.

— За что?

— Нет — так. За то, что у нас было. Так, ничего.

— Нисколько, — отвечал старший, поворачиваясь к нему и хлопывая его по ноге.

— Так ты меня, извини, Миша, ежели я тебя огорчил.

И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

## 9

— Неужели это уж Севастополь? — спросил меньшой брат, когда они поднялись на гору, и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидел это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведывавший обозом, жил около так называемого *нового городка*, — дощатых бараков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтоватогрязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде, чем говорить о личности офи-

цера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна, как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром, с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная ужасно грязная щетка, изломанный, набитый масляными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведывал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он в то время, как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счета казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером) и чрезвычайная нечистоплотность — от жидких масляных волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

— Денег-то, денег-то! — сказал Козельцев-первый, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций: — хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

— Ох, коли бы мои были.. Казенные, батюшка! А это кто с вами? — сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

— Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит.

— Садитесь, господа, — сказал он, вставая и не обращая внимания на гостей, уходя в палатку. — Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? — сказал он оттуда.

— Не мешает, Василий Михайлыч!



Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежною манерою и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают: верно, простой, очень храбрый и гостеприимный», — подумал он, скромно и робко садясь на диван.

— Так где же наш полк стоит? — спросил через палатку старший брат.

— Что?

Он повторил вопрос.

— Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион.

— Наверное?

— Коли я говорю, стало быть, верно; а, впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? — сказал обозный офицер всё из палатки.

— А, пожалуй, выпью, — сказал Козельцов.

— А вы выпьете, Осип Игнатьич? — продолжал голос в палатке, верно обращаясь к спавшему комиссионеру. — Полноте спать: уж осьмой час.

— Что вы пристаёте ко мне! я не сплю, — отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах л и р.

— Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

— Дай портеру. Симферопольского! — крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера, достал портер.

— Да, батюшка, — сказал обозный офицер, наливая стаканы, — нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

— Ну, этот, я думаю, совсем особенный, новое поколение, — сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

— Да, новое поколение! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так как кричал; а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

— Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись, и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кожардой. Он вышел, поправляя свои

черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

— Дай-ка и я выпью стаканчик! — сказал он, садясь подле стола. — Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? — сказал он, ласково обращаясь к Володе.

— Да-с, в Севастополь еду.

— Сами просились?

— Да-с.

— И что вам за охота, господа, я не понимаю! — продолжал комиссионер. — Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

— Чем же тут плохо вам? — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему: — еще вам бы не жизнь здесь!

Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

— Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной», подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя, — продолжал он, обращаясь все к Володе. — И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хотя бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

— Кому нужны доходы, а кто из чести служит! — с досадой в голосе опять вмешался Козельцов старший.

— Что за честь, когда нечего есть! — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом. — Заведи-ка из «Лучии»: мы послушаем, — сказал он, указывая на коробочку с музыкой: — я люблю ее...

— Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

— Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц! а живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез... — И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство — зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

Володя не то, чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту чрез бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было

так мало сообразно с его прошедшими, недавними впечатлениями: паркетная светлая, большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называет их детьми своими, — и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

— Ну, вот мы и приехали! — сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайловской батарее, вышли из повозки. — Ежели нас пропустят на мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевские казармы. Ты там останься до утра, а я пойду в полк — узнаю, где твоя батарея стоит, и завтра приеду за тобой.

— Зачем же? лучше вместе пойдем, — сказал Володя. — И я пойду с тобой на бастион. Ведь уж все равно: привыкать надо. Ежели ты пойдешь, и я могу.

— Лучше не ходить.

— Нет, пожалуйста, я, по крайней мере, узнаю, как...

— Мой совет не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанно движущиеся огни бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались из темноты. Буквально каждую секунду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетливее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчанье бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикнул:

— Кто идет?

— Солдат!

— Не велено пущать!

— Да как же! Нам нужно.

— Офицера спросите.

Офицер, дремавший, сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

— Туда можно, оттуда нельзя. Куда лезешь все разом! — крикнул он на полковые повозки, высоко наложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкнулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

— Когда он амунишные получил, значит, он в расчете сполностью — вот что...

— Эх, братцы! — сказал другой голос, — как на Северную перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

— Говори больше! — сказал первый: — намеднись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги поборвала, так не говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силен и порывист; мост качало, и волны, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо туманно-враждебно шумело и чернело море, отделяясь бесконечно ровной черной линией от звездного светлосероватого в слиянии горизонта; и далеко где-то светились огни на неприятельском флоте. Налево чернела темная масса нашего корабля, и слышались удары волн о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Северной. Огонь разорвавшейся около него бомбы осветил мгновенно высоко наваленные туры на палубе, двух человек, стоящих наверху, и белую пену и брызги зеленоватых волн, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив ноги в воду, какой-то матрос в одной рубашке и топором рубил что-то. Впереди, над Севастополем, носились те же огни, и громче и громче долетали страшные звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочила ноги Волсде; два солдата, шлепая ногами по воде, прошли мимо него. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по нем повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

— А, Михаил Семеныч! — сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова, — что, уж совсем поправились?

— Как видите. Куда вас бог несет?

— На Северную за патронами; ведь я нынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пять патронов в суме нет. Отличные распоряжения!

— А где же Марцов?

— Вчера ногу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

— Полк на пятом, правда?

— Да, на место М...цов заступили. Вы зайдите на перевязочный пункт: там наши есть — вас проводят.

— Ну, а четверка моя на Морской цела?

— И, батюшка! уж давно всю разбили бомбами. Вы не узнаете теперь Севастополя; уж женщин ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последнее заведение переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит ядро или осколок и ударит его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, — казалось, все говорило ему, чтоб он не шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. «Но, может, уж поздно, уж решено теперь», подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью от того, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел немного в сторону от брата.

— Господи! неужели же меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! — сказал он шопотом и перекрестился.

— Ну, пойдем, Володя, — сказал старший брат, когда повозочка въехала на мост. — Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с ранеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороне никто не задержал их.

Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже над головами, и реву осколков, валившихся сверху, — пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что пятая легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на пятый бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они, наконец, пришли на перевязочный пункт.

## 11

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно ужасным госпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходящих им навстречу.

Одна женщина, лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка лет двадцати, с бледным и нежным белокурным личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

— Это, кажется, П. полка? — спросила старшая. — Что, он вам родственник?

— Нет-с, товарищ.

— Гм! Проводите их, — сказала она молодой сестре по-французски, — вот сюда, — а сама подошла с фельдшером к раненому.

— Пойдем же, что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться — смотрел на раненых. — Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

— Ах, боже мой! Ах, боже мой!

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

— Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала:

— Боже мой, боже мой! когда это все кончится! — сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке вынута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.

— Ну что, как вам? — спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку. — Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

— Разумеется, больно, — сердито сказал он. — Оставьте! мне хорошо, — и пальцы в чулке зашевелились еще быстрее. — Здравствуйте! Как вас зовут, извините, — сказал он, обращаясь к Козельцову... — Ах, да, виноват, тут все забудешь, — сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию. — Ведь мы с тобой вместе жили, — прибавил он, без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

— Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

— Гм! А я-то вот и *полный* выслужил, — сказал он, морщась. — Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.

Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.

— Его надо оставить, — сказала шопотом сестра, со слезами на глазах: — уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и идти каждому порознь.

— Только как ты найдешь, Володя, — сказал старший, — впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

## 12

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была совсем пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне около адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидел посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различные образы смерти смутно носились в его воображении. Вся его молодая впечатлительная душа сжалась и ныла под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его участи, в то время как он был в опасности. «Убьют, буду мучиться, страдать, и никто не заплачет!» И все это вместо исполненной энергии и сочувствия героической жизни, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопались и свистели ближе и ближе. Николаев вздыхал чаще и не нарушал молчания. Проходя через Малый Корабельный мост, он увидел, как что-то, свистя, влетело недалеко от него в бухту, на секунду багрово осветило лиловые волны, исчезло и потом с брызгами поднялось оттуда.

— Вишь, не задохлась! — сказал Николаев.

— Да, — ответил он, невольно и неожиданно для себя каким-то тоненьким, тоненьким пискливым голоском.

Встречались носилки с ранеными, опять полковые повозки с турами; какой-то полк встретился на Корабельной; верховые проезжали мимо. Один из них был офицер с казаком. Он

ехал рысью, но, увидав Володю, приостановил лошадь около него, взгляделся ему в лицо, отвернулся и поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Один, один! всем все равно, есть ли я или нет меня на свете», подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшись на гору мимо какой-то высокой белой стены, он вошел в улицу разбитых маленьких домиков, беспрестанно освещаемых бомбами. Пьяная, растерзанная женщина, выходя из калитки с матросами, наткнулась на него.

— Потому, коли бы он был блаародный чуаек, — пробормотала она, — пардон, ваш благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горизонте чаще и чаще вспыхивала молния, и бомбы чаще и чаще свистели и лопались около него. Николаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом.

— Вот все торопились из губернии ехать. Ехать да ехать. Есть куда торопиться! Которые умные господа, так чуть мало-мальски ранены, живут себе в ошпитале. Так-то хорошо, что лучше не надо.

— Да что ж, коли брат уж здоров теперь, — отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогнать чувство, овладевшее им.

— Здоров! Какое его здоровье, когда он вовсе болен! Которые и настоящие здоровые-то, и те, которые умные есть, живут в ошпитале в этакое время. Что тут-то радости много, что ли? Либо ногу, либо руку оторвет—вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городе, не то, что на баксионе, и то страсть какая. Идешь—молитвы все перечитаешь. Ишь, бестия, так мимо тебя и дзанкнет! — прибавил он, обращая внимание на звук близко прожужжавшего осколка.— Вот теперича, — продолжал Николаев: — велел ваше благородие проводить. Наше дело известное: что приказано, то должен сполнять; а ведь главное, повозку так на какого-то солдатишку бросили, и узел развязан. Иди да иди; а что из имения пропадет, Николаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, они вышли на площадь. Николаев молчал и вздыхал.

— Вон артилерия ваша стоит, ваше благородие! — сказал он вдруг. — У часового спросите: он вам покажет. — И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Николаева.

Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одиночества в опасности — перед смертью, как ему казалось, — ужасно тяжелым, холодным



камнем легло ему на сердце. Он остановился посреди площади, оглянувшись, не видит ли его кто-нибудь, схватился за голову и с ужасом проговорил и подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкий, ничтожный трус. Неужели за отечество, за царя, за которого я с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое создание!» И Володя с истинным чувством отчаяния и разочарования в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и подошел к нему.

Жилище батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном из окон, залепленном бумагой, светился слабый огонек свечки. Денщик сидел на крыльце и курил трубку. Он пошел доложить батарейному командиру и ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагами, несколько стульев и железная кровать с чистой постелью и маленьким коврикком около нее.

Около самой двери стоял красивый мужчина с большими усами — фельдфебель — в тесаке и шинели, на которой висели крест и венгерская медаль. Посередине комнаты взад и вперед ходил невысокий, лет сорока, штаб-офицер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шинели.

— Честь имею явиться, прикомандированный в пятую легкую, прапорщик Козельцов-второй, — проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклон и, не подавая руки, пригласил его садиться.

Володя робко опустился на стул подле письменного стола и стал перебирать в пальцах ножницы, попавшиеся ему в руки, а батарейный командир, заложив руки за спину и опустив голову, только изредка поглядывая на руки, вертевшие ножницы, молча продолжал ходить по комнате с видом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый челсвечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо и закрывавшими рот, и большими приятными карими глазами. Руки у него были красивые, чистые и пухлые, ножки очень вывернутые, ступавшие с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшим, что батарейный командир был человек незастенчивый.

— Да, — сказал он, останавливаясь против фельдфебеля, — ящичным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то они у нас худы. Как ты думаешь?

— Что ж, прибавить можно, ваше высокоблагородие! Теперь всё подешевле овес стал, — отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые он держал по швам, но которые, очевидно, любили жестом помогать разговору. — А еще фуражир наш Францук вчера мне из обоза записку прислал, ваше высокоблагородие, что осей непременно нам нужно будет там купить — говорят, дешевы, — так как изволите приказать?

— Что ж, купить: ведь у него деньги есть. — И батарейный командир снова стал ходить по комнате. — А где ваши вещи? — спросил он вдруг у Володи, останавливаясь против него.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находил презрение к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проник его тайну и подслушивает над ним. Он, смутившись, отвечал, что вещи на Графской и что завтра брат обещал их доставить ему.

Но подполковник не дослушал его и, обратясь к фельдфебелю, спросил:

— Где бы нам поместить прапорщика?

— Прапорщика-с? — сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым, брошенным на него взглядом, выразившим как будто вопрос: «Ну что это за прапорщик, и стоит ли его помещать куда-нибудь?» — Да вот-с внизу, ваше высокоблагородие, у штабс-капитана могут поместиться их благородие, — продолжал он, подумав немного: — теперь штабс-капитан на баксионе, так ихняя койка пустая остается.

— Так вот, не угодно ли-с покамест? — сказал батарейный командир. — Вы, я думаю, устали, а завтра лучше устроим.

Володя встал и поклонился.

— Не угодно ли чаю? — сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери. — Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковничий денщик провел его вниз и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья и одеяла. На кровати, накрывшись толстой шинелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя принял его было за солдата.

— Петр Николаич! — сказал денщик, толкая за плечо спящего. — Тут прапорщик лягут... Это наш юнкер, — прибавил он, обращаясь к прапорщику.

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал Володя; но юнкер, высокий, плотный, молодой мужчина, с красивой, но весьма глупой физиономией, встал с кровати, накинул шинель и, видимо, не проснувшись еще хорошенько, вышел из комнаты.

— Ничего, я на дворе лягу, — пробормотал он.

14

Оставшись наедине с своими мыслями, первым чувством Володи было отвращение к тому беспорядочному, безотрадному состоянию, в котором находилась душа его. Ему захотелось заснуть и забыть все окружающее, а, главное, самого себя. Он потушил свечку, лег на постель и, сняв с себя шинель, закрылся с головою, чтобы избавиться от страха темноты, которому он еще с детства был подвержен. Но вдруг ему пришла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Он стал вслушиваться; над самой его головой слышались шаги батареинного командира.

«Впрочем, ежели и прилетит, — подумал он, — то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, не меня одного». Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что ежели вдруг ночью возьмут Севастополь, и французы ворвутся сюда? Чем я буду защищаться?» Он опять встал и походил по комнате. Страх действительной опасности подавил таинственный страх мрака. Кроме седла и самовара в комнате ничего твердого не было. «Я подлец, я трус, мерзкий трус!» — вдруг подумал он и снова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращения даже к самому себе. Он снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дня несвольно возникли в воображении при непрерывных заставлявших дрожать стекла в единственном окне звуках бомбардирования и снова напоминали об опасности: то ему грезились раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и горячо со слезами молящаяся перед чудотворной иксоной, и снова сон кажется ему невозможен. Но вдруг мысль о боге всемогущем, добром, который все может сделать и услышит всякую молитву, ясно пришла ему в голову. Он стал на колени, перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

«Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай

это, господи, — думал он, — поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю».

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося треска, гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чужого близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не устал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, владавшему в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.

## 15

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону.

— Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.

— А что?

— Опасно, ваше благородие; вон она аж через несет, — сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел посередине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее, — пробойн в домах больше, огней в окнах уже совсем нету, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается, — на всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, мгновенно освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.

— Где командир полка? — спросил Козельцов.

— В блиндаже у флотских, ваше благородие! — отвечал услужливый солдатик. — Пожалуйте, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

— Можно войти?

— Сейчас доложу, — и матрос вошел в дверь.

Два голоса говорили за дверью.

— Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет, — говорил один голос, — то Австрия тоже...

— Да что Австрия, — говорил другой, — когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был прежде в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая в золотой ризе икона божьей матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие — новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать». «Странно, — думал Козельцов, глядя на своего командира, — только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем, в его одежде, осанке, взгляде видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли, — думал он, — этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники? А теперь! голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука, десятирублевая сигара в руке, на столе

шестирублевый лафит, — все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе; — и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя шестьдесят рублей в треть жалованья, а у меня десятки тысяч проходят через руки, и поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте».

— Вы долгоныко лечились, — сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

— Болен был, полковник, еще и теперь рана хорошенько не закрылась.

— Так вы напрасно приехали, — с недоверчивым взглядом на полную фигуру офицера сказал полковник. — Вы можете, однако, исполнять службу?

— Как же-с, могу-с.

— Ну и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева девятую роту — вашу прежнюю; ейчас же вы получите приказ.

— Слушаю-с.

— Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, — заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончена.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то и подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (не за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто недоволен. Дисциплина и условие ее — субординация только приятна, как всякие обзаконенные отношения, — когда она основана, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признании со стороны низшего превосходства в опытности, военном достоинстве или даже просто в моральном совершенстве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, она всегда переходит, с одной стороны, в важничество, с другой, — в скрытую зависть и досаду и, вместо полезного влияния соединения масс в одно целое, производит совершенно противоположное действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными и старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, уже за ней, большею частью не справедливо, не предполагают ничего хорошего.

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел познакомиться с своею ротой и посмотреть, где она стоит. Бруствера из туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколки и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, — все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это живо врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом бастионе. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то книгу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

«Страх... смерти врожденное чувство человеку.

— Снимите со свечки-то, — сказал голос. — Книжка славная.

Бог... мой...», — продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержанного молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ноги и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру.

— Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

— Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! — отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова. — Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава богу. А то мы без вас соскучились.

Видно сейчас было, что Козельцова любили в роте.

В глубине блиндажа послышались голоса: «старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеныч» и т. п.; некоторые даже пододвинулись к нему, барабанщик поздоровался.

— Здравствуй, Обанчук! — сказал Козельцов. — Цел? Здорово, ребята! — сказал он потом, возвышая голос.

— Здравия желаем! — загудело в блиндаже.

— Как поживаете, ребята?

— Плохо, ваше благородие: одолевает француз, — так дурно бьет из-за шанцов, да и шабаш, а в поле не выходит.

— Авось, на мое счастье, бог даст и выйдет в поле, ребята! — сказал Козельцов. — Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим.

— Рады стараться, ваше благородие! — сказала несколько голосов.

— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабанщик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.

## 17

В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

— А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? — слышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки с знакомыми, Козельцов присоединился к шумной группе офицеров, игравших в карты, между которыми было больше всего его товарищей. Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми красивыми пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал скоро и неаккуратно, видимо, чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтиннику и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты, он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на



чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.

Козельцов выпил водки и подсел к играющим.

— Понтирните-ка, Михаил Семеныч! — сказал ему банкомет: — денег пропасть, я чай, привезли.

— Откуда у меня деньгам быть! Напротив, последние в городе спустил.

→ Как же! Вдули уж верно кого-нибудь в Симферополе.

— Право, мало, — сказал Козельцов, но, видимо, не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

-- Попытаться нешто: чем черт не шутит! и комар бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.

И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности и проигрывал последние три рубля.

На маленьком вспотевшем офицере было написано сто пятьдесят рублей.

— Нет, не везет, — сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

— Потрудитесь прислать, — сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него.

— Позвольте завтра прислать, — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дometал талию. — Однако этак нельзя, — сказал он, положив карты: — я бастую. Этак нельзя, Захар Иванович, — прибавил он: — мы играли на чистые, а не на мелок.

— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей восемь. — Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.

— Откуда же и я заплачу, — сказал банкомет, — когда на столе денег нет?

— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь: — я играю с вами, с честными людьми, а не с ними.

Потный офицер вдруг разгорячился.

— Я говорю, что заплачу завтра: как же вы смеете мне говорить дерзости?

— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, — вот что! — кричал майор.

— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора, — ставьте!

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы расслабиться окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.

— Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит, — дерзости? Ах ты мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса: — подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубоко-грустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

## 18

На другой день бомбардирование продолжалось с той же силой. Часов в одиннадцать утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и нравилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина, с хохломом и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хошеньким личиком и вообще обращался с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший на о и хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе по-

ставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий, с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатаанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все спрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, сверхчеловеческие в Севастополе, жалел о том, как мало встречаешь патриотизма, и какие делаются неблагоприятные распоряжения и т. д., вообще выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, приказывал подать водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили Влангу, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли насмех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый, красивый, бойкий офицер, с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто, как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, чего-то в [нем] недоставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

— Вот он, наш герой, является! — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. — Чего хотите, Фридрих Крестьяныч: чаю или водки?

— Я уже приказал себе чайку поставить, — отвечал он, — а водочки покаместа хватить можно для улаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу вас любить и жаловать, — сказал он Володе, который, встав, поклонился ему: —

штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

— Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

— Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить — в осадном-то положении, — ее подкладывать надо.

— Ну, что, счастливо отдежурили? — спросил Дяденко.

— Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера починили. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить, видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, вышедшего из опасности.

— Что, Дмитрий Гаврилыч, — сказал он, потрясая капитана за коленки, — как поживаете, батюшка. Что ваше представление молчит еще?

— Ничего еще нет.

— Да и не будет ничего, — заговорил Дяденко, — я вам доказывал это прежде.

— Отчего же не будет?

— Оттого, что не так написали реляцию.

— Ах вы, спорщик, спорщик, — сказал Краут, весело улыбаясь: — настоящий хохол неуступчивый. Ну, вот вам на зло же, выйдет вам поручика.

— Нет, не выйдет.

— Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте, — обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.

Краут всех оживил, рассказывал про бомбардированье, спрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

## 19

— Ну, как? вы уж устроились у нас? — спросил Краут у Володи. — Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?

— Нет, — сказал Володя: — я не знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покаместа лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.

— Аполлон Сергеич-то! — он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана: — вряд!

— Что ж, откажет, не беда, — сказал капитан: — тут-то

лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.

— Как! вы его не знаете, — вмешался Дяденко: — другое что откажет, а им ни за что... Хотите пари?..

— Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.

— Оттого противоречу, что я знаю; он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета.

— Как нет расчета, когда ему здесь по восемь рублей овес обходится! — сказал Краут: — расчет-то есть не держать лишней лошади!

— Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч! — сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута: — отличная лошадка.

— С которой вы в Сороках в канаву упали? а? Вланга? — засмеялся штабс-капитан.

— Нет, да что же вы говорите, по восемь рублей овес, — продолжал спорить Дяденко, — когда у него справка по десять с полтиной; разумеется, не расчет.

— А еще бы у него ничего не оставалось! Небось, вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!

— Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарничка кушать, доходов не буду собирать, не бойтесь.

— Поживем, посмотрим, — сказал штабс-капитан: — и вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть, — прибавил он, указывая на Володю.

— Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьянович, что и они захотят пользоваться? — вмешался Черновицкий. — Может, у них состояние есть: так зачем же они станут пользоваться?

— Нет-с, уж я... извините меня, капитан, — покраснев до ушей, сказал Володя, — уж я это считаю неблагоприятно.

— Эге-ге! Какой он бедовый! — сказал Краут. — Дослужитесь до капитана, не то будете говорить.

— Да это все равно: я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать.

— А я вам вот что скажу, молодой человек, — начал более серьезным тоном штабс-капитан. — Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь-восемь, и это от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь: вы

Должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку — два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятьсот целковых платят, батюшка, а ремонтная цена пятьдесят, и требуют, — это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас лишнее выйдет, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично; вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить...

— А главное, — подхватил капитан, молчавший все время, — вот что, Владимир Семеныч: — вы представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет на двухстах рублях жалованья в нужде постоянной: так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажать, когда комиссионеры в неделю десятки тысяч наживают!

— Э! да что тут! — снова заговорил штабс-капитан: — вы не торопитесь судить, а поживите-ка, да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

— А вы нынче скажите Аполлон Сергеичу, чтоб он вина поставил, — сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану. — И что он скупится? Убьют, так никому не достанется!

— Да вы сами скажите, — отвечал капитан.

— Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

## 20

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу.

— Ну-с, господа, кто водку пьет, милости просим. Прапорщики не пьют, — прибавил он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не таким суровым, как вчера; напротив, он имел вид доброго, гостеприимного хозяина и старшего товарища. Но, несмотря на то, все офицеры, от старого капитана до спорщика Дяденки, по одному тому, как они говорили, учтиво глядя в глаза командиру, и как робко подходили друг за другом пить водку, придерживаясь стенки, показывали к нему большое уважение.

Обед состоял из большой миски щей, в которых плавали жирные куски говядины и огромное количество перцу и лаврового листа, польских зразов с горчицей и колдунов с совсем свежим маслом. Салфеток не было, ложки были жестяные и деревянные, стаканов было два, и на столе стоял только серый графин воды с отбитым горлышком; но обед был не скучен: разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сражении, в котором участвовала батарея и из которого каждый рассказывал свои впечатления и соображения о причинах неудачи и умолкал, когда начинал говорить сам батарейный командир; потом разговор естественно перешел к недостаточности калибра легких орудий, к новым облегченным пушкам, причем Володя успел показать свои знания в артиллерии. Но на настоящем ужасном положении Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слишком много думал об этом предмете, чтоб еще говорить о нем. Тоже об обязанностях службы, которые должен был нести Володя, к его удивлению и огорчению, совсем не было речи, как будто он приехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегченных орудиях и обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором они сидели, упала бомба. Пол и стены задрожали, как от землетрясения, и окна застало пороховым дымом.

— Вы этого, я думаю, в Петербурге не видали; а здесь часто бывают такие сюрпризы, — сказал батарейный командир. — Посмотрите, Влаиг, где это лопнула.

Влаиг посмотрел и донес, что на площади, и о бомбе больше речи не было.

Перед самым концом обеда старичок, батарейный писарь, вошел в комнату с тремя запечатанными конвертами и подал их батарейному командиру. «Вот этот *весьма* нужный, сейчас казак привез от начальника артиллерии». Все офицеры невольно с нетерпеливым ожиданием смотрели на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта и достававшие оттуда *весьма* нужную бумагу. «Что это могло быть?» делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступление на отдых из Севастополя, могло быть назначение всей батареи на бастионы.

— Опять! — сказал батарейный командир, сердито швырнув на стол бумагу.

— Об чем, Аполлон Сергеевич! — спросил старший офицер.

— Требуют офицера с прислугой на какую-то там мортирную батарею. У меня и так всего четыре человека офицеров и прислуги полной в строй не выходит, — ворчал батарейный командир, — а тут требуют еще. — Однако надо кому-нибудь

итти, Господа, — сказал он, помолчав немного: — приказано в семь часов быть на Рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же итти, господа, решайте, — повторил он.

— Да вот они еще нигде не были, — сказал Черновицкий, указывая на Володю.

Батарейный командир ничего не ответил.

— Да, я бы желал, — сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спине и шее.

— Нет, зачем! — перебил капитан. — Разумеется, никто не откажется, но и напрашиваться не след; а коли Апеллон Сергеич предоставляет это нам, то кинуть жребий, как и тот раз делали.

Все согласились. Краут нарезал бумажки, скатал их и насыпал в фуражку. Капитан шутил и даже решился при этом случае попросить вина у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный, Володя улыбался чему-то, Черновицкий уверял, что непременно ему достанется, Краут был совершенно спокоен.

Володе первому дали выбирать. Он взял один билетик, который был подлиннее, но тут же ему пришло в голову переменить, — взял другой поменьше и потолще и, развернув, прочел на нем: «итти».

— Мне, — сказал он, вздохнув.

— Ну, и с богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, — сказал батарейный командир, с доброю улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика: — только поскорей собирайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за орудийного фейерверкера.

## 21

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, живо побежал собираться и, одетый, пришел помогать Володе и все уговаривал его взять с собой и койку, и шубу, и старые «Отечественные записки», и кофейник спиртовой, и другие ненужные вещи. Капитан посоветовал Володе прочесть сначала по «Руководству»<sup>1</sup> о стрельбе из мортир и выписать тотчас же оттуда таблицу углов возвышения. Володя тотчас же принялся за дело и, к удивлению и радости своей, заметил, что хотя чувство страха опасности и еще более того, что он будет трусом, беспокоили его еще немного, но далеко не в той степени, в какой это было накануне. Отчасти причиной тому было влияние дня и деятельности, отчасти и главное то, что

<sup>1</sup> Руководство для артиллерийских офицеров, изданное Безаком. (Прим. автора.)



страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел переболеть. Часов в семь, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и ожидают.

— Я Вланге список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благородие! — сказал он.

Человек двадцать артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь или просто сказать: здорово, ребята! или ничего не сказать? — подумал он. — Да и отчего же не сказать: здорово, ребята! это должно даже». И он смело крикнул своим звучным голосом: «здорово, ребята!» Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голосок приятно прозвучал в ушах каждого. Володя бодро шел впереди солдат, и, хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая, и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свиставшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось, ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

«Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства.

Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов около бруствера за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях.) Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но на его счастье тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей

и разочарований испытал наш герой в этот вечер: как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел две разбитые мортирки без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в *Руководстве*, как ранили двух солдат его команды, и как двадцать раз он был на волоске от смерти. По счастью, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени, продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солдатами. Влауг первый, как только увидал в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закутив папиросу, лег на койку. Над блиндажем слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо; только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями или Влауг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уюта, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко, и весело.

## 22

Минут через десять солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее — два фейерверкера: один — седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая георгиевского;

другой — молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились покорные. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

— Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? — сказал один голос.

— Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивали, — сказал смеясь тот, который вбежал в блиндаж.

— А не любит Васин бомбов, ох, не любит! — сказал один из аристократического угла.

— Что ж! когда нужно, совсем другая статья! — сказал медленный голос Васина, который, когда говорил, то все другие замолкали. — 24-го числа так палили по крайности: а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

При этих словах Васина все засмеялись.

— Вот Мельников тот, небось, все на дворе сидит, — сказал кто-то.

— А пошлите его сюда, Мельникова-то, — прибавил старый фейерверкер: — и в самом деле убьет так, понапрасну.

— Что это за Мельников? — спросил Володя.

— А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на ведмедя похож.

— Он заговор знает, — сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами.

— Что, ты не боишься бомб? — спросил его Володя.

— Чего бояться бомбов-то! — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь: — меня из бомбы не убьют, я знаю.

— Так ты бы захотел тут жить?

— А известно, захотел бы. Тут весело! — сказал он, вдруг расхохотавшись.

— О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? — сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

— А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

— Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? — послышался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра, — слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин *прдстый*, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение [в] Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет нам на выручку, еще как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел семьдесят пять копеек штрафу платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал, при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно легко и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, растелив шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа — посмотреть, что на дворе делается.

— Подбирай ноги! — закричали друг другу солдаты, только что он встал, и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

— Ну, полноте, не ходите, как можно! — заговорил он слезливо-убедительным тоном: — ведь вы еще не знаете; там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваясь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий, — особенно после блиндажа, — ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в которое виднелись ноги и

спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виднелось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрепятственно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в той же позе оставалась на месте.

— Кто это черный? — спросил Володя у Мельникова.

— Не могу знать; пойду, посмотрю.

— Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго так же равнодушно и недвижимо стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие! — сказал он, возвратившись: — погребок пробито бомбой, так пехотные землю носят.

Иногда бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа.

Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляют орудий и куда ложатся их снаряды.

## 23

На другой день, 27-го числа, после десятичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стрелглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа, при общем хохоте тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все повысыпали на свежий, утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардированье, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну

из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест, действительно, выходил очень красив.

— А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь, — говорил один из них, — так по замиреньи всем в отставку срок выйдет.

— Как же! мне и то всего четыре года до отставки осталось, а теперь пять месяцев простоял в Севастополе.

— К отставке не считается, слышь, — сказал другой.

В это время ядро просвистело над головами говоривших и в аршине ударило от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

— Чуть не убило Мельникова, — сказал один.

— Не убьет, — отвечал Мельников.

— Вот на же тебе крест за храбрость, — сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову.

— Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается — на то приказ был, — продолжался разговор.

— Как ни суди, бисприменно по замиреньи исделают смотр царский в *Аршавс*, и коли не отставка, так в бессрочные выпустят.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами и ударила о камень.

— Смотри, еще до вечера в чистую выйдешь, — сказал один из солдат.

И все засмеялись.

И не только до вечера, но через два часа уже двое из них получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в десятом, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял свое спокойствие, суетился и присядал беспрестанно. Володя же был в совершенном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствие двадцати человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился

своею храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время свое хозяйство, по его выражению, как он ни привык в восемь месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна была красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, хлопывающего руками и звонким голоском командующего: «первое, второе!» и весело избегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине двенадцатого стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в двенадцать часов начался штурм Малахова кургана, второго, третьего и пятого бастионов.

## 24

По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой веже.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своєю недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещаая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по несколько вдруг, беспрестанно, с молнией, блестящей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимали различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на

небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула.

— Однако второй бастион уже совсем не отвечает, — сказал гусарский офицер, сидевший верхом: — весь разбит! Ужасно!

— Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один, — отвечал тот, который смотрел в трубу: — это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

— А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уже теперь... нечего смотреть.

— Постой, не мешай! — отвечал смотревший в трубу, с особенною жадностью глядя на Севастополь.

— Что там, что?

— Движение в траншеях, густые колонны идут.

— Да и так видно, — сказал моряк: — идут колоннами. Надо дать сигнал.

— Смотри, смотри! вышли из траншей.

Действительно простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся, облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки, — все звуки — в один перекатывающийся треск.

— Штурм! — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казачи проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

— Не может быть, чтоб взяли! — сказал офицер на лошади.

— Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! — сказал другой, задыхаясь и отходя от трубы: — французское на Малаховом.

— Не может быть!



Козельцов-старший, успевший отыгратся в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлаге, перед утром спал еще нездоровым, тяжелым, но крепким сном в оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик:

— Тревога!..

— Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! — крикнул ему чей-то голос.

— Верно, школьник какой-нибудь, — сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел одного офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась, но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов тридцать, он увидел свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное, бледное, испуганное. Другие лица были такие же.

Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

— Заняли Шварца, — сказал молодой офицер, у которого зубы шелкали друг о друга. — Все пропало!

— Вздор, — сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал:

— Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали, контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны, и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат

обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешалось в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидел в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям, и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему хотелось только выпить чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на пятом бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, с крестом, стоявшему тут.

— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — твердо спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась, — отвечал священник, говоривший на о, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

— Слава богу, слава богу, — проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновение в его голове. «Дай бог ему такого же счастья», подумал он.

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: «французы идут!» Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледили его щеки.

С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже — кажется, Мельников — шутливо сказал:

— Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с *Влангой*, который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире, с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» крикнул Володя, сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистел над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первое! второе!» командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек двадцать французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на десять до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал вперед. С секунду Володя стоял, как окаменелый, и не верил глазам своим. Когда он опомнился и оглянулся, впереди его были на бруствере синие мундиры и даже один спустившись заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельникова, убитого пулею подле него, и *Вланга*, схватившего вдруг в руки хандшпуг и с яростным выражением лица и опущенными зрачками бросившегося вперед, никого не было. «За мной, Владимир Семеныч! за мной! Пропали!» кричал отчаянный голос *Вланга*, хандшпугом махавшего на

французов, зашедших сзади. Яростная фигура юнкера озадачила их. Одного, переднего, он ударил по голове, другие невольно приостановились, и Вланг, продолжая оглядываться и отчаянно кричать: «За мной, Владимир Семеныч! что вы стоите! Бегите!» подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вскочивши в траншею, он снова высунулся из нее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

## 27

Вланг нашел свою батарею на второй оборонительной линии. Из числа двадцати солдат, бывших на мортирной батарее, спаслось только восемь.

В девятом часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушками, лошадьми и ранеными, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды так же, как и прошлую ночь, ярко блестили на небе; но сильный ветер колыхал море. На первом и втором бастионе вспыхивали по земле молнии; взрывы потрясали воздух и освещали вокруг себя какие-то черные странные предметы и камни, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, наполненный народом, освещался огнем с Николаевской батареи. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батареи и освещало низ облака дыма, стоявшего над ним, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкие огни блестили в море на далеком неприятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. При свете зарева пожаров видны были мачты наших утопающих кораблей, которые медленно глубже и глубже уходили в воду. Говору не слышно было на палубе; из-за равномерного звука разрезаемых волн и пара слышно было, как лошади фыркали и топали ногами на шаланде, слышны были командные слова капитана и стоны раненых. Вланг, не евший целый день, достал кусок хлеба из кармана и начал жевать, но вдруг, вспомнив о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услышали.

— Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, *Вланга*-то наш, — сказал Васин.

— Чудно! — сказал другой.

— Вишь, и наши казармы позажгли, — продолжал он, вздыхая: — и сколько там нашего брата пропало; а ни за что французам досталось!

— По крайности сами живые вышли, и то слава ти господи, — сказал Васин.

— А все обидно!

— Да что обидно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата ни пропало, а, как бог свят, велит император — и отберут. Разве наши так оставят ему? Как же! На вот тебе голые стены; а шанцы-то все повзорвали... Небось, свой значок на кургане поставил, а в город не суется. Погоди, еще расчет будет с тобой настоящий — дай срок, — заключил он, обращаясь к французам.

— Известно, будет! — сказал другой с убеждением.

По всей линии севастопольских бастионов, столько месяцев кипевших необыкновенной энергической жизнью, столько месяцев видевших сменяемых смертью, одних за другими умирающих героев, и столько месяцев возбуждавших страх, ненависть и, наконец, восхищение врагов, — на севастопольских бастионах уже нигде никого не было. Все было мертво, дико, ужасно, — но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежими взрывами обсыпавшейся земле везде валялись искоржанные лафеты, придавившие человеческие русские и вражеские трупы, тяжелые, замолкнувшие навсегда чугунные пушки, страшной силой сброшенные в ямы и до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколки бревен, блиндажей и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Враги видели, что что-то непонятное творилось в грозном Севастополе. Взрывы эти и мертвое молчание на бастионах заставляли их содрогаться; но они не смели верить еще под влиянием сильного, спокойного отпора дня, чтоб исчез их непоколебимый враг, и, молча, не шевелясь, с трепетом, ожидали конца мрачной ночи.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную ночь, сливаясь, развиваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту и на Северной, медленно двигалось в непроницаемой тесноте прочь от места, на котором столько оно оставило храбрых братьев, — от места, всего облитого его кровью, — от места, одиннадцать месяцев отстаиваемого от вдвое сильнее врага, и которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первее впечатление этого приказания. Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться,

и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказами, плакали и умоляли жители и денщики с клажею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убраться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненого солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющеюся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимую горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

27 декабря, Петербург.

## УТРО ПОМЕЩИКА

### I

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из третьего курса университета приехал на летние вакации в свою деревню, и один пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке,

графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.

«Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне почувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

«Как я вам писал уже, я нашел дела в неопisanном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хоршим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и, если только бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии.

«Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда и не сомневалась. Ну, милый друг, наши добрые качества

больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастье, чем счастье других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

«Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои планы — ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность делать добро, которое ты любишь.

«Нищета нескольких крестьян — зло необходимое или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха; но выбирай, по крайней мере, такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь.

«Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие — добродетель в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытываешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и, наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.



У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison Rustique»<sup>1</sup>, с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по неочищенным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темнорусыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов остано­зился, вынул из кармана записную книжку, и на последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок — просил сошек», прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

Жилище Чурисенка составляли: полустгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе густо

<sup>1</sup> Ферма.

нависла черная, гниющая солома; наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты, с редкими, бледнозелеными ветвями. Под одной из этих раки, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опретью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем.

— Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов.

Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка, в изорванной клетчатой панёве, низко подпоясанной стареньким, красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

— Дома, кормилец, — проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно; кое-где лежал старый, невожженный, почерневший навоз; на навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли соха, телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга, пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона их обрушилась, так что спереди перемёты лежали уже не на сохах, а на навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого, продолговатого лица, окруженного темнорусой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темноголубые, полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых, редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по

неестественной сутуловатости и кривому дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с синими заплатками на коленях, и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

— Бог помощь! — сказал барин, входя на двор.

Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя пояс, вышел на середину двора.

— С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

— Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать, — с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика. — Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка, ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть. хотелось, сами изволите видеть; вот анадьсь угол завалился, еще помиловал бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит, — говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые, кривые и обрушенные сараи. — Теперь и строила, и откосы, и перемёты только тронь, глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

— Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты, столбы — все новое нужно, — сказал барин, видимо, щеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

— Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

— Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат, — сказал он кланяясь и переминаясь с ноги на ногу: — так, може, я которые подмену, которые поурежу и из старого как-нибудь соорудую.

— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило: нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий; так уж ежели делать, так делать все за-

ново, чтоб не даром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?

— А кто е знает!

— Нет, ты как думаешь? завалится он или нет?

Чурис на минуту задумался.

— Должен весь завалиться, — сказал он вдруг.

— Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

— Много довольны вашей милостью, — недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурисенок. — Мне хоть бы бревна четыре, да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь; а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

— А разве у тебя и изба плоха?

— Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, — равнодушно сказал Чурис. — Намедни и то накатина с потолка мою бабу убила!

— Как убила?

— Да так, убила, ваше сиятельство: — по спине как по-лыхнёт ее, так она до ночи замертво пролежала.

— Что ж, прошло?

— Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и от роду хвора.

— Что ты, больна? — спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее.

— Все вот тут не пускает меня, да и шабаш, — отвечала она, указывая на свою грязную, тощую грудь.

— Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами: — отчего же ты больна, а не приходила сказать в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повешали?

— Повешали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна! Дело наше одинокое...

### III

Нехлюдов вошел в избу. Неровные, закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной, шестиаршинной избенки, в потолке была большая щель, и несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки,

потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

— Да, изба очень плоха, — сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

— Задавит нас, и ребятишек задавит, — начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатами.

— Ты не говори! — строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначавшейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: — и ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки, и подкладки клал — ничего нельзя исделать!

— Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! — сказала баба.

— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать, — перебил ее муж, с спокойным, деловым выраженьем: — да кой-где переметы переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь — вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится, — заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он, с самого своего приезда, ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходило к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса, превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

— Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? — с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

— Не посмел, ваше сиятельство, — отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными, босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

— Наше дело мужицкое: как мы смеем!.. — начала было, всхлипывая, баба.

— Ну, гутерь, — снова обратился к ней Чурис.

— В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! — сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени. — А вот что мы сделаем, братец...

— Слушаю-с, — отозвался Чурис,

— Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?

— Как не видать-с, — отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые, белые зубы: — еще не мало дивились, как клали-то их — мудреные избы! Ребята смеялись, что не магазеи ли будут, от крыс в стены засыпать. Избы важные! — заключил он с выражением насмешливого недоумения, покачивая головой: — остроги словно.

— Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, — возразил барин, нахмутив свое молодое лицо, видимо, недовольный насмешкой мужика.

— Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

— Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену: ты когда-нибудь отдашь, — сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние. — Ты свою старую сломаешь, — продолжал он: — она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и уже не улыбаясь смотрел в землю.

— Воля вашего сиятельства, — отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая за живое и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее:

— Воля вашего сиятельства, — повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами: — а на новом хуторе нам жить не приходится.

— Отчего?

— Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

— Да отчего ж?

— Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

— Отчего ж там жить нельзя?

— Какая же там жизнь? Ты посуди: место не жилое, вода неизвестная, выгона нету-ти. Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нету-ти. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное... — повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

— Вот бы важно-то было! — заметил он и снова усмеялся. — Пустое это дело, ваше сиятельство!

— Да что ж что место нежилое? — терпеливо настаивал Нехлюдов: — ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут же люди: и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки... Ты непременно поселись...

— И, батюшка, ваше сиятельство, как можно сличить! — с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения: — здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога и пруд тебе, белье что ли бабе стирать, скотину ли поить — и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед, и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправит — много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить, — продолжал он, низко кланяясь: — не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся всхлипывания, и когда муж сказал: «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударила в ноги барину.

— Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты... — завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

— Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану, — говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку, и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его

жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие вѣтлы, видневшиеся перед кривым оконцем — и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

— Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас; что я готов сам лишиться себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы — и я перед богом клянусь, что сдержу свое слово, — говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния неспособны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и неохотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог не излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся.

— Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так и хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня?

— Много довольны вашей милостью, — отвечал смущенный Чурис. — Коли на двор леску убоготорвите, так мы и так поправимся. — Что мир? Дело известное...

— Нет, ты приходи.

— Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.

#### IV

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, нетопленую печь.

— Что, вы уж обедали? — наконец, спросил он.



Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил.

— Какой обед, кормилец? — тяжело вздыхая, поговорила баба: — хлебушка поснедали — вот и обед наш. За сняткой нынче ходить неколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу было, так ребятам дала.

— Нынче пост голодный, ваше сиятельство, — вмешался Чурис, поясняя слова бабы: — хлеб да лук — вот и пища наша мужицкая. Еще слава-ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку ныне везде незарод. У Михайлагородника анадьсь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С пасхи почитай что и в церкву божью не ходим, и свечку Миколу купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал не по слухам, не на веру к словам других, а на деле всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою мысль.

— Да каким же нам и быть, батюшка, ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры почитай хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое... где и рад бы похлопотал — сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рождает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен господу-богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее, и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

— О-ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

— Вот моя подмога вся тут, — продолжал Чурис, указывая на белоголового, шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время, робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса. — Вот и подсобка моя вся тут, — продолжал звучным голосом Чу-

рис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка: — когда его дождешься? а мне уж работа не в мочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев — все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого — вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

— Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? — сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

— Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо — уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только будет милость ваша насчет училища его увольте; а то наемни земский приходил, тоже говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

— Нет, уж это, брат, как хочешь, — сказал барин: — мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать — ведь все у тебя дома, с божьей помощью, лучше пойдет, — говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

— Неспорно, ваше сиятельство: — вы нам худа не желаете, да дома-то побывать некому: мы с бабой на барщине — ну, а он, хоть и маленок, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик, — и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

— Все-таки ты присылай его, когда сам дома, и когда ему время — слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.

## V

— Да я еще хотел сказать тебе, — сказал Нехлюдов: — отчего у тебя навоз не вывезен?

— Какой у меня навоз, батюшка, ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал — вот и скотина моя вся.

— Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? — с удивлением спросил барин.

— А чем кормить станешь?

— Разве у тебя соломы-то неостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.

— У других земли навозные, а моя земля глина одна, ничего не сделаешь.

— Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.

— Да и скотины-то нету, так какой навоз будет?

«Это странный *sergle vicieux*»<sup>1</sup>, подумал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику.

— Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все бог, — продолжал Чурис. — Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозной и крестца не собрали. Никто как бог! — прибавил он со вздохом. — Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось, одна телка издохла, другую продал: кормиться нечем было; а в прошлый год важная корова пала; пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!

— Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, — сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее: — купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна — я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я зайду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.

— Много довольны вашей милостью, — сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как будто читала молитву.

Молодому барину стало неловко: он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

— Я рад тебе помогать, — сказал он, останавливаясь у колодца: — тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться — и я буду помогать: с божиею помощью, и поправишься.

— Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство, — сказал Чурис, принимая

<sup>1</sup> Порочный круг.

вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться.— Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помер он, да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество.

— Зачем же вы разошлись?

— Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он так же, как и вы, до всего сам доходил — и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведывал Андрей Ильич — не тем будь помянут — человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему проситься раз, другой — нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец, тому делу вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну, да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич, как хотел. «Чтоб было у тебя все», а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже собирать больше стали, а земля меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш — царство небесное — барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было; всякий барин был: и опекун барин, и Ильич барин и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много — ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

## VI

«Юхванка-Мудреный хочет лошадь продать», прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел чрез улицу, ко двору Юхванки-Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего свет-

ло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправлены; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротницам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки-Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панёва, коты, бусы, и вышитая красной бумагой и блестками, четверугольная, щегольская кичка.

Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная, изорванная рубаха и бесцветная панёва, был согнут, так что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темнубурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходил иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые, искривленные ноги, хотя, казалось, через силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

## VII

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом

вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

— Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси, — сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе.

— Дома сын твой? — спросил барин.

Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русский парень, лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой, остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые, набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом, и так же беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

— Здравствуй, Елифан, — сказал он, глядя ему в глаза.

Елифан поклонился, пробормотал: «здравия желаем, васясо», особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обожали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем; потом он торопливо пошел к полатам, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

— Зачем ты одеваешься? — сказал Нехлюдов, садясь на

лавку и, видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

— Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

— Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? — сухо сказал барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы.

— Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику, — отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова: — мы всегда за вашего сяса богу молим...

— Зачем тебе лошадь продать? — повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обжегал избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее «брысь, подлая» и торопливо оборотился к барину. — Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

— А сколько у тебя всех лошадей?

— Три лошади, васясо.

— А жеребят нет?

— Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

## VIII

— Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?

— Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, чтоб, мол, лошадей завтра в поле не пущать: князь смотреть будут, мы и не пуццали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатей и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую соломку; двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову,

стоял утробистый гнедой меренок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

— Так тут все твои лошади?

— Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребеночек, — отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть.

— Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

— А вот енту-с, васясо, — отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

— Он не старый на вид и собой лошадка плотная, — сказал Нехлюдов. — Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она.

— Никак невозможно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая — и зубом и передом, васясо, — отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

— Что за вздор! Поймай, тебе говорят.

Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что ж ты?» бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди.

Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это, да и хотелось, может быть, показать свою ловкость. — Дай сюда оброть! — сказал он.

— Помилуйте! как можно васясу? не извольте...

Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как оказывалось, была очень смиренная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи оброти открыв ей рот, посмотрел в зубы: клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин: стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

— Поди сюда! — крикнул барин с детски раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. — Что, эта лошадь старая?



— Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет... которая лошадь...

— Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать: ему незачем! — сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой. — Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? — продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом: — тебя нарочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадыми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому.

— Мы вашему сясу, — отвечал он: — не хуже других на работу выедем.

— Да на чем же ты выедешь?

— Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим, — отвечал он, нукая на мерина и отгоняя его. — Коли бы не нужны деньги, то стал бы, разве, продавать?

— Зачем же тебе нужны деньги?

— Хлеба нету-ти ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

— Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных еще есть, а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?

— Ели, вашего сяса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, васясо.

— Лошади продавать и думать не смей!

— Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба нету, и продать ничего не смей, — отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина: — значит, с голоду помирать надо.

— Смотри, брат! — закричал Нехлюдов, бледнее и испытывая злобное чувство личности против мужика: — таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет.

— На то воля вашего сяса, — отвечал он, закрывая глаза с притворно покорным выраженьем: — коли я вам не заслужил. А кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему сясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только не знаю, за что я страдать должен.

— А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

— Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают, — смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки. — Про человека все сказать можно.

— Вот ты опять лжешь! Я сам видел...

— Как я смею лгать вашему сиясу!

Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина.

— Послушай, Елифан, — сказал Нехлюдов детски-кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение: — этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

— Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать васшего сяса! — отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика, и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала, как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.

— Вот вам на хлеб, — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию: — только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватила за притолоку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев», значилось в записной книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов, при повороте в переулок, встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издав издали увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

— Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю...

— Где изволили быть, ваше сиятельство? — спросил Яков, защищаясь фуражкой от солнца, но не надевая ее.

— Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед по улице.

— А что, ваше сиятельство? — отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за бариним и, надев фуражку, расправлял усы.

— Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит, и как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.

— Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался...

— И жена его, — перебил барин управляющего: — кажется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета, есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать — я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

— Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, — начал он: — то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и, ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городе на почте жывал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашашлит, пугаешь — он опять в свой разум приходит: и ему хорошо, и в семействе лад; а как вам негодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют...

— Уж это оставь, Яков, — отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь: — про это мы с тобой говорили и переговаривали.

Ты знаешь, как я об этом думаю, и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.

— Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно, — сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего. — А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно, — продолжал он: — оно, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; но ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе, по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорила с снохой, та, может быть, ее и толкнула — бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать, — говорил управляющий с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча большими шагами шел перед ним вверх по улице.

— Домой изволите? — спросил он.

— Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

— Вот тоже, ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним не делал — ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцом? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним не делали и опекун и я: и в стан посылали, и дома наказывали — вот что вы не изволите любить...

— Кого? не-уже-ли старика?

— Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал, так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик, и не курит — не пьет, то есть, — объяснил Яков: — а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрешка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.

— Нет, ступай, — рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно; но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеним и крикнул: «хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный летух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распутив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое — такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако, в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.

Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.

— Эй, кто тут? — крикнул барин.

С печки послышался другой протяжный вздох.

— Кто там? Поди сюда!

Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.

— Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось, показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и, наконец, показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачивать-

ся немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волосы, и тело, и лицо его — все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики, то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, с светлоголубыми, спокойными глазами и с широкой, окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз, и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.

— Ну, как же тебе не совестно, — начал Нехлюдов: — середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голову, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал; но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо — я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.

— Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уж целый месяц лежит и самое свободное время так лежит — а?

Давыдка упорно молчал и не двигался.

— Ну, отвечай же!

Давыдка промышал что-то и моргнул своими белыми ресницами.

— Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна — все от лени. Ты просишь у меня хлеба: ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать, да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? как ты думаешь, чей? Ты отвечай: чей хлеб я тебе дам? — упорно допрашивал Нехлюдов.

— Господский, — пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

— А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? — мужички? так? Так вот видишь ли: уж если раздавать хлеб господский мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех — на тебя и на барщине жалуются — меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно — слышишь, Давыд?

— Слушаю-с, — медленно пропустил он сквозь зубы.

## Х

В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотно на коромысле, и чрез минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой, твердый нос, сжатые, тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных, босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула панёву и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.

— С праздником Христовым, ваше сиятельство, — сказала она: — спаси тебя бог, отец ты наш...

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею.

— Спасибо, Арина, — отвечал Нехлюдов. — Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка-Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса, и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов.

— Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Ведь он и

говорить то не может как человек. Вот он стоит, олух, — продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую, массивную фигуру Давыдки. — Какое мое хозяйство, батюшка, ваше сиятельство? Мы голь; хуже нас во всей слободе у тебя нет: ни на себя, ни на барщину — срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дожидаться парня. Вот и дождался: хлеб лопает, а работы от него, как от прелой, вон той, колоды. Только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, — сказала она, передрознивая его. — Хоть бы ты его, отец, пострашал бы, что ли. Уж я сама прошу: накажи ты его ради господ-бога, в солдаты ли — один конец. Мочи моей с ним не стало — вот что.

— Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? — сказал Нехлюдов, с укоризной обращаясь к мужику.

Давыдка не двигался.

— Ведь добро бы мужик хворый был, — с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина: — а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: коли поднимется, коли передвинется, коли что, — говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами. — Ведь вот нынче, старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать: так нет вот, и лопаты в руки не брал... (На минуту она замолчала.) Загубил он меня, сироту! — взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну. — Гладкая твоя морда лядащая, прости господи! (Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и, с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мочи моей уж нет! Невестка с работы извелась — и мне то же будет.

## XI

— Как извелась? — недоверчиво спросил Нехлюдов.

— С натуги, кормилец, как бог свят, извелась. Взяли мы ее за прошлый год из Бабурина, — продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и пе-



чальное: — ну, баба была молодая, свежая, смиренная, родной. Дома-то у отца, за золовками, в хохле жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала — и на барщину, и дома, и вездe. Она да я — только и было. Мне что? я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть; а всё через силу работала — ну, и надорвалась, сердечная. Летось, Петровками, еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, отец ты мой, работа же спешная подошла — у ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути, да в дело наше мужицкое: где уж рожком выкормишь; ну, известно, бабья глупость, она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выла-выла, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже: так извелась в лето, сердечная, что к Покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! — снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну... — Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство, — продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь.

— Что? — рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом.

— Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

— То есть, ты женить его хочешь? Что ж? это дело!

— Сделай божескую милость; вы наши отцы-матери.

И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину.

— Зачем ты в землю кланяешься? — говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи. — Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста, я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потеряв глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина.

— Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

— Разве она не согласна?

— Нет, кормилец, коли по согласию пойдет!

— Ну так что ж делать? Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

— Э-э-эх, кормилец! да статочное ли дело, глядя на нашу жизнь, да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мыг голь, нищета. Одну, скажут, почитай, что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст?—прибавила она, недоверчиво качая головой: —рассуди, ваше сиятельство.

— Так что ж я могу сделать?

— Обдумай ты нас как-нибудь, родимый, — повторила убедительно Арина: — что ж нам делать?

— Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае.

— Кто ж нас обдумает, коли не ты? — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

— Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить, — сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала, и Давыдка вторил ей. — А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за баринном.

## XII

— О-ох сиротство мое! — сказала Арина, тяжело вздыхая.

Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжело перевалив через порог свою толстую ногу в огромном, грязном лапте, скрылся в противоположной двери.

— Что я с ним буду делать, отец? — продолжала Арина, обращаясь к барину. — Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит — грех напрасно сказать: худого за ним ничего нету, а уж и бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него глядя, какую он муку принимает. Ведь какой ни есть, а моя утроба носила; жалею его, уж как жалею!.. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства что б делал, он мужик боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец, — повторила она, видимо, желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина... — Я, батюшка, ваше сиятельство, — продолжала она доверчивым шопотом: — и так клала и этак прикидывала: ума не приложу, отчего он такой. Не иначе,

как испортили его злые люди. (Она помолчала немного.) Коли найти человека, его излечить можно.

— Какой вздор ты говоришь, Арина! как можно испортить?

— И, отец ты мой, так испортят, что и навек не человеком сделают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть земли из-под следу... или что там... и навек не человеком сделае; долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к Дундуку, старику, что в Воробьевке живет: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спускает; так не пособит ли он? — говорила баба: — може он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество!» думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне. «Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого, невозможно», говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины. «Я не могу видеть его в этом положении, а чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся», подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов. «Сослать на поселенье, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтоб ему было хорошо, или в солдаты? точно: по крайней мере и от него избавлюсь и еще заменю хорошего мужика», рассуждал он.

Он думал об этом с удовольствием: но, вместе с тем, какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой, о чем я думаю», сказал он сам себе: «да, в солдаты, на поселенье. За что? Он хороший человек, лучше многих, да и почему я знаю... Отпустить на волю? — подумал он, рассматривая вопрос не одной стороной ума, как прежде — «несправедливо, да и невозможно». Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его; он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор», сказал он сам себе: «самому наблюдать за ним, и кропотливо, и увещаниями, выбором занятий приучать к работам и исправлять его».

### XIII

«Так и сделаю», — с радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов, и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи, с двумя трубами, стоявшей посредине

деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой, лет сорока, шедшей ему навстречу.

— С праздником, батюшка, — сказала ему, нисколько не робея, баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь.

— Здравствуй, кормилица, — отвечал он, — как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.

— Так-с, батюшка, ваше сиятельство, хорошее дело. А что, к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!

— Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Эта твоя изба?

— Эта самая, батюшка.

И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

— Там жарко; лучше здесь посидим, потолкуем, — отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним:

— Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

— Да хочу, чтоб он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что ж им, так, даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?

— Да что ж? Известно, батюшка, Дутловы люди сильные; во всей вотчине почитай первый мужик, — отвечала кормилица, поматывая головой. — Летось другую связь из своего леса поставил, господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец как с поля гонят, да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их-то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет. Мужик очень сильный, и деньги должны быть.

— А как ты думаешь, много у него денег? — спросил барин.

— Люди говорят, известно по злобе, может, что у старика деньги немалые, ну да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рожей не заняться? Нешто побоятся славу про деньги пустить. Он тоже, годов пять тому, лугами был с Шкаликком дворником в доле, по малости стал заниматься, да обманул, что ли,

его Шкалик-то, так рублей триста пропало у старика; с тех пор и бросил. Да как им исправным не быть, батюшка, ваше сиятельство! — продолжала кормилица: — при трех землях живут, семья большая, всё работники, да и старик-от—что же худо говорить, — сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что дивится народ даже; и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольной женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.

— Что ж они, ладно живут? — спросил барин.

— Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы — известно бабье дело; невестки за печкой полагаются, полагаются, а все под стариком-то и сыновья ладно живут.

Кормилица помолчала немного.

— Теперь старик большего сына, Карпа, слышать, хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал; мое дело около пчел. Ну, Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету!

— Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами — как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей.

— Вряд ли, батюшка, — продолжала кормилица: — старик сыну денег не открывал. Пока сам жив, да деньги у него в доме, значит, все стариков разум орудует; да и они больше извозом занимаются.

— А старик не согласится?

— Побойтся.

— Чего ж он побойтся?

— Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравен случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где же ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.

— Да, от этого... — сказал Нехлюдов, краснея. — Прощай, кормилица.

— Прощайте, батюшка, ваше сиятельство. Покорно благодарим.

#### XIV

«Нейти ли домой?» подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.

Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отвори-

лись перед ним, и красивый, румяный белокурый парень, лет восемнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.

— Что, отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов.

— На осике, за двором, — отвечал парень, проводя, одну за другою, лошадей в полуотворенные ворота.

«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит», подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз; земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротниках, валялись красные волокнистые комья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную, окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

— Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? — сказал он, подходя к барину и, слегка и неловко кланяясь.

— Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно, — сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора с тем, чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.

Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним.

— Вот что, — начал Нехлюдов, заминаясь: — я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?

— Троек пять наберется, жеребятки есть тоже, — развязно отвечал Карп, почесывая спину.

— Что, братья твои на почте ездят?

— Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.

— Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?

— Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности, кормимся с лошадьми — и то слава богу.

— Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанять.

— Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.

— Я вот что хочу вам предложить, чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться. Наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое.

И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял и передумывал, уже не запинаясь стал объяснять мужику свое предположение о мужицкой ферме.

Карп слушал очень внимательно слова барина.

— Мы много довольны вашей милостью, — сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа. — Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.

— Так как ты думаешь?

— Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.

— Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.

— Сюда пожалуйте, — сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.

## XV

Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья, с шумно вьющеюся около них золотистой пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу с стоявшим

на нем фольговым образом, ярко блестящим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темнозеленой, свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую, курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью, виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полый рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко, радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными, частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастьем.

— Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, — сказал старик, снимая с забора пахнущий медом, грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. — Меня пчела знает, не кусает, — прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.

— Так и мне не нужно. Что, роится уж? — спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.

— Коли роится, батюшка Митрий Миколаич, — отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству: — вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.

— А вот я читал в книжке, — начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом: — что коли вошина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с перекладинами...

— Вы не извольте махать, она хуже, — сказал старичок: — а то сетку не прикажете ли подать?

Нехлюдову было больно; но по какому-то детскому само-



любию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique»<sup>1</sup>, и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в середине рассуждения.

— Оно точно, батюшка Митрий Миколаич, — сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина: — точно в книжке пишут. Да, может, это так дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вошину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть, — прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вошинам: — вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вошину она и прямо и в бок ведет, как ей по колодке лучше, — говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина: — вот нынче она с калошкой идет, нынче день теплый, все видать, — прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его; но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника: пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.

— А много у тебя колодок? — спросил он, отступая к калитке.

— Чтò бог дал, — отвечал Дутлов посмеиваясь: — считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, — продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора, — об Осипе; кормилицином муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне, так дурно делать по соседству, нехорошо.

— Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! — отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.

— Да вот чтò ни год, свою пчелу на моих молодых напускает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вошину повытаскает да и подсекает, — говорил старик, не замечая ужимок барина.

— Хорошо, после, сейчас... — проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.

---

<sup>1</sup> Ферма.

— Землей потереть: оно ничего, — сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потерял землю то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.

## XVI

— Чтò я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство, — сказал старик, как будто, или действительно, не замечая грозного вида барина.

— Чтò?

— Да вот лошадами, слава-те господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

— Так чтò ж?

— Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.

— Куда ж они пойдут?

— Да как придется, — вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. — Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились, да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, — сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. — Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

— Когда не выгоднее, ваше сиятельство! — опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами: — дома-то лошадей кормить нёчем.

— Ну, а сколько ты в лето выработаешь?

— Да вот с весны, на чтò корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублей денег привез.

— Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было, — сказал барин, снова обращаясь к старику: — но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может, — прибавил он, повторяя слова Карпа.

— Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? — возразил старик с своей кроткой улыбкой. — Съездишь хорошо — и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баблства, так они у меня, слава-ти господи, не первый год

ездят, да и сам я ездил, и дурного ни от кого не видал, кроме доброго.

— Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей, и лугами...

— Как можно, ваше сиятельство! — подхватил Илюшка с одушевлением: — уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!

— А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новосельи еще не изволили быть, — сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побегал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.

## XVII

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил:

— Чем вас просить, ваше сиятельство?

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым, задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.

Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку:

— Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, — сказал он и покраснел еще больше.

Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.

«Однако, чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь, — подумал Нехлюдов: — отчего ж мне не сделать

предложение о ферме? Какая глупость!» — Однако он всё молчал.

— Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете? — сказал старик.

— Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу, — вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. — Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рошу в казенном лесу, да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

— Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? — перебил он барина.

— Да ведь небольшую рошу, рублей в двести, — заметил Нехлюдов.

Старик сердито усмехнулся.

— Хорошо, кабы были, отчего бы не купить, — сказал он.

— Разве у тебя уж этих денег нет? — с упреком сказал барин.

— Ох, батюшка ваше сиятельство! — отвечал, с грустью в голосе, старик, оглядываясь к двери: — только бы семью прскормить, а уж нам не роши покупать.

— Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? — настаивал Нехлюдов.

Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его за-сверкали, плечи стало подергивать.

— Может злые люди про меня сказали, — заговорил он дрожащим голосом: — так, верите богу, — говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе: — что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, кроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо — вы сами изволите знать: избу поставили...

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал барин, вставая с лавки. — Прощайте, хозяева.

## XVIII

«Боже мой! боже мой!» думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге: «не-уже-ли вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой; тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он

с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.

Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы, долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило не то и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило не то и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением — мысль, что любовь и добро есть истина и счастье, и одна истина и одно возможное счастье в мире. Высшее чувство не говорило не то; он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так!» говорил он себе, с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину. «Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил», говорил он сам себе: «любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастье!» твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещицкой жизни живо рисовалась пред ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро, и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность — у него есть крестьяне... И какой отрадней и благодарней труд представ-

ляется ему — «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастья, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как, с каждым днем, я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»

«И кроме этого, — в то же время думал он: — кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастье семейной жизни? — И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность. — Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, с старухой-теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу итти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости, не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает. Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на Провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю и крепко обнимаю ее и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо-краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы».

## XIX

«Где эти мечты? — думал теперь юноша, после своих посещениях подходя к дому: — вот уж больше года, что я ищу счастья на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что?»

Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжелее и тяжелее. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни», — подумал он, и ему почему-то вспомнилось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде, представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещицкой жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и, несомненно, вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире — к славе.

«Он уж идет и быстро идет по этой дороге, — подумал Нехлюдов про своего друга: — а я...»

Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.

Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый, с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуюсь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не ра-

ботала; тут была и эта Большая баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу...

Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

## XX

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный, желтенький открытый английский рояль с истертыми, погнувшимися узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой, позодоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.

— Что завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.

— Нет, не хочется, няня, — сказал он и снова задумался.

Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:

— Эх, батюшка, Дмитрий Николаич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет — сй-богу...

— Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Финогеновна? — отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.

— Да как не скучать, разве я не вижу? — с жаром начала говорить няня: — день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям, а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду, — продолжала няня, садясь около двери: — ведь такую повадку дали, что уж никто не боится.



Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет; только себя губишь да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала... — усовещевала его няня.

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колене, вяло дотрокулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда не подготовлены, даже несовсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это занятие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и, когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего не доставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор, и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительной ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки-Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного, жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо; то он видит добрые, голубые глаза Чурисы, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это», думает он и шепчет «странно!», продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят

на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими, узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это, любезное для него дело; и он видит серое, раннее туманное утро, подсклизлую шоссеиную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие, сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными шипами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.

— А-а-ай!—громко ребяческим голосом кричит передовой ящик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который, под рогожей передка, славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого двора тройками скрипят тесовые ворота, и, один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы, под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: «Издамече ли? и много ли ужинать будут?» с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими, сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крепится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сряду перекрестив свою широкую сильную грудь и встряхнув светлыми

кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи помилуй», и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами — и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

— Славно! — шепчет себе Нехлюдов, и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему.

1852—1856

## ИЗ ЗАПИСОК КНЯЗЯ Д. НЕХЛЮДОВА

ЛЮЦЕРН

8 июля.

Вчера вечером я приехал в Люцерн и остановился в лучшей здешней гостинице, Швейцергофе.

«Люцерн, старинный кантональный город, лежащий на берегу озера четырех кантонов, — говорит Миггау, — одно из самых романтических местоположений Швейцарии; в нем скрещиваются три главные дороги; и только на час езды на пароходе находится гора Риги, с которой открывается один из самых великолепных видов в мире».

Справедливо или нет, другие гиды говорят то же, и потому путешественников всех наций, и в особенности англичан, в Люцерне — бездна.

Великолепный, пятиэтажный дом Швейцергофа построен недавно на набережной, над самым озером, на том самом месте, где в старину был деревянный, крытый, извилистый мост, с часовнями на углах и образами на стропилах. Теперь, благодаря огромному наезду англичан, их потребностям, их вкусу и их деньгам, старый мост сломали и на его месте сделали цокольную, прямую, как палка, набережную; на набережной построили прямые четвероугольные пятиэтажные дома; а перед домами в два ряда посадили липки, поставили подпорки, а между липками, как водится, зеленые лавочки. Это — гулянье; и тут взад и вперед ходят англичанки в швейцарских соломенных шляпах и англичане в прочных и

удобных одеждах и радуются своему произведению. Может быть, что эти набережные и дома, и липки, и англичане — очень хороши где-нибудь, но только не здесь, среди этой странно величавой и вместе с тем невыразимо гармонической и мягкой природы.

Когда я вошел наверх в свою комнату и отворил окно на озеро, красота этой воды, этих гор и этого неба в первое мгновение буквально ослепила и потрясла меня. Я почувствовал внутреннее беспокойство и потребность выразить как-нибудь избыток чего-то, вдруг переполнившего мою душу. Мне захотелось в эту минуту обнять кого-нибудь, крепко обнять, защекотать, ущипнуть его, вообще сделать с ним и с собой что-нибудь необыкновенное.

Был седьмой час вечера. Целый день шел дождь, и теперь разгуливалось. Голубое, как горящая сера, озеро, с точками лодок и их пропадающими следами, неподвижно, гладко, как будто выпукло расстилалось перед окнами между разнообразными зелеными берегами, уходило вперед, сжимаясь между двумя громадными уступами, и, темнея, упиралось и исчезало в нагроможденных друг на друге долинах, горах, облаках и льдинах. На первом плане мокрые светлозеленые разбегающиеся берега с тростником, лугами, садами и дачами; далее темнозеленые поросшие уступы с развалинами замков; на дне скомканная белолиловая горная даль с причудливыми скалистыми и бело-матовыми снеговыми вершинами; и все залитое нежной, прозрачной лазурью воздуха и освещенное прорвавшимся с разорванного неба жаркими лучами заката. Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий. и во всем сплывающее, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки, — бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрепятственно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом; но набережная с гуляющими англичанами оставалась на месте, и я невольно старался найти точку зрения, с которой бы мне ее было не видно. Я выучился смотреть так и до обеда один сам с собою наслаждался тем неполным,

но тем слаще томительным чувством, которое испытываешь при одиноком созерцании красоты природы.

В половине восьмого меня позвали обедать. В большой великолепно убранной комнате, в нижнем этаже, были накрыты два длинные стола, по крайней мере, человек на сто. Минуты три продолжалось молчаливое движение сбора гостей: шуршанье женских платьев, легкие шаги, тихие переговоры с учтивейшими и изящнейшими кельнерами; и все приборы были заняты мужчинами и дамами, весьма красиво, даже богато и вообще необыкновенно чисто и плотно одетыми. Как вообще в Швейцарии, большая часть гостей — англичане, и потому главные черты общего стола — строгое, законом признанное приличие, несообщительность, основанные не на гордости, но на отсутствии потребности сближения, и одинокое довольство в удобном и приятном удовлетворении своих потребностей. Со всех сторон блещут белейшие кружева, белейшие воротнички, белейшие настоящие и вставные зубы, белейшие лица и руки. Но лица, из которых многие очень красивы, выражают только сознание собственного благосостояния и совершенное отсутствие внимания ко всему окружающему, что не прямо относится к собственной особе, и белейшие руки с перстнями и в митенях движутся только для поправления воротничков, разрезывания говядины и наливания вина в стаканы: никакое душевное волнение не отражается в их движениях. Семейства изредка тихим голосом перекидываются словами о приятном вкусе такого-то кушанья или вина и красивом виде с горы Риги. Одинокие путешественники и путешественницы одиноко, молча, сидят рядом, даже не глядя друг на друга. Если изредка из этих ста человек два разговаривают между собою, то, наверно, о погоде и восхождении на гору Риги. Ножи и вилки чуть слышно двигаются по тарелкам, кушанье берется понемногу, горошек и овощи едятся непременно вилок; кельнеры, невольно подчиняясь общей молчаливости, шопотом спрашивают о том, какого вина прикажете? На таких обедах мне всегда становится тяжело, неприятно и под конец грустно. Мне все кажется, что я виноват в чем-нибудь, что я наказан, как в детстве, когда за шалость меня сажали на стул и иронически говорили: «отдохни, мой любезный!», в то время как в жилах бьется молодая кровь и в другой комнате слышны веселые крики братьев. Я прежде старался взбунтоваться против этого чувства подавленности, которое испытывал на таких обедах, но тщетно; все эти мертвые лица имеют на меня неотразимое влияние, и я становлюсь таким же мертвым. Я ничего не хочу, не думаю, даже не наблюдаю

даю. Сначала я пробовал заговаривать с соседями; но, кроме фраз, которые, очевидно, повторялись в стотысячный раз на том же месте и в стотысячный раз тем же лицом, я не получал других ответов. И ведь все эти люди не глупые же и не бесчувственные, а наверное, у многих из этих замерзших людей происходит такая же внутренняя жизнь, как и во мне, у многих и гораздо сложнее и интереснее. Так зачем же они лишают себя одного из лучших удовольствий жизни, наслаждения друг другом, наслаждения человеком?

То ли дело бывало в нашем парижском пансионе, где мы, двадцать человек самых разнообразных наций, профессий и характеров, под влиянием французской общительности, сходились к общему столу, как на забаву. Там сейчас же, с одного конца стола на другой, разговор, пересыпанный шуточками и каламбурами, хотя часто и на ломаном языке, становился общим. Там всякий, не заботясь о том, как выйдет, болтал, что пришло в голову; там у нас были свой философ, свой спорщик, свой *bel esprit*<sup>1</sup>, свой пластрон, все было общее. Там, тотчас после обеда, мы отодвигали стол и в такт ли, не в такт ли принимались по пыльному ковру танцевать *la polka*<sup>2</sup> до самого вечера. Там мы были хоть и кокетливые, не очень умные и почтенные люди, но мы были люди. И испанская графиня с романическими приключениями, и итальянский аббат, декламировавший Божественную Комедию после обеда, и американский доктор, имевший вход в Тюльери, и юный драматург с длинными волосами, и пьянистка, сочинившая, по собственным словам, лучшую польку в мире, и несчастная красавица-вдова с тремя перстнями на каждом пальце,—мы все по-человечески, хотя поверхностно, но приятно относились друг к другу и унесли друг от друга кто легкие, а кто искренние сердечные воспоминания. За английскими же *table-d'hôt*'ами<sup>3</sup> я часто думаю, глядя на все эти кружева, ленты, перстни, помаженные волосы и шелковые платья, сколько бы живых женщин были счастливы и сделали бы других счастливыми этими нарядами. Странно подумать, сколько тут друзей и любовников, самых счастливых друзей и любовников, сидят рядом, может быть, не зная этого. И бог знает, отчего никогда не узнают этого и никогда не дадут друг другу того счастья, которое так легко могут дать и которого им так хочется.

Мне сделалось грустно, как всегда после таких обедов, и,

---

<sup>1</sup> Остроумец.

<sup>2</sup> Польку.

<sup>3</sup> Общими обедами.

не доев десерта, в самом невеселом расположении духа я пошел шляться по городу. Узенькие, грязные улицы без освещения, запираемые лавки, встречи с пьяными работниками и женщинами, идущими за водой, или в шляпках, по стенам, оглядываясь, шмыгающими по переулкам, не только не разогнали, но еще усилили мое грустное расположение духа. В улицах уж было совсем темно, когда я, не оглядываясь кругом себя, без всякой мысли в голое, пошел к дому, надеясь сном избавиться от мрачного настроения духа. Мне становилось ужасно душевно холодно, одиноко и тяжко, как это случается иногда без видимой причины при переездах на новое место.

Я, глядя только себе под ноги, шел по набережной к Швейцаргофу, как вдруг меня поразили звуки странной, но чрезвычайно приятной и милой музыки. Эти звуки мгновенно живоительно подействовали на меня. Как будто яркий веселый свет проник в мою душу. Мне стало хорошо, весело. Занувшее внимание мое снова устремилось на все окружающие предметы. И красота ночи и озера, к которым я прежде был равнодушен, вдруг, как новость, отрадно поразили меня. Я невольно в одно мгновение успел заметить и пасмурное, серыми кусками на темной синеве, небо, освещенное поднимающимся месяцем, и темнозеленое гладкое озеро с отражающимися в нем огоньками, и вдали мгlistые горы, и крики лягушек из Фрешенбурга, и росистый свежий свист перепелов с того берега. Прямо же передо мной, с того места, с которого слышались звуки и на которое преимущественно было устремлено мое внимание, я увидел в полумраке на середине улицы полукругом стеснившуюся толпу народа, а перед толпой, в некотором расстоянии, крошечного человека в черной одежде. Сзади толпы и человечка, на темном сером и синем разорванном небе, стройно отделялось несколько черных раин сада и величаво возвышались по обеим сторонам старинного собора два строгие шпица башен.

Я подходил ближе, звуки становились яснее. Я разобрал ясно дальние, сладко колеблющиеся в вечернем воздухе полные аккорды гитары и несколько голосов, которые, перебивая друг друга, не пели тему, а кое-где, выпевая самые выступающие места, давали ее чувствовать. Тема была что-то в роде милой и грациозной мазурки. Голоса казались то близки, то далеки, то слышался тенор, то бас, то горловая фистула с воркующими тирольскими переливами. Это была не песня, а легкий мастерской эскиз песни. Я не мог понять, что это такое; но это было прекрасно. Эти сладострастные слабые аккорды гитары, эта милая, легкая мелодия и эта

одинокая фигурка черного человечка среди фантастической обстановки темного озера, просвечивающей луны и молчаливо возвышающихся двух громадных шпицев башен и черных раиш сада, — все было странно, но невыразимо прекрасно, или показалось мне таким.

Все спутанные, невольные впечатления жизни вдруг получили для меня значение и прелесть. В душе моей как будто распустился свежий благоухающий цветок. Вместо усталости, рассеянья, равнодушия ко всему на свете, которые я испытывал за минуту перед этим, я вдруг почувствовал потребность любви, полноту надежды и беспричинную радость жизни. Чего хотеть, чего желать? сказалось мне невольно, вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо...

Я подошел ближе. Маленький человечек был, как казалось, странствующий тиролец. Он стоял перед окнами гостиницы, выставив ножку, закинув кверху голову, и, бренча на гитаре, пел на разные голоса свою грациозную песню. Я тотчас же почувствовал нежность к этому человеку и благодарность за тот переворот, который он произвел во мне. Певец, сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький черный сюртук, волоса у него были черные, короткие и на голове была самая мещанская простая старенькая фуражка. В одежде его ничего не было артистического, но лихая, детски веселая поза и движения, с его крошечным ростом составляли трогательное и вместе забавное зрелище. В подъезде, окнах и балконах великолепно освещенной гостиницы стояли блестящие наряды, широкоюбные барыни, господа с белейшими воротниками, швейцар и лакей в золотошитых ливреях, на улице, в полукруге толпы и дальше по бульвару, между липками, собрались и остановились изящно одетые кельнеры, повара в белейших колпаках и куртках, обнявшиеся девицы и гуляющие. Все, казалось, испытывали то же самое чувство, которое испытывал и я. Все молча стояли вокруг певца и внимательно слушали. Все было тихо, только в промежутках песни, где-то вдалеке, равномерно по воде, долетал звук молота, и из Фрешенбурга рассыпчатой трелью неслись голоса лягушек, перебиваемые влажным, однозвучным свистом перепелов.

Маленький человечек в темноте среди улицы заливался, как соловей, куплет за куплетом и песня за песней. Несмотря на то, что я подошел вплоть к нему, его пенье продолжало доставлять мне большое удовольствие. Небольшой голос его был чрезвычайно приятен, нежность же, вкус и чувство меры, с которыми он владел этим голосом, были необычно-



венны и показывали в нем огромное природное дарование. Припев каждого куплета он всякий раз пел различно и видно было, что все эти грациозные изменения свободно, мгновенно приходили ему.

В толпе и наверху в Швейцергофе, и внизу на бульваре слышался часто одобрительный шопот и царствовало почти-тельное молчание. На балконах и в окнах все более и более прибавлялось нарядных, живописно в свете огней дома облокотившихся мужчин и женщин. Гуляющие останавливались, и в тени на набережной повсюду кучками около липок стояли мужчины и женщины. Около меня, куря сигары, стояли, несколько отделившись от всей толпы, аристократический лакей и повар. Повар сильно чувствовал прелесть музыки и при каждой высокой фистульной ноте восторженно недоумевающе подмигивал всей головой лакею и толкал его локтем с выражением, говорившим: каково поет, а? Лакей, по распутившейся улыбке которого я замечал все им испытываемое удовольствие, на толчки повара отвечал пожиманием плеч, показывавшим, что его удивить довольно трудно и что он слышал многое получше этого.

В промежутке песни, когда певец прокашливался, я спросил у лакея, кто он такой и часто ли сюда приходит.

— Да в лето раза два приходит, — отвечал лакей, — он из Арговии. Так, нищенствует.

— А что, много их таких ходит? — спросил я.

— Да, да — отвечал лакей, не поняв сразу того, о чем я спрашивал, но, разобрав уж потом мой вопрос, прибавил: — о нет! Здесь я только одного его выдаю. Больше нету.

В это время маленький человечек кончил первую песню, бойко перевернул гитару и сказал что-то про себя на своем нсмецком *ratois*<sup>1</sup>, чего я не мог понять, но что произвело хохот в окружающей толпе.

— Что это он говорит? — спросил я.

— Говорит, что горло пересохло, выпил бы вина, — перевел мне лакей, стоявший подле меня.

— А что, он верно любит пить?

— Да эти все люди такие, — отвечал лакей, улыбнувшись и махнув на него рукою.

Певец снял фуражку и, размахнув гитарой, приблизился к дому. Закинув голову, он обратился к господам, стоявшим у окон и на балконах: «*Messieurs et mesdames*, — сказал он полуитальянским, полунемецким акцентом и с теми интонациями, с которыми фокусники обращаются к публике, —

<sup>1</sup> Местное провинциальное наречие.

si vous croyez, que je gagne quelque chose, vous vous trompez; je ne suis qu'un baveux tiaple»<sup>1</sup>. Он остановился, помолчал немного; но так как никто ему ничего не дал, он снова вскинул гитару и сказал: «A présent, messieurs et mesdames, je vous chanterai l'air du Righi»<sup>2</sup>. Наверху публика молчала, но продолжала стоять в ожидании следующей песни, внизу в толпе засмеялись, должно быть, тому, что он так странно выражался, и тому, что ему ничего не дали. Я дал ему несколько сантимов, он ловко перекинул их из руки в руку, засунул в карман жилета и, надев фуражку, снова начал петь грациозную милую тирольскую песенку, которую он называл l'air du Righi. Эта песня, которую он оставлял для заключения, была еще лучше всех прежних, и со всех сторон в увеличившейся толпе слышались звуки одобрения. Он кончил. Снова он размахнул гитарой, снял фуражку, выставил ее вперед себя, на два шага приблизился к окнам и снова сказал свою непонятную фразу: «Messieurs et mesdames, si vous croyez, que je gagne quelque chose», которую он, видно, считал очень ловкой и остроумной, но в голосе и движениях его я заметил теперь некоторую нерешительность и детскую робость, которые были особенно поразительны с его маленьким ростом. Элегантная публика все так же живописно в свете огней стояла на балконах и в окнах, блестя богатыми одеждами; некоторые умеренно-приличным голосом разговаривали между собой, очевидно, про певца, который с вытянутой рукой стоял перед ними, другие внимательно, с любопытством смотрели вниз на эту маленькую черную фигурку, на одном балконе послышался звучный и веселый смех молодой девушки. В толпе внизу громче и громче слышался говор и посмеиванье. Певец в третий раз повторил свою фразу, но еще слабейшим голосом, и даже не закончил ее, и снова вытянул руку с фуражкой, но тотчас же и опустил ее. И во второй раз из этих сотни блестяще одетых людей, столпившихся слушать его, ни один не бросил ему копейки. Толпа безжалостно захохотала. Маленький певец, как мне показалось, сделался еще меньше, взял в другую руку гитару, поднял над головой фуражку и сказал: «Messieurs et mesdames, je vous remercie et je vous souhaite une bonne nuit»<sup>3</sup>, и надел фуражку. Толпа

<sup>1</sup> «Милостивые государи и государыни, ежели вы думаете, что я что-нибудь зарабатываю, то вы ошибаетесь; я бедный малый».

<sup>2</sup> «Теперь, милостивые государи и государыни, я спою вам песенку Риги».

<sup>3</sup> «Милостивые государи и государыни, благодарю вас и желаю вам спокойной ночи».

заготала от радостного смеха. С балконов стали понемногу скрываться красивые мужчины и дамы, спокойно разговаривая между собою. На бульваре снова возобновилось гулянье. Молчаливая во время пения, улица снова оживилась, несколько человек только, не подходя к нему, смотрели изда- лека на певца и смеялись. Я слышал, как маленький человек что-то проговорил себе под нос, повернулся и, как будто сделавшись еще меньше, скорыми шагами пошел к городу. Веселые гуляки, смотревшие на него, все так же в некотором расстоянии следовали за ним и смеялись...

Я совсем растерялся, не понимал, что это все значит, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в темноту на удалявшегося крошечного человека, который, растягивая большие шаги, быстро шел к городу, и на смеющихся гуляк, которые следовали за ним. Мне сделалось больно, горько и главное стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто бы я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись. Я, тоже не оглядываясь, с заземленным сердцем, скорыми шагами пошел к себе домой на крыльцо Швейцергофа. Я не отдавал себе еще отчета в том, что испытывал; только что-то тяжелое, неразрешившееся, наполняло мне душу и давило меня.

На великолепном, освещенном подъезде мне встретился учтиво сторонившийся швейцар и английское семейство. Плотный, красивый и высокий мужчина с черными английскими бакенбардами, в черной шляпе и с плодом на руке, в которой он держал богатую трость, лениво, самоуверенно шел под руку с дамой, в диком шелковом платье, в чепце с блестящими лентами и прелестнейших кружевах. Рядом с ними шла хорошенькая, свеженькая барышня, в грациозной швейцарской шляпе с пером, à la mousquetaire, из-под которой вокруг ее беленького личика падали мягкие, длинные, светлорусые букли. Впереди подпрыгивала десятилетняя румяная девочка, с полными, белыми коленками, видневшимися из-под тончайших кружев.

— Прелестная ночь, — сказала дама сладким, счастливым голосом, в то время, как я проходил.

— Оhe! — промышчал лениво англичанин, которому, видимо, было так хорошо жить на свете, что и говорить не хотелось. И всем им, казалось, так было спокойно, удобно, чисто и легко жить на свете, такое в их движениях и лицах выражалось равнодушие ко всякой чужой жизни, и такая уверенность в том, что швейцар им посторонится и поклонится, и что, воротясь, они найдут чистую, покойную постель и комнаты, и что все это должно быть, и что на все это имеют

полное право, — что я вдруг невольно противопоставил им странствующего певца, который, усталый, может быть, голодный, с стыдом убежал теперь от смеющейся толпы, — понял, что таким тяжелым камнем давило мне сердце, и почувствовал невыразимую злобу на этих людей. Я два раза прошел туда, и назад мимо англичанина, с невыразимым наслаждением оба раза, не сторонясь ему, толкнул его локтем и, спустившись с подъезда, побежал в темноте по направлению к городу, куда скрылся маленький человек.

Догнав трех человек, шедших вместе, я спросил у них, где певец; они, смеясь, указали мне его впереди. Он шел один, скорыми шагами, никто не приближался к нему, он все что-то, как мне показалось, сердито бормотал себе под нос. Я поровнялся с ним и предложил ему пойти куда-нибудь вместе выпить бутылку вина. Он шел все так же скоро и недовольно оглянулся на меня; но, разобрав, в чем дело, остановился.

— Что ж, я не откажусь, ежели вы так добры, — сказал он. — Вот тут есть маленький кафе, туда зайти можно — простенькое, — прибавил он, указывая на расписную лавочку, которая была еще отворена.

Его слово: простенькое, невольно навело меня на мысль не идти в простенькое кафе, а идти в Швейцергоф, туда, где были те, которые слушали его. Несмотря на то, что он с робким волнением несколько раз отказывался от Швейцергофа, говоря, что там слишком парадно, я настоял на своем, и он, притворяясь уже, что нисколько не смущен, весело размахивая гитарой, пошел со мной назад по набережной. Несколько праздных гуляк, как только я подошел к певцу, подвинулись, прислушались к тому, что я говорил, и теперь, рассуждая между собой, пошли за нами до самого подъезда, ожидая верно от тирольца еще какого-нибудь представления.

Я спросил бутылку вина у кельнера, который встретился мне в сенях. Кельнер, улыбаясь, посмотрел на нас и, ничего не ответив, пробежал мимо. Старший кельнер, к которому я обратился с той же просьбой, серьезно выслушал меня и, оглядев с ног до головы робкую, маленькую фигуру певца, строго сказал швейцару, чтоб нас провели в залу налево. Зала налево была расписная комната для простого народа. В углу этой комнаты горбатая служанка мыла посуду, и вся мебель состояла в деревянных годях столах и лавках. Кельнер, который пришел служить нам, поглядывая на нас с кроткой насмешливой улыбкой и засунув руки в карманы, переговаривался о чем-то с горбатой судомойкой. Он, видимо, старался дать нам заметить, что, чувствуя себя по обществен-

ному положению и достоинствам неизмеримо выше певца, ему не только не обидно, но истинно забавно служить нам.

— Простого вина прикажете? — сказал он с знающим видом, подмигивая мне на моего собеседника и из руки в руку перекидывая салфетку.

— Шампанского и самого лучшего, — сказал я, стараясь принять самый гордый и величественный вид. Но ни шампанское, ни мой будто бы гордый и величественный вид не подействовали на лакея; он усмехнулся, постоял немножко, глядя на нас, не торопясь посмотрел на золотые часы и тихими шагами, как бы прогуливаясь, вышел из комнаты. Скоро он возвратился с вином и еще двумя лакеями. Два из них сели около судомойки и с веселою внимательностью и кроткой улыбкой на лицах любовались на нас, как любят родители на милых детей, когда они мило играют. Одна только горбатая судомойка, казалось, не насмешливо, а с участием смотрела на нас. Хотя мне было и очень тяжело и неловко под огнем этих лакейских глаз беседовать с певцом и угощать его, я старался делать свое дело сколь возможно независимо. При огне я его рассмотрел лучше. Это был крошечный, пропорционально сложенный, жилистый человек, почти карлик, с щетинистыми черными волосами, всегда плачущими большими черными глазами, лишенными ресниц, и чрезвычайно приятным, умильно сложенным ротиком. У него были маленькие бакенбарды, волосы были недлинные, одежда была самая простая и бедная. Он был нечист, оборван, загорел и вообще имел вид трудового человека. Он скорей был похож на бедного торговца, чем на артиста. Только в постоянно влажных, блестящих глазах и собранном ротике было что-то оригинальное и трогательное. На вид ему можно было дать от двадцати пяти до сорока лет; действительно же ему было тридцать восемь.

Вот что он с добродушною готовностью и очевидною искренностью рассказал про свою жизнь. Он из Арговии. В детстве еще он потерял отца и мать, других родных у него нет. Состояния он никогда не имел никакого. Он обучался столярному мастерству, но двадцать два года тому назад у него сделался костоед в руке, лишивший его возможности работать. Он с детства имел охоту к пенью и стал петь. Иностранцы давали ему изредка деньги. Он сделал из этого профессию, купил гитару, и вот восемнадцатый год странствует по Швейцарии и Италии, распевая перед гостиницами. Весь его багаж — гитара и кошелек, в котором у него теперь было только полтора франка, которые он должен проспать и проесть нынче же вечером. Он каждый год, уж восемнадцать

раз, проходит все лучшие, наиболее посещаемые места Швейцарии: Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Шамуни и т. д.; через St.-Bernard приходит в Италию и возвращается через St.-Gotard или через Савойю. Теперь ему тяжело становится ходить, потому что от простуды он чувствует, что боль в ногах, которую он называет глидерзухт, с каждым годом усиливается и что глаза и голос его становятся слабее. Несмотря на это, он теперь отправляется в Интерлакен, Aix-les-Bains и, через малый St.-Bernard, в Италию, которую он особенно любит; вообще, как кажется, он очень доволен своей жизнью. Когда я спросил у него, зачем он возвращается домой, есть ли у него там родные или дом и земля, рстик его, как будто на сборках, собрался в веселую улыбочку, и он отвечал мне: — Oui, le sucre est bon, il est doux pour les enfants! <sup>1</sup> — и подмигнул на лакеев.

Я ничего не понял, нэ в лакейской группе засмеялись.

— Ничего нет, а то разве я бы стал ходить так, — объяснил он мне, — а прихожу домой, потому что все-таки как-то тянет к себе на родину.

И он еще раз с хитро-самодовольной улыбкой повторил фразу: «oui, le sucre est bon», и добродушно рассмеялся. Лакеи очень были довольны и хохотали, одна горбатая судомойка большими, добрыми глазами серьезно смотрела на маленького человечка и подняла ему шапку, которую он, во время разговора, уронил с лавки. Я замечал, что странствующие певцы, акробаты, даже фокусники любят называть себя артистами, и потому несколько раз намекал своему собеседнику на то, что он артист, но он вовсе не признавал за собой этого качества, а весьма просто, как на средство к жизни, смотрел на свое дело. Когда я спросил его, не сам ли он сочиняет песни, которые поет, он удивился таком странному вопросу и отвечал, что куда ему, это все старинные тирольские песни.

— А как же песня Риги, я думаю, не старинная? — сказал я.

— Да, это лет пятнадцать тому назад сочинена. Был один немец в Базеле, умнейший был человек, это он сочинил ее. Отличная песня! Это, видите, он для путешественников сочинил.

И он начал мне, переводя по-французски, рассказывать слова песни Риги, которая, видно, ему очень нравилась:

Коли хочешь итти на Риги,  
До Вегиса не нужно башмаков

<sup>1</sup> Да, сахар хорош, он приятен для детей!

(Потому что на пароходе едут),  
А от Вегиса возьми большую палку,  
Да еще под руку возьми девицу,  
Да зайди выпить стаканчик вина.  
Только пей не слишком много,  
Потому что тот, кто хочет пить,  
Должен заслужить прежде...

— О, отличная песня! — заключил он.

Лакеи находили, вероятно, эту песню весьма хррошей, поэтому что приблизились к нам.

— Ну, а музыку кто же сочинял? — спросил я.

— Да никто, это так, знаете, чтобы петь для иностранцев, надо что-нибудь новенькое.

Когда нам принесли льду, и я налил моему собеседнику стакан шампанского, ему, видимо, стало неловко, и он, оглядываясь на лакеев, поворачивался на своей лавке. Мы чокнулись за здоровьем артистов; он отпил полстакана и нашел нужным задуматься и глубококомысленно повести бровями.

— Давно я не пил такого вина, je ne vous dis que ça<sup>1</sup>. В Италии вино d'Asti хорошо, но это еще лучше. Ах, Италия! славно там быть! — прибавил он.

— Да, там умеют ценить музыку и артистов, — сказал я, желая навести его на вечернюю неудачу перед Швейцергофом.

— Нет, — отвечал он, — там насчет музыки я никому не могу удовольствия доставить. Итальянцы сами музыканты, каких нет на всем свете; но я только насчет тирольских песен. Это им все-таки новость.

— Что ж, там щедрее господа? — продолжал я, желая его заставить разделить мою злобу на обитателей Швейцергофа. — Там не случится так, как здесь, чтобы из огромного отеля, где богачи живут, сто человек бы слушали артиста и ничего бы ему не дали...

Мой вопрос действовал совсем не так, как я ожидал. Он и не думал негодовать на них; напротив, в моем замечании он видел упрек своему таланту, который не вызвал награды, и старался оправдаться передо мной.

— Не всякий раз много получишь, — отвечал он. — Иногда и голос пропадет, устанешь, ведь я нынче девять часов прошел и пел целый день почти. Оно трудно. А важные господа аристократы, им иногда и не хочется слушать тирольские песни.

— Все-таки, как же ничего не дать? — повторил я.

Он не понял моего замечания.

<sup>1</sup> Я только это скажу вам.

— Не то, — сказал он: — а здесь главное *on est très serré pour la police*<sup>1</sup>, вот что. Здесь, по этим республиканским законам, вам не позволяют петь, а в Италии вы можете ходить, сколько хотите, никто вам слова не скажет. Здесь ежели захотят вам позволить, то позволят, а не захотят, то вас в тюрьму посадить могут.

— Как, неужели?

— Да. Ежели вам раз заметят, а вы будете еще петь, вас могут в тюрьму посадить. Я уж просидел три месяца, — сказал он, улыбаясь, как будто это было одно из самых приятных его воспоминаний.

— Ах, это ужасно! — сказал я. — За что же?

— Это так у них по новым законам республики, — продолжал он, одушевляясь. — Они этого не хотят рассудить, что надо, чтобы и бедняк жил как-нибудь. Ежели бы я был не калека, я бы работал. А что я пою, так разве я кому-нибудь вред этим делаю. Что же это такое! богатым жить можно, как хотят, а *un pauvre tîaple*<sup>2</sup> как я, уж и жить не может. Что ж это за законы республики? Коли так, то мы не хотим республики, не так ли, милостивый государь? мы не хотим республики, а мы хотим... мы хотим просто... мы хотим... — он замялся немного, — мы хотим натуральные законы.

Я подлил ему еще в стакан.

— Вы не пьете, — сказал я ему.

Он взял в руку стакан и поклонился мне.

— Я знаю, что вы хотите, — сказал он, прищуривая глаз и грозя мне пальцем: — вы хотите подпойть меня, посмотреть, что из меня будет; но нет, это вам не удастся.

— Зачем же мне вас напоить, — сказал я: — я только желал бы вам сделать удовольствие.

Ему, верно, жалко стало, что он обидел меня, дурно сбъяснив мое намерение, он смутился, привстал и пожал меня за локоть.

— Нет, нет, — сказал он, с умоляющим выражением глядя на меня своими влажными глазами, — я так только шучу.

И вслед за этим он произнес какую-то ужасно запутанную, хитрую фразу, долженствовавшую означать, что я все-таки добрый малый.

— *Je ne vous dis que ça!*<sup>3</sup> — заключил он.

<sup>1</sup> Много притеснений со стороны полиции.

<sup>2</sup> Бедный малый.

<sup>3</sup> Я только это скажу вам.



Таким образом, мы продолжали пить и беседовать с певцом, а лакей продолжали, не стесняясь, любоваться нами и, кажется, подтрунивать. Несмотря на интерес моего разговора, я не мог не замечать их и, признаюсь, сердился все больше и больше. Один из них привстал, подошел к маленькому человечку и, глядя ему в маковку, стал улыбаться. У меня уж был готовый запас злобы на обитателей Швейцаргофа, который я не успел еще сорвать ни на ком, и теперь, признаюсь, эта лакейская публика так и подмывала меня. Швейцар, не снимая фуражки, вошел в комнату и, облокотившись на стол, сел подле меня. Это последнее обстоятельство, задев мое самолюбие или тщеславие, окончательно взорвало меня и дало исход той давившей злобе, которая весь вечер собиралась во мне. Зачем у подъезда, когда я один, он мне униженно кланяется, а теперь, потому что я сижу с странствующим певцом, он грубо рассаживается рядом со мной? Я совсем озлился той кипящей злобой негодования, которую я люблю в себе, возбуждаю даже, когда на меня находит, потому что она успокоительно действует на меня и дает мне хоть на короткое время какую-то необыкновенную гибкость, энергию и силу всех физических и моральных способностей.

Я вскочил с места.

— Чему вы смеетесь? — закричал я на лакея, чувствуя, как лицо мое бледнеет и губы невольно подергиваются.

— Я не смеюсь, я так, — отвечал лакей, отступая от меня.

— Нет, вы смеетесь над этим господином. И какое право вы имеете тут быть и сидеть здесь, когда тут гости. Не смеет сидеть! — закричал я.

Швейцар, ворча что-то, встал и отодвинулся к двери.

— Какое вы имеете право смеяться над этим господином и сидеть с ним рядом, когда он гость, а вы лакей? Отчего вы не смеялись надо мной нынче за обедом и не саживаете со мной рядом? Оттого, что он бедно одет и поет на улице? от этого; а на мне хорошее платье. Он беден, но в тысячу раз лучше вас, в этом я уверен. Потому, что он никого не оскорбил, а вы оскорбляете его.

— Да я ничего, что вы, — робко отвечал мой враг лакей. — Разве я мешаю ему сидеть?

Лакей не понимал меня, и моя немецкая речь пропадала даром. Грубый швейцар вступился было за лакея, но я напал на него так стремительно, что швейцар притворился, что тоже не понимает меня, и махнул рукой. Горбатая судомойка, заметив ли мое разгоряченное состояние и боясь скандалу или разделяя мое мнение, приняла мою сторону и, стараясь стать

между мной и швейцаром, уговаривала его молчать, говоря, что я прав, а меня просила успокоиться. «Der Herr hat Recht; Sie haben Recht»<sup>1</sup>, твердила она. Певец представлял самое жалкое, испуганное лицо и, видимо, не понимая, из чего я горячусь и чего я хочу, просил меня уйти поскорее отсюда. Но во мне все больше и больше разгоралась злобная словоохотливость. Я все припомнил: и толпу, которая смеялась над ним, и слушателей, ничего не давших ему, и ни за что на свете не хотел успокоиться. Я думаю, что если бы кельнеры и швейцар не были так уклончивы, я бы с наслаждением подрался с ними или палкой по голове прибил бы беззащитную английскую барышню. Если бы в эту минуту я был в Севастополе, я бы с наслаждением бросился колоть и рубить в английскую траншею.

— И отчего вы провели меня с этим господином в эту, а не в ту залу? а? — допрашивал я швейцара, ухватив его за руку с тем, чтобы он не ушел от меня. — Какое вы имели право по виду решать; что этот господин должен быть в этой, а не в той зале? Разве, кто платит, не все равны в гостиницах? Не только в республике, но во всем мире. Паршивая ваша республика!.. Вот оно равенство! Англичан вы бы не смели провести в эту комнату, тех самых англичан, которые даром слушали этого господина, то есть украли у него каждый по несколько сантимов, которые должны были дать ему. Как вы смели указать эту залу?

— Та зала заперта, — отвечал швейцар.

— Нет, — закричал я, — неправда, не заперта зала!

— Так вы лучше знаете.

— Знаю, знаю, что вы лжете!

Швейцар повернулся плечом прочь от меня.

— Э! что говорить! — проворчал он.

— Нет, не «что говорить», — закричал я, — а ведите меня сию минуту в залу!

Несмотря на увещанья горбуни и просьбы певца идти лучше по домам, я потребовал обер-кельнера и пошел в залу, вместе с моим собеседником. Обер-кельнер, услышав мой озлобленный голос и увидав мое взволнованное лицо, не стал спорить и с презрительной учтивостью сказал, что я могу идти, куда мне угодно. Я не мог доказать швейцару его лжи, потому что он скрылся еще прежде, чем я вошел в залу.

Зала была действительно отперта, освещена, и на одном из столов сидели, ужиная, англичанин с дамой. Несмотря на

<sup>1</sup> Господин прав; вы правы.

то, что нам указывали особый стол, я с грязным певцом подошел к самому англичанину и велел сюда подать нам неконченную бутылку.

Англичанин сначала удивленно, потом озлобленно посмотрел на маленького человечка, который ни жив, ни мертв сидел подле меня; они что-то сказали между собой, она оттолкнула тарелку, зашумела шелковым платьем, и оба скрылись. За стеклянными дверями я видел, как англичанин что-то озлобленно говорил кельнеру, беспрестанно указывая рукой по нашему направлению. Кельнер высунулся в дверь и взглянул в нее. Я с радостью ожидал, что придут выводить нас, и можно будет, наконец, вылить на них все свое негодование. Но, к счастью, хотя это тогда мне было неприятно, нас оставили в покое.

Певец, прежде отказывавшийся от вина, теперь торопливо допил все, что оставалось в бутылке, с тем, чтобы только поскорей выбраться отсюда. Однако он с чувством, как мне показалось, отблагодарил меня за угощение. Плачущие глаза его сделались еще более плачущими и блестящими, и он сказал мне самую странную, запутанную фразу благодарности. Но все-таки эта фраза, в которой он говорил, что ежели бы все так уважали артистов, как я, то ему было бы хорошо, и что он желает мне всякого счастья, была мне очень приятна. Мы вместе с ним вышли в сени. Тут стояли лакеи и мой враг швейцар, кажется, жаловавшийся им на меня. Все они, кажется, смотрели на меня, как на умалишенного. Я дал маленькому человечку поровняться со всей этой публикой и тут со всей почтительностью, которую только в состоянии выразить в своей особе, я снял шляпу и пожал ему руку с закостеленым отсохшим пальцем. Лакеи сделали, как будто не обращают на меня ни малейшего внимания. Только один из них засмеялся сардоническим смехом.

Когда певец, раскланиваясь, скрылся в темноте, я пошел к себе наверх, желая заспать все эти впечатления и глупую детскую злобу, которая так неожиданно нашла на меня. Но, чувствуя себя слишком взволнованным для сна, я опять пошел на улицу с тем, чтобы ходить до тех пор, пока успокоюсь и, признаюсь, кроме того, в смутной надежде, что найдется случай сцепиться с швейцаром, лакеем или англичанином и доказать им всю их жестокость и, главное, несправедливость. Но, кроме швейцара, который, увидав меня, повернулся ко мне спиной, я никого не встретил и один-одинешенек стал взад и вперед ходить по набережной.

«Вот она, странная судьба поэзии,—рассуждал я, успокоившись немного. — Все любят, ищут ее, одну ее желают и ищут

в жизни, и никто не признает ее силы, никто не ценит этого лучшего блага мира, не ценит и не благодарит тех, которые дают его людям. Спросите у кого хотите, у всех этих обитателей Швейцергофа, что лучшее благо в мире? и все или девяносто девять на сто, приняв сардоническое выражение, скажут вам, что лучшее благо мира — деньги. «Может быть, мысль эта вам не нравится и не сходится с вашими возвышенными идеями, — скажет он, — но что ж делать, ежели жизнь человеческая так устроена, что одни деньги составляют счастье человека. Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он есть, — прибавит он, — то есть видеть правду». Жалкий твой ум, жалкое то счастье, которого ты желаешь, и несчастное ты создание, само не знающее, чего тебе надобно... Зачем вы все покинули свое отечество, родных, занятия и денежные дела и столпились в маленьком швейцарском городке Люцерне? Зачем вы все нынче вечером высыпали на балконы и в почтительном молчании слушали песню маленького нищего? И ежели бы он захотел петь еще, еще бы молчали и слушали. Что, за деньги, хоть за миллионы, вас можно бы было всех выгнать из отечества и собрать в маленьком уголке Люцерне? За деньги вас можно бы было всех собрать на балконах и в продолжение получаса заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нет! А заставляет вас действовать одно, и вечно будет двигать сильнее всех других двигателей жизни, потребность поэзии, которую не сознаете, но чувствуете и век будете чувствовать, пока в вас останется что-нибудь человеческое. Слово «поэзия» вам смешно, вы употребляете его в виде насмешливого упрека, вы допускаете любовь к поэтическому нечто в детях и глупых барышнях, и то вы над ними смеетесь; для вас же нужно положительное. Да дети-то здраво смотрят на жизнь, они любят и знают то, что должен любить человек, и то, что даст счастье, а вас жизнь до того запутала и развратила, что вы смеетесь над тем, что одно любите, и ищите одного того, что ненавидите и что делает ваше несчастье. Вы так запутались, что не понимаете того обязательства, которое вы имеете перед бедным тирельцем, доставившим вам чистое наслаждение, а вместе с тем считаете себя обязанными даром, без пользы и удовольствия, унижаться перед лордом и зачем-то жертвовать ему своим спокойствием и удобством. Что за вздор, что за неразрешимая бессмыслица! Но не это сильней всего поразило меня нынче вечером. Это неведение того, что дает счастье, эту бессознательность поэтических наслаждений я почти понимаю или привык к ней, встречав ее часто в жизни; грубая, бессознательная жестокость толпы тоже была для

меня не новость; что бы ни говорили защитники народного смысла, толпа есть соединение хотя бы и хороших людей, но соприкасающихся только животными гнусными сторонами и выражающая только слабость и жестокость человеческой природы. Но как вы, дети свободного, человеческого народа, вы христиане, вы просто люди, на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный просящий человек, ответили холодностью и насмешкой. Но нет, в вашем отечестве есть приюты для нищих. Нищих нет, их не должно быть, и не должно быть чувства сострадания, на котором основано нищенство. Но он трудился, он радовал вас, он умолял вас дать ему что-нибудь от вашего излишка за свой труд, которым вы воспользовались. А вы с холодной улыбкой наблюдали его как редкость из своих высоких блестящих палат, и из сотни вас, счастливых, богатых, не нашлось ни одного, ни одной, которая бы бросила ему что-нибудь! Пристыженный, он пошел прочь от вас, и бессмысленная толпа, смеясь, преследовала и оскорбляла не вас, а его за то, что вы холодны, жестоки и бесчестны; за то, что вы украли у него наслаждение, которое он вам доставил, за это его оскорбляли.

*«Седьмого июля 1857 года в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним».*

Это не выдумка, а факт положительный, который могут исследовать те, которые хотят, у постоянных жителей Швейцергофа, справившись по газетам, кто были иностранцы, занимавшие Швейцергоф 7 июля.

Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Что англичане убили еще тысячу китайцев за то, что китайцы ничего не покупают на деньги, а их край поглощает звонкую монету, что французы убили еще тысячу кабиллов за то, что хлеб хорошо родится в Африке и что постоянная война полезна для формирования войск, что турецкий посланник в Неаполе не может быть жид, и что император Наполеон гуляет пешком в Plombières<sup>1</sup> и печатно уверяют народ, что он царствует только по воле всего народа, — это всё слова, скрывающие или показывающие давно известное; но событие, происшед-

<sup>1</sup> Пломбьер.

шее в Лоуэрне 7-го июля, мне кажется совершенно ново, странно и относится не к вечным дурным сторонам человеческой природы, но к известной эпохе развития общества. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации.

Отчего этот бесчеловечный факт, невозможный ни в какой деревне немецкой, французской или итальянской, возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени, где собираются путешествующие, самые цивилизованные люди самых цивилизованных наций? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные в общем на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, о составлении обществ исправления всего человечества, не находят в душе своей простого первобытного чувства человека к человеку? Неужели нет этого чувства, и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним звуком слова равенство?

Равенство перед законом? Да разве вся жизнь людей происходит в сфере закона? Только одна тысячная доля ее подлежит закону, остальная часть происходит вне его, в сфере нравов и воззрения общества. А в обществе лакей одет лучше певца и безнаказанно оскорбляет его. Я лучше одет лакея и безнаказанно оскорбляю лакея. Швейцар считает меня выше, а певца ниже себя; когда я соединился с певцом, он счел себя равным с нами и стал груб. Я стал нагл с швейцаром, и швейцар признал себя ниже меня. Лакей стал нагл с певцом, и певец признал себя ниже его. И неужели это свободное, то, что люди называют положительно-свободное, государство, то, в котором есть хоть один гражданин, которого сажают в тюрьму за то, что он, никому не вредя, никому не мешая, делает одно, что может, для того, чтобы не умереть с голода?

Несчастное, жалкое создание человек с своей потребностью положительных решений, брошенный в этот вечно движущийся, бесконечный океан добра и зла, фактов, со-

ображений и противоречий! Веками сыются и трудятся люди, чтобы отодвинуть к одной стороне благо, к другой—неблаго. Проходят века, и где бы, что бы ни прикинул беспристрастный ум на весы доброго и злого, весы не колеблются, и на каждой стороне столько же блага, сколько и неблаго. Ежели бы только человек выучился не судить и не мыслить резко и положительно и не давать ответы на вопросы, данные ему только для того, чтобы они вечно оставались вопросами! Ежели бы только он понял, что всякая мысль и ложна, и справедлива! Ложна односторонностью, по невозможности человека обнять всей истины, и справедлива по выражению одной стороны человеческих стремлений. Сделали себе подразделения в этом вечном движущемся, бесконечном, бесконечно-перемешанном хаосе добра и зла, провели воображаемые черты по этому морю и ждут, что море так и разделится. Точно нет миллионов других подразделений совсем с другой точки зрения, в другой плоскости. Правда, вырабатываются эти новые подразделения веками, но и веков прошли и пройдут миллионы. Цивилизация — благо; варварство — зло; свобода — благо; неволя — зло. Вот это-то воображаемое знание уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности добра в человеческой натуре. И кто определит мне, что свобода, что деспотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие запутанные факты? У кого так велик ум, чтоб хотя в неподвижном прошедшем обнять все факты и свесить их? И кто видел такое состояние, в котором бы не было добра и зла вместе? И почему я знаю, что вижу больше одного, чем другого, не оттого, что стою не на настоящем месте? И кто в состоянии так совершенно оторваться умом хоть на мгновение от жизни, чтобы независимо сверху взглянуть на нее? Один, только один есть у нас непогрешимый руководитель, всемирный дух, проникающий пае всех вместе и каждого, как единицу, влагающий в каждого стремление к тому, что должно; тот самый дух, который в дереве велит ему расти к солнцу, в цветке велит ему бросить семя к осени и в нас велит нам бессознательно жаться друг к другу.

И этот-то один непогрешимый блаженный голос заглушает шумное, торопливое развитие цивилизации. Кто больше человек и кто больше варвар: тот ли лорд, который, увидав затасканное платье певца, с злобой убежал из-за стола, за его труды не дал ему миллионной доли своего состояния и теперь, сытый, сидя в светлой покойной комнате, спокойно су-

дит о делах Китая, находя справедливыми совершаемые там убийства, или маленький певец, который, рискуя тюрьмой, с франком в кармане, двадцать лет, никому не делая вреда, ходит по горам и долинам, утешая людей своим пением, которого оскорбили, чуть не вытолкали нынче, и который, усталый, голодный, пристыженный, пошел спать куда-нибудь на гниющей соломе?

В это время из города в мертвой тишине ночи я далеко-далеко услышал гитару маленького человечка и его голос.

Нет, сказало мне невольно, ты не имеешь права жалеть о нем и негодовать на благосостояние лорда. Кто свесил внутреннее счастье, которое лежит в душе каждого из этих людей? Вон он сидит теперь где-нибудь на грязном пороге, смотрит в блестящее лунное небо и радостно поет среди тихой, благоуханной ночи, в душе его нет ни упрека, ни злобы, ни раскаянья. А кто знает, что делается теперь в душе всех этих людей, за этими богатыми, высокими стенами? Кто знает, есть ли в них всех столько беззаботной, кроткой радости жизни и согласия с миром, сколько ее живет в душе этого маленького человека? Бесконечна благодать и премудрость того, кто позволил и велел существовать всем этим противоречиям. Только тебе, ничтожному червяку, дерзко, незаконно пытающемуся проникнуть его законы, его намерения, только тебе кажутся противоречия. Он крестко смотрит с своей светлой неизмеримой высоты и радуется на бесконечную гармонию, в которой вы все противоречиво, бесконечно движетесь. В своей гордости ты думал вырваться из законов общего. Нет, и ты с своим маленьким, пошленьким негодованьем на лакеев, и ты тоже ответил на гармоническую потребность вечного и бесконечного...

18 июля 1857 г.

## АЛЬБЕРТ

### I

Пять человек богатых и молодых людей приехали в третьем часу ночи веселиться на петербургский балик.

Шампанского было выпито много, большая часть господ были очень молоды, девицы были красивы, фортепьяно и скрипка неумоимо играли одну польку за другой, танцы и шум не переставали; но было как-то скучно, неловко, каждому казалось почему-то (как это часто случается), что все это не то и не нужно.



Несколько раз они усиливались поднять веселье, но приторное веселье было еще хуже скуки.

Один из пяти молодых людей, более других недовольный и собой, и другими, и всем вечером, с чувством отвращения встал, отыскал шляпу и вышел с намерением потихоньку уехать.

В передней никого не было, но в соседней комнате, за дверью, он услышал два голоса, спорившие между собою. Молодой человек приостановился и стал слушать.

— Нельзя, там гости, — говорил женский голос.

— Пустите, пожалуйста, я ничего! — умолял слабый мужской голос.

— Да уж не пушу без позволения мадамы, — говорила женщина: — куда вы? ах какой!..

Дверь распахнулась, и на пороге показалась странная мужская фигура. Увидав гостя, служанка перестала удерживать, а странная фигура, робко поклонившись, шатаясь на согнутых ногах, вошла в комнату. Это был среднего роста мужчина, с узкой согнутой спиной и длинными всклокоченными волосами. На нем были короткое пальто и прорванные узкие панталоны, над шершавыми нечищеными сапогами. Скрутившийся веревкой галстук повязывал длинную белую шею. Грязная рубаша высывалась из рукавов над худыми руками. Но, несмотря на чрезвычайную худобу тела, лицо его было нежно, бело, и даже свежий румянец играл на щеках, над черной редкой бородой и бакенбардами. Нечесанные волосы, закинутые кверху, открывали невысокий и чрезвычайно чистый лоб. Темные усталые глаза смотрели вперед мягко, искательно и вместе важно. Выражение их пленительно сливалось с выражением свежих, изогнутых в углах губ, видневшихся из-за редких усов.

Пройдя несколько шагов, он приостановился, повернулся к молодому человеку и улыбнулся. Он улыбнулся как будто с трудом; но когда улыбка озарила его лицо, молодой человек, — сам не зная чему, — улыбнулся тоже.

— Кто это такой? — спросил он шопотом у служанки, когда странная фигура прошла в комнату, из которой слышались танцы.

— Помешанный музыкант из театра, — отвечала служанка: — он иногда приходит к хозяйке.

— Куда ты ушел, Делесов? — кричали в это время из залы.

Молодой человек, которого звали Делесовым, вернулся в залу.

Музыкант стоял у двери и, глядя на танцующих, улыбкой, взглядом и притоптыванием ног выказывал удовольствие, доставляемое ему этим зрелищем.

— Что же, идите и вы танцевать, — сказал ему один из гостей.

Музыкант поклонился и вопросительно взглянул на хозяйку.

— Идите, идите, — что ж, когда вас господа приглашают, — вмешалась хозяйка.

Худые, слабые члены музыканта вдруг пришли в усиленное движение, и он, подмигивая, улыбаясь и подергиваясь, тяжело, неловко пошел прыгать по зале. В середине кадрили веселый офицер, танцовавший очень красиво и одушевленно, нечаянно толкнул спиной музыканта. Слабые, усталые ноги не удержали равновесия, и музыкант, сделав несколько подкашивающихся шагов в сторону, со всего роста упал на пол. Несмотря на резкий, сухой звук, произведенный падением, почти все засмеялись в первую минуту.

Но музыкант не вставал. Гости замолчали, даже фортепьяно перестало играть, и Делесов с хозяйкой первые подбежали к упавшему. Он лежал на локте и тускло смотрел в землю. Когда его подняли и посадили на стул, он откинул быстрым движением костлявой руки волосы со лба и стал улыбаться, ничего не отвечая на вопросы.

— Господин Альберт! господин Альберт! — говорила хозяйка, — что, ушиблись? где? Вот я говорила, что не надо было танцевать. Он такой слабый! — продолжала она, обращаясь к гостям, — насилу ходит, где ему!

— Кто он такой? — спрашивали хозяйку.

— Бедный человек, артист. Очень хороший малый, только жалкий, как видите.

Она говорила это, не стесняясь присутствием музыканта. Музыкант очнулся и, как будто испугавшись чего-то, съехался и оттолкнул окружавших его.

— Это все ничего, — вдруг сказал он, с видимым усилием привставая со стула.

И, чтобы доказать, что ему нисколько не больно, вышел на середину комнаты и хотел припрыгнуть, но пошатнулся и опять бы упал, ежели бы его не поддержали.

Всем сделалось неловко; глядя на него, все молчали.

Взгляд музыканта снова потух, и он, видимо, забыв о всех, потирал рукою колено. Вдруг он поднял голову, выставил вперед дрожащую ногу, тем же, как и прежде, пошлым жестом откинул волосы и, подойдя к скрипачу, взял у него скрипку.

- Все ничего! — повторил он еще раз, взмахнув скрипкой. — Господа, будем музицировать.
- Что за странное лицо! — говорили между собой гости.
- Может быть, большой талант погибает в этом несчастном существе! — сказал один из гостей.
- Да, жалкий, жалкий! — говорил другой.
- Какое лицо прекрасное!.. В нем есть что-то необыкновенное, — говорил Делесов: — вот посмотрим...

## II

Альберт в это время, не обращая ни на кого внимания, прижав скрипку к плечу, медленно ходил вдоль фортепьяно и настраивал ее. Губы его сложились в бесстрастное выражение, глаз не было видно; но узкая костлявая спина, длинная белая шея, кривые ноги и косматая черная голова представляли чудное, но почему-то вовсе не смешное зрелище. Настроив скрипку, он бойко взял аккорд и, вскинув голову, обратился к пианисту, приготовившемуся аккомпанировать.

— «*Mélancolie G-dur!*»<sup>1</sup> — сказал он, с повелительным жестом обращаясь к пианисту.

И вслед за тем, как бы прося прощения за повелительный жест, кротко улыбнулся и с этой улыбкой оглянул публику. Вскинув волосы рукой, которой он держал смычок, Альберт остановился перед углом фортепьяно и плавным движением смычка провел по струнам. В комнате пронесся чистый, стройный звук, и сделалось совершенное молчание.

Звуки темы свободно, изящно полились вслед за первым, каким-то неожиданно-ясным и успокоительным светом вдруг озаряя внутренний мир каждого слушателя. Ни один ложный или неумеренный звук не нарушил покорности внимающих, все звуки были ясны, изящны и значительны. Все молча, с трепетом надежды, следили за развитием их. Из состояния скуки, шумного рассеяния и душевного сна, в котором находились эти люди, они вдруг незаметно перенесены были в совершенно другой, забытый ими мир. То в душе их возникало чувство тихого созерцания прошедшего, то страстного воспоминания чего-то счастливого, то безграничной потребности власти и блеска, то чувства покорности, неудовлетворенной любви и грусти. То грустно-нежные, то порывисто-отчаянные звуки, свободно перемешиваясь между собой, лились и лились друг за другом так изящно, так сильно и так бессознательно, что не звуки слышны были, а сам собой лился

<sup>1</sup> «Меланхолию в тоне Ге-дур!»

в душу каждого какой-то прекрасный поток давно знакомой, но в первый раз высказанной поэзии. Альберт с каждой нотой вырастал выше и выше. Он далеко не был уродлив или странен. Прижав подбородком скрипку и с выражением страстного внимания прислушиваясь к своим звукам, он судорожно передвигал ногами. То он выпрямлялся во весь рост, то старательно сгибал спину. Левая напряженно согнутая рука, казалось, замерла в своем положении и только судорожно перебирала костлявыми пальцами; правая двигалась плавно, изящно, незаметно. Лицо сияло непрерывной, восторженной радостью; глаза горели светлым сухим блеском, ноздри раздувались, красные губы раскрывались от наслаждения.

Иногда голова ближе наклонялась к скрипке, глаза закрывались, и полузакрытое волосами лицо освещалось улыбкой кроткого блаженства. Иногда он быстро выпрямлялся, выставляя ногу; и чистый лоб, и блестящий взгляд, которым он окидывал комнату, сияли гордостью, величием, сознанием власти. Один раз пьянист ошибся и взял неверный аккорд. Физическое страдание выразилось во всей фигуре и лице музыканта. Он остановился на секунду и, с выражением детской злобы топая ногой, закричал «*mol, с-mol*»<sup>1</sup>. Пьянист поправился, Альберт закрыл глаза, улыбнулся и, снова забыв себя, других и весь мир, с блаженством отдался своему делу.

Все находившиеся в комнате во время игры Альберта хранили покорное молчание и, казалось, жили и дышали только его звуками.

Веселый офицер неподвижно сидел на стуле у окна, устремив на пол безжизненный взгляд, и тяжело и редко переводил дыхание. Девушки в совершенном молчании сидели по стенам и только изредка с одобрением, доходящим до недоумения, переглядывались между собою. Толстое, улыбающееся лицо хозяйки расплывалось от наслаждения. Пьянист впивался глазами в лицо Альберта и, со страхом ошибиться, выражавшимся во всей его вытягивавшейся фигуре, старался следить за ним. Один из гостей, выпивший больше других, ничком лежал на диване и старался не двигаться, чтобы не выдать своего волнения. Делесов испытывал непривычное чувство. Какой-то холодный круг, то суживаясь, то расширяясь, сжимал его голову. Корни волос становились чувствительны, мороз пробегал вверх по спине, что-то, все выше и выше подступая к горлу, как тоненькими иголками кололо в носу и нёбе, и слезы незаметно мочили ему щеки. Он встряхивался, старался незаметно втягивать их назад и отирать,

---

<sup>1</sup> «Моль, це-моль!»

но новые выступали опять и текли по лицу. По какому-то странному сцеплению впечатлений, первые звуки скрипки Альберта перенесли Делесова к его первой молодости. Он — не молодой, усталый от жизни, изнуренный человек, вдруг почувствовал себя семнадцатилетним, самодовольно красивым, блаженно-глупым и бессознательно счастливым существом. Ему вспомнилась первая любовь к кузине в розовом платье, вспомнилось первое признание в липовой аллее, вспомнилось волшебство и неразгаданная таинственность тогда окружавшей природы. В его возвратившемся назад воображении блистала она в тумане неопределенных надежд, непонятных желаний и несомненной веры в возможность невозможного счастья. Все неоцененные минуты того времени, одна за другою, восставали перед ним, но не как незначущие мгновения бегущего настоящего, а как остановившиеся, разрастающиеся и укоряющие образы прошедшего. Он с наслаждением созерцал их и плакал, — плакал не оттого, что прошло то время, которое он мог употребить лучше (ежели бы ему дали назад это время, он не брался употребить его лучше), но он плакал оттого только, что прошло это время и никогда не воротится. Воспоминания возникали сами собою, а скрипка Альберта говорила одно и одно. Она говорила: «Прошло для тебя, навсегда прошло время силы, любви и счастья, прошло и никогда не воротится. Плачь о нем, выплачь все слезы, умри в слезах об этом времени, — это одно лучшее счастье, которое осталось у тебя».

К концу последней варьяции лицо Альберта сделалось красно, глаза горели, не потухая, крупные капли пота струились по щекам. На лбу надулись жилы, все тело больше и больше приходило в движение, побледневшие губы уже не закрывались, и вся фигура выражала восторженную жадность наслаждения.

Отчаянно размахнувшись всем телом и встряхнув волосами, он опустил скрипку и с улыбкой гордого величия и счастья оглянул присутствующих. Потом спина его согнулась, голова опустилась, губы сложились, глаза потухли, и он, как бы стыдясь себя, робко оглядываясь и путаясь ногами, прошел в другую комнату.

### III

Что-то странное произошло со всеми присутствующими, и что-то странное чувствовалось в мертвом молчании, последовавшем за игрой Альберта. Как будто каждый хотел и не

умел высказать того, что все это значило. Что такое значит — светлая и жаркая комната, блестящие женщины, зари в окнах, взволнованная кровь и чистое впечатление пролетевших звуков? Но никто и не попытался сказать того, что это значит; напротив, почти все, чувствуя себя не в силах перейти вполне на сторону того, что открыло им новое впечатление, возмутились против него.

— А ведь он точно хорошо играет, — сказал офицер.

— Удивительно! — отвечал, украдкой рукавом отирая щеки, Делесов.

— Однако пора ехать, господа, — сказал, оправившись несколько, тот, который лежал на диване. — Надо будет дать ему что-нибудь, господа. Давайте складчину.

Альберт сидел в это время один в другой комнате на диване. Облокотившись локтями на костлявые колени, он потными, грязными руками гладил себе лицо, взбивал волосы и сам с собою счастливо улыбался.

Складчину сделали богатую, и Делесов взялся передать ее.

Кроме того, Делесову, на которого музыка произвела такое сильное и непривычное впечатление, пришла мысль сделать добро этому человеку. Ему пришло в голову взять его к себе, одеть, пристроить к какому-нибудь месту — вообще вырвать из этого грязного положения.

— Что, вы устали? — спросил Делесов, подходя к нему.

Альберт улыбался.

— У вас действительный талант; вам надо бы серьезно заниматься музыкой, играть в публике.

— Я бы выпил чего-нибудь, — сказал Альберт, как будто проснувшись.

Делесов принес вина, и музыкант с жадностью выпил два стакана.

— Какое славное вино! — сказал он.

— Меланхолия, какая прелестная вещь! — сказал Делесов.

— О! да, да, — отвечал, улыбаясь, Альберт, — но извините меня, я не знаю, с кем имею честь говорить; может быть, вы граф или князь: не можете ли вы мне ссудить немного денег? — Он помолчал немного. — Я ничего не имею... я бедный человек. Я не могу отдать вам.

Делесов покраснел, ему неловко стало, и он торопливо передал музыканту собранные деньги.

— Очень благодарю вас, — сказал Альберт, схватив деньги: — теперь давайте музицировать; я, сколько хотите, буду играть вам. Только выпить бы чего-нибудь, выпить, — прибавил он, вставая.

Делесов принес ему еще вина и попросил сесть подле себя.

— Извините меня, ежели я буду откровенен с вами, — сказал Делесов: — ваш талант так заинтересовал меня. Мне кажется, что вы не в хорошем положении?

Альберт поглядывал то на Делесова, то на хозяйку, которая вошла в комнату.

— Позвольте мне вам предложить свои услуги, — продолжал Делесов. — Ежели вы в чем-нибудь нуждаетесь, то я бы очень рад был, ежели бы вы на время поселились у меня. Я живу один и, может быть, я был бы вам полезен.

Альберт улыбнулся и ничего не отвечал.

— Что же вы не благодарите, — сказала хозяйка. — Разумеется, для вас это благодеяние. Только я бы вам не советовала, — продолжала она, обращаясь к Делесову и отрицательно качая головой.

— Очень вам благодарен, — сказал Альберт, мокрыми руками пожимая руку Делесова: — только теперь давайте музицировать, пожалуйста.

Но остальные гости уже собрались ехать и, как их ни уговаривал Альберт, вышли в переднюю.

Альберт простился с хозяйкой и, надев истертую шляпу с широкими полями и летнюю старую альмавиву, составлявшие всю его зимнюю одежду, вместе с Делесовым вышел на крыльцо.

Когда Делесов сел с своим новым знакомцем в карету и почувствовал тот неприятный запах пьяницы и нечистоты, которым был пропитан музыкант, он стал раскаиваться в своем поступке и обвинять себя в ребяческой мягкости сердца и нерассудительности. Притом все, что говорил Альберт, было так глупо и пошло, и он так вдруг грязно опьянел на воздухе, что Делесову сделалось гадко. «Что я с ним буду делать?» подумал он.

Проехав с четверть часа, Альберт замолк, шляпа с него свалилась в ноги, он сам повалился в угол кареты и захрапел. Колеса равномерно скрипели по морозному снегу; слабый свет зари едва проникал сквозь замерзшие окна.

Делесов оглянулся на своего соседа. Длинное тело, прикрытое плащом, безжизненно лежало подле него. Делесову казалось, что длинная голова с большим темным носом качалась на этом туловище; но, взглядевшись ближе, он увидел, что то, что он принимал за нос и лицо, были волосы, а что настоящее лицо было ниже. Он нагнулся и разобрал черты лица Альберта. Тогда красота лба и спокойно сложенного рта снова поразили его.

Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки Делесов, глядя на это лицо,

снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью; снова ему вспомнилось счастливое и великодушное время молодости, и он перестал раскаиваться в своем поступке. Он в эту минуту искренно, горячо любил Альберта и твердо решился сделать добро ему.

#### IV

На другой день утром, когда его разбудили, чтобы идти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидел вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта; мотив «Меланхолии» и вся странная вчерашняя ночь пронеслись в его воображении.

Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день: взял бумаги, отдал необходимые приказания дома и, торопясь, надел шинель и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись, в грязной, изорванной рубашке, мертвым сном спал на сафьянном диване, куда его, бесчувственного, положили вчера вечером. Что-то не хорошо, невольно казалось Делесову.

— Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них, — сказал он своему человеку, — да когда они проснутся, напои их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще удовлетвори его хорошенько. Пожалуйста.

Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта.

— Где же он? — спросил он у человека.

— Тотчас после обеда ушли, — отвечал слуга: — взяли скрипку и ушли, обещались притти через час, да вот до сей поры нету.

— Та! та! досадно, — проговорил Делесов. — Как же ты его пустил, Захар?

Захар был петербургский лакей, уже восемь лет служивший у Делесова. Делесов, как одинокий холостяк, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий.

— Как же я смел его не пустить, — отвечал Захар, играя печаткой своих часов. — Ежели бы вы мне сказали, Дмитрий



Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять. Но вы только насчет платья сказали.

— Та! досадно! Ну, а что он тут делал без меня?

Захар усмехнулся.

— Уж точно, можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры, потом с кухаркой и с соседским человеком все занимались. Смешные такие... Однако характера очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес, ничего не хотели одни есть, все меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов у Излера мало. Такого человека можно держать. Как он «Вниз по матушке по Волге» нам сыграл, так точно, как человек плачет. Слишком хорошо! Даже со всех этажей пришли люди к нам в сени слушать.

— Ну, а одел ты его? — перебил барин.

— Как же-с; я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этому человеку можно помогать, точно, милый человек. — Захар улыбнулся. — Все спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли вы знакомства значительные? и сколько у вас душ крестьян?

— Ну, хорошо, только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить, а то ему еще хуже сделаешь.

— Это правда, — перебил Захар: — он, видно, слаб здоровьем, у нас такой же у барина был приказчик...

Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее докончить Захару и, велев приготовить себе все для ночи, послал его отыскать и привести Альберта.

Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, все думал об Альберте. «Хоть это все странным может показаться многим из моих знакомых, — думал Делесов, — но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить бога, когда представляется такой случай, и я не упущу его. Все сделаю, решительно все сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это мне будет совсем не дорого: где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, ставим его с мели, а там видно будет».

Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения.

«Право, я не совсем дурной человек; даже совсем недурной человек, — подумал он. — Даже очень хороший человек, как сравню себя с другими...»

Он уже засыпал, когда звуки отворяемых дверей и шагов в передней развлекли его.

«Ну, обращаюсь с ним поостороже, — подумал он: — это лучше; и я должен это сделать».

Он позвонил.

— Что, привел? — спросил он у вошедшего Захара.

— Жалкой человек, Дмитрий Иванович, — сказал Захар, значительно покачав головой и закрыв глаза.

— Что, пьян?

— Очень слаб.

— А скрипка с ним?

— Принес, хозяйка отдала.

— Ну, пожалуйста, не пускай его теперь ко мне, уложи спать и завтра отнюдь не выпускай из дома.

Но еще Захар не успел выйти, как в комнату вошел Альберт.

## У

— Вы уже спать хотите? — сказал Альберт, улыбаясь. — А я был там, у Анны Ивановны. Очень приятно провел вечер: музицировали, смеялись, приятное общество было. Позвольте мне выпить стакан чего-нибудь, — прибавил он, взявшись за графин с водой, стоявший на столике, — только не воды.

Альберт был такой же, как и вчера: та же красивая улыбка глаз и губ, тот же светлый вдохновенный лоб и слабые члены. Пальто Захара пришлось ему как раз впору, и чистый, длинный, некрахмаленый воротник ночной рубашки живописно откидывался вокруг его тонкой белой шеи, придавая ему что-то особенно детское и невинное. Он присел на постель Делесова и молча, радостно и благодарно улыбаясь, посмотрел на него. Делесов посмотрел в глаза Альберта и вдруг снова почувствовал себя во власти его улыбки. Ему перестало хотеться спать, он забыл о своей обязанности быть строгим, ему захотелось, напротив, веселиться, слушать музыку и хоть до утра дружески болтать с Альбертом. Делесов велел Захару принести бутылку вина, папирос и скрипку.

— Вот это отлично, — сказал Альберт: — еще рано, будем музицировать, я вам буду играть сколько хотите.

Захар с видимым удовольствием принес бутылку лафиту, два стакана, слабых папирос, которые курил Альберт, и скрипку. Но вместо того, чтобы ложиться спать, как ему приказал барин, сам, закурив сигару, сел в соседнюю комнату.

— Поговоримте лучше, — сказал Делесов музыканту, взявшемуся было за скрипку.

Альберт покорно сел на постель и снова радостно улыбнулся.

— Ах, да, — сказал он, вдруг стукнув себя рукой по лбу и приняв озабоченно любопытное выражение. (Выражение лица его всегда предшествовало тому, что он хотел говорить.) — Позвольте спросить... — он приостановился немного: — этот господин, который был с вами там, вчера вечером... вы его называли... N, он не сын знаменитого N?

— Родной сын, — отвечал Делесов, никак не понимая, почему это могло быть интересно Альберту.

— То-то, — самодовольно улыбаясь, сказал он: — я сейчас заметил в его манерах что-то особенно аристократическое. Я люблю аристократов: что-то прекрасное и изящное видно в аристократе. А этот офицер, который так прекрасно танцует, — спросил он, — он мне тоже очень понравился, такой веселый и благородный. Он адъютант NN, кажется?

— Который? — спросил Делесов.

— Тот, который столкнулся со мной, когда мы танцевали. Он славный должен быть человек.

— Нет, он пустой малый, — отвечал Делесов.

— Ах, нет! — горячо заступился Альберт: — в нем что-то есть очень, очень приятное. И он славный музыкант, — прибавил Альберт: — он играл там из оперы что-то. Давно мне никто так не нравился.

— Да, он хорошо играет, но я не люблю его игры, — сказал Делесов, желая навести своего собеседника на разговор о музыке: — он классической музыки не понимает; а ведь Доницетти и Беллини — ведь это не музыка. Вы, верно, этого же мнения?

— О, нет, нет, извините меня, — заговорил Альберт с мягким заступническим выражением: — старая музыка — музыка, и новая музыка — музыка. И в новой есть красоты необыкновенные: а Соннамбула?! а финал Лючии?! а Chopin! а Роберт?! Я часто думаю... — он приостановился, видимо, собирая мысли, — что ежели бы Бетховен был жив, ведь он бы плакал от радости, слушая Соннамбулу. Везде есть прекрасное. Я слышал в первый раз Соннамбулу, когда здесь были Виардо и Рубини, — это было вот что, — сказал он, блистая глазами и делая жест обеими руками, как будто вырывая что-то из своей груди. — Еще бы немного, то это невозможно бы было вынести.

— Ну, а теперь как вы находите оперу? — спросил Делесов.

— Божью хороша, очень хороша, — отвечал он, — изящна необыкновенно, но тут не трогает, — сказал он, указывая на ввалившуюся грудь. — Для певицы нужна страсть, а у нее нет. Она радуется, но не мучает.

— Ну, а Лаблаш?

— Я его слышал еще в Париже в Севильском цирюльнике; тогда он был единствен, а теперь он стар, — он не может быть артистом, он стар.

— Что ж, что стар, все-таки хорош в *motseaux d'ensemble*<sup>1</sup>, — сказал Делесов, всегда говоривший это о Лаблаше.

— Как что же, что стар? — возразил Альберт строго. — Он не должен быть стар. Художник не должен быть стар. Много нужно для искусства, но главное, — огонь! — сказал он, блистая глазами и поднимая обе руки кверху.

И действительно, страшный внутренний огонь горел во всей его фигуре.

— Ах, боже мой! — сказал он вдруг, — вы не знаете Петрова — художника.

— Нет, не знаю, — улыбаясь, отвечал Делесов.

— Как бы я желал, чтобы вы с ним познакомились! Вы бы нашли удовольствие говорить с ним. Как он тоже понимает искусство! Мы с ним встречались прежде часто у Анны Ивановны, но она теперь за что-то рассердилась на него. А я очень желал бы, чтобы вы с ним познакомились. Он большой, большой талант.

— Что ж, он картины пишет? — спросил Делесов.

— Не знаю; нет, кажется, но он был художник академии. Какие у него мысли! Когда он иногда говорит, то это удивительно. О, Петров большой талант, только он ведет жизнь очень веселую. Вот жалко, — улыбаясь, прибавил Альберт. Вслед за тем он встал с постели, взял скрипку и начал строить.

— Что, вы давно не были в опере? — спросил его Делесов.

Альберт оглянулся и вздохнул.

— Ах, я уж не могу, — сказал он, схватившись за голову. Он снова подсел к Делесову. — Я вам скажу, — проговорил он почти шопотом: — я не могу туда ходить, я не могу там играть, у меня ничего нет, ничего платья нет, квартиры нет, скрипки нет. Скверная жизнь, скверная жизнь! — повторял он несколько раз. — Да и зачем мне туда ходить? Зачем это? не надо, — сказал он, улыбаясь. — Ах, «Дон-Жуан!»

И он ударил себя по голове.

— Так поедем когда-нибудь вместе, — сказал Делесов.

Альберт, не отвечая, вскочил, схватил скрипку и начал играть финал первого акта «Дон-Жуана», своими словами рассказывая содержание оперы.

<sup>1</sup> Ансамблях.

У Делесова зашевелились волосы на голове, когда он играл голос умирающего командора.

— Нет, не могу играть нынче, — сказал он, кладя скрипку: — я много пил.

Но вслед за тем он подошел к столу, налил себе полный стакан вина, залпом выпил и сел опять на кровать к Делесову.

Делесов, не спуская глаз, смотрел на Альберта; Альберт изредка улыбался, и Делесов улыбался тоже. Они оба молчали; но между ними взглядом и улыбкой ближе и ближе устанавливались любовные отношения. Делесов чувствовал, что он все больше и больше любит этого человека, и испытывал непонятную радость.

— Вы были влюблены? — вдруг спросил он.

Альберт задумался на несколько секунд, потом лицо его озарилось грустной улыбкой. Он нагнулся к Делесову и внимательно посмотрел ему в самые глаза.

— Зачем вы это спросили у меня? — проговорил он шопотом. — Но я вам все расскажу, вы мне понравились, — продолжал он, посмотрев немного и оглянувшись. — Я не буду вас обманывать, я вам расскажу все, как было, сначала. — Он остановился, и глаза его странно, дико остановились. — Вы знаете, что я слаб рассудком, — сказал он вдруг. — Да, да, — продолжал он, — Анна Ивановна вам, верно, рассказывала. Она всем говорит, что я сумасшедший! Это неправда, она из шутки говорит это, она добрая женщина, а я точно не совершенно здоров стал с некоторого времени.

Альберт опять замолчал и остановившимися, широко открытыми глазами посмотрел в темную дверь.

— Вы спрашивали, был ли я влюблен? Да, я был влюблен, — прошептал он, поднимая брови. — Это случилось давно, еще в то время, когда я был при месте в театре. Я ходил играть вторую скрипку в опере, а она ездила в литературный бенеуар с левой стороны.

Альберт встал и перегнулся на ухо Делесову.

— Нет, зачем называть ее, — сказал он. — Вы, верно, знаете ее, все знают ее. Я молчал и только смотрел на нее; я знал, что я бедный артист, а она аристократическая дама. Я очень знал это. Я только смотрел на нее и ничего не думал.

Альберт задумался, припоминая.

— Как это случилось, я не помню; но меня позвали один раз аккомпанировать ей на скрипке. Ну, что я, бедный артист! — сказал он, покачивая головой и улыбаясь. — Но нет, я не умею рассказывать, не умею... — прибавил он, схватившись за голову. — Как я был счастлив!

— Что же, вы часто были у нее? — спросил Делесов.

— Один раз, один раз только... но я сам виноват был, я с ума сошел. Я бедный артист, а она аристократическая дама. Я не должен был ничего говорить ей. Но я сошел с ума, я сделал глупости. С тех пор для меня все кончилось. Петров правду сказал мне: лучше бы было видеть ее только в театре...

— Что же вы сделали? — спросил Делесов.

— Ах, постойте, постойте, я не могу рассказывать этого. — И, закрыв лицо руками, он помолчал несколько времени.

— Я пришел в оркестр поздно. Мы пили с Петровым этот вечер, и я был расстроен. Она сидела в своей ложе и говорила с генералом. Я не знаю, кто был этот генерал. Она сидела у самого края, положила руки на рампу; на ней было белое платье и перлы на шее. Она говорила с ним и смотрела на меня. Два раза она посмотрела на меня. Прическа у ней была вот этак; я не играл, а стоял подле баса и смотрел. Тут в первый раз со мной сделалось странно. Она улыбнулась генералу и посмотрела на меня. Я чувствовал, что она говорит обо мне, и вдруг я увидел, что я не в оркестре, а в ложе стою с ней и держу ее за руку за это место. Что это такое? — спросил Альберт, помолчав.

— Это живость воображения, — сказал Делесов.

— Нет, нет... да я не умею рассказывать, — сморщившись отвечал Альберт. — Я уже и тогда был беден, квартиры у меня не было и, когда ходил в театр, иногда оставался ночевать там.

— Как? в театре? в темной пустой зале?

— Ах! я не боюсь этих глупостей. Ах, постойте. Как только все уходили, я шел к тому бунуару, где она сидела, и спал. Это была одна моя радость. Какие ночи я проводил там! Только один раз опять началось со мной. Мне ночью стало представляться много, но я не могу рассказать вам много. — Альберт, опустив зрачки, смотрел на Делесова. — Что это такое? — спросил он.

— Странно! — сказал Делесов.

— Нет, постойте, постойте! — Он на ухо шопотом продолжал. — Я целовал ее руку, плакал тут подле нее, я много говорил с ней. Я слышал запах ее духов, слышал ее голос. Она много сказала мне в одну ночь. Потом я взял скрипку и потихоньку стал играть. И я отлично играл. Но мне стало страшно. Я не боюсь этих глупостей и не верю; но мне стало страшно за свою голову, — сказал он, любезно улыбаясь и дотрогиваясь рукою до лба, — за свой бедный ум мне стало страшно, мне казалось, что-то сделалось у меня в голове. Может быть, это и ничего? Как вы думаете?

Оба помолчали несколько минут.

Und wenn die Wolken sie verhüllen,  
Die Sonne bleibt doch ewig klar<sup>1</sup>.

пропел Альберт, тихо улыбаясь. — Не правда ли? — прибавил он.

Ich auch habe gelebt und genossen!<sup>2</sup>

— Ах! старик Петров как бы все это растолковал вам.

Делесов молча, с ужасом смотрел на взволнованное и побледневшее лицо своего собеседника.

— Вы знаете «Юристен-вальцер»? — вдруг вскричал Альберт и, не дождавшись ответа, вскочил, схватил скрипку и начал играть веселый вальс. Совершенно забывшись и, видимо, полагая, что целый оркестр играет за ним, Альберт улыбался, раскачивался, передвигал ногами и играл превосходно.

— Э, будет веселиться! — сказал он, кончив и размахнув скрипкой.

— Я пойду, — сказал он, молча посидев немного, — а вы не пойдете?

— Куда? — с удивлением спросил Делесов.

— Пойдем опять к Анне Ивановне; там весело: шум, народ, музыка.

Делесов в первую минуту чуть было не согласился. Однако, опомнившись, он стал уговаривать Альберта не ходить нынче.

— Я бы на минуту.

— Право не ходите.

Альберт вздохнул и положил скрипку.

— Так остаться?

Он посмотрел еще на стол (вина не было) и, пожелав покойной ночи, вышел.

Делесов позвонил.

— Смотри, не выпускай никуда господина Альберта без моего спроса, — сказал он Захару.

## VI

На другой день был праздник. Делесов, проснувшись, сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился.

Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую.

<sup>1</sup> Пусть облака окутывают солнце, оно все же остается вечно сияющим.

<sup>2</sup> И я жил и наслаждался.

— Верите ль, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит! Ничего не хотел подостлать, ей-богу. Как дитя малое. Право, артист.

В двенадцатом часу за дверью послышалось кряхтенье и кашель.

Захар снова пришел в столовую; и барин слышал ласковый голос Захара и слабый просящий голос Альберта.

— Ну, что? — спросил барин у Захара, когда он вышел.

— Скучает, Дмитрий Иванович; умываться не хочет, пасмурный такой. Все просят выпить.

— Нет, уж если взялся, надо выдержать характер, — сказал себе Делесов.

И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плеванье. Прошло часа два. Делесов, одевшись, перед тем как выйти со двора, решился заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился.

— Если бы можно рюмочку простой водки, — сказал он с просящим выражением: — я так слаб... пожалуйста!

— Кофей вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал.

Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение: он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустил на стул.

— Или позавтракать не хотите ли?

— Нет, благодарю, не имею аппетита.

— Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать, — сказал Делесов, кладя скрипку на стол.

Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку.

— Нет; я слишком слаб, я не могу играть, — сказал он и отодвинул от себя инструмент.

После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт и причесан; но глаза его были тусклы, мертвы, и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще большие, чем утром.



— Что, вы обедали, господин Альберт? — спросил Делесов.

Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза.

Делесову сделалось неловко.

— Я говорил нынче о вас директору, — сказал он, тоже опуская глаза. — Он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать.

— Благодарю, я не могу играть, — проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собою дверь.

Через несколько минут замочная ручка так же тихо повернулась, и он вышел из своей комнаты со скрипкой. Злобно и бегло взглянув на Делесова, он положил скрипку на стул и снова скрылся.

Делесов пожал плечами и улыбнулся.

«Что же мне еще делать? в чем я виноват?» — подумал он.

— Ну, что музыкант? — был первый вопрос его, когда он поздно воротился домой.

— Плох! — коротко и звучно отвечал Захар. — Все вздыхает, кашляет и ничего не говорит, только раз пять принимался просить водки. Уж я ему дал одну. А то как бы нам его не загубить так, Дмитрий Иванович. Так-то приказчик..

— А на скрипке не играет?

— Не дотрагивается даже. Я тоже к нему ее приносил раза два, — так возьмет ее потихоньку и вынесет, — отвечал Захар с улыбкой. — Так пить не прикажете давать?

— Нет, еще подождем день, посмотрим, что будет. А теперь он что?

— Заперся в гостиной.

Делесов прошел в кабинет, отобрал несколько французских книг и немецкое евангелие.

— Положи это завтра ему в комнату, да смотри, не выпускай, — сказал он Захару.

На другое утро Захар донес барину, что музыкант не спал целую ночь: все ходил по комнатам и приходил в буфет, пытаясь отворить шкаф и дверь, но что все, по его старанию, было заперто. Захар рассказывал, что, притворившись спящим, он слышал, как Альберт в темноте сам с собой бормотал что-то и размахивал руками.

Альберт с каждым днем становился мрачнее и молчаливее. Делесова он, казалось, боялся, и в лице его выражался болезненный испуг, когда глаза их встречались. Он не брал в руки ни книг, ни скрипки и не отвечал на вопросы, которые ему делали.

На третий день пребывания у него музыканта Делесов приехал домой поздно вечером, усталый и расстроенный. Он целый день ездил, хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким, и, как это часто бывает, решительно ни шагу не сделал вперед, несмотря на усиленное старание. Кроме того, заехав в клуб, он проиграл в вист. Он был не в духе.

— Ну, бог с ним совсем, — отвечал он Захару, который объяснил ему печальное положение Альберта. — Завтра добьюсь от него решительно: хочет ли он или нет оставаться у меня и следовать моим советам? Нет — так и не надо. Кажется, что я сделал все, что мог.

«Вот делай добро людям! — думал он сам с собой. — Я для него стесняюсь, держу у себя в доме это грязное существо, так что утром принять не могу незнакомого человека, хлопочу, бегаю, а он на меня смотрит, как на какого-то злодея, который из своего удовольствия запер его в клетку. А главное — сам для себя и шагу не хочет сделать. Так сн и все (это «все» относилось вообще к людям и особенно к тем, до которых у него нынче было дело). И что с ним делается теперь? О чем он думает и грустит? Грустит о разврате, из которого я его вырвал? Об унижении, в котором он был? О нищете, от которой я его спас? Видно, уж он так упал, что тяжело ему смотреть на честную жизнь...»

«Нет, это был детский поступок, — решил сам с собою Делесов. — Куда мне братья других исправлять, когда только дай бог с самим собою сладить». Он хотел было сейчас отпустить его, но, подумав немного, отложил до завтра.

Ночью Делесова разбудил стук упавшего стола в передней и звук голосов и топота. Он зажег свечу и с удивлением стал прислушиваться...

— Погодите, я Дмитрию Ивановичу скажу, — говорил Захар; голос Альберта бормотал что-то горячо и несвязно. Делесов вскочил и со свечою выбежал в переднюю. Захар в ночном костюме стоял против двери, Альберт в шляпе и альмавиве отталкивал его от двери и слезливым голосом кричал на него.

— Вы не можете не пустить меня! У меня паспорт, я ничего не унес у вас! Можете обыскать меня! Я к полицмейстеру пойду!

— Позвольте, Дмитрий Иванович! — обратился Захар к барину, продолжая спиной защищать дверь. — Они ночью встали, нашли ключ в моем пальто и выпили целый графин сладкой водки. Это разве хорошо? А теперь уйти хотят. Вы не приказали, потому я и не могу пустить их.

Альберт, увидав Делесова, еще горячее стал приступать к Захару.

— Не может меня никто держать! не имеет права! — кричал он, все больше и больше возвышая голос.

— Отойди, Захар, — сказал Делесов. — Я вас держать не хочу и не могу, но я советовал бы вам остаться до завтра, — обратился он к Альберту.

— Никто меня держать не может! Я к полицмейстеру пойду! — все сильнее и сильнее кричал Альберт, обращаясь только к Захару и не глядя на Делесова. — Караул! — вдруг завопил он неистовым голосом.

— Да что же вы кричите так-то? ведь вас не держат, — сказал Захар, отворяя дверь.

Альберт перестал кричать. «Не удалось? Хотели уморить меня. Нет!» бормотал он про себя, надевая калоши. Не противясь и продолжая говорить что-то непонятное, он вышел в дверь. Захар осветил ему до ворот и вернулся.

— И слава богу, Дмитрий Иванович! А то долго ли до греха, — сказал он барину, — и теперь серебро поверить надо.

Делесов только покачал головой и ничего не отвечал. Ему живо вспомнились теперь два первые вечера, которые он провел с музыкантом, вспомнились печальные дни, которые по его вине провел здесь Альберт, и главное он вспомнил то сладкое смешанное чувство удивления, любви и сострадания, которое возбудил в нем с первого взгляда этот странный человек, и ему стало жалко его. «И что-то с ним будет теперь? — подумал он. — Без денег, без теплого платья, один посреди ночи...» Он хотел было уже послать за ним Захара, но было поздно.

— А холодно на дворе? — спросил Делесов.

— Мороз здоровый, Дмитрий Иванович, — отвечал Захар. — Я забыл вам доложить, до весны еще дров купить придется.

— А как же ты говорил, что останутся?

## VII

На дворе действительно было холодно, но Альберт не чувствовал холода, — так он был разгорячен выпитым вином и спором.

Выйдя на улицу, он оглянулся и радостно потер руки. На улице было пусто, но длинный ряд фонарей еще светил красными огнями, на небе было ясно и звездно. «Что?» сказал он, обращаясь к светившемуся окну в квартире Делесова,

и, засунув руки под пальто в карманы панталон и перегнувшись вперед, Альберт тяжелыми и неверными шагами пошел направо по улице. Он чувствовал в ногах и желудке чрезвычайную тяжесть, в голове его что-то шумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону, но он все шел вперед по направлению к квартире Анны Ивановны. В голове его бродили странные, несвязные мысли. То он вспоминал последний спор с Захаром, то почему-то море и первый свой приезд на пароходе в Россию, то счастливую ночь, проведенную с другом в лавочке, мимо которой он проходил; то вдруг знакомый мотив начинал петь в его воображении, и он вспоминал предмет своей страсти и страшную ночь в театре. Но, несмотря на несвязность, все эти воспоминания с такой яркостью представлялись его воображению, что, закрыв глаза, он не знал, что было больше действительность: то, что он делал, или то, что он думал. Он не помнил и не чувствовал, как переставлялись его ноги, как, шатаясь, он толкался об стену, как он смотрел вокруг себя и как переходил с улицы на улицу. Он помнил и чувствовал только то, что, причудливо сменяясь и перепутываясь, представлялось ему.

Проходя по Малой Морской, Альберт споткнулся и упал. Очнувшись на мгновение, он увидел перед собой какое-то громадное, великолепное здание и пошел дальше. На небе не было видно ни звезд, ни зари, ни месяца, фонарей тоже не было, но все предметы обозначались ясно. В окнах здания, возвышавшегося в конце улицы, светились огни, но огни эти колебались, как отражение. Здание все ближе и ближе, яснее и яснее выростало перед Альбертом. Но огни исчезли, как только Альберт вошел в широкие двери. Внутри было темно. Одинокие шаги звучно раздавались под сводами, и какие-то тени, скользя, убегали при его приближении. «Зачем я пошел сюда?» подумал Альберт; но какая-то непреодолимая сила тянула его вперед к углублению огромной залы... Там стояло какое-то возвышение, и вокруг его молча стояли какие-то маленькие люди. «Кто это будет говорить?» спросил Альберт. Никто не ответил, только один указал ему на возвышение. На возвышении уже стоял высокий, худой человек с щетинистыми волосами и в пестром халате. Альберт тотчас узнал своего друга Петрова. «Как странно, что он здесь!» подумал Альберт. «Нет, братья!»—говорил Петров, указывая на кого-то. «Вы не поняли человека, жившего между вами; вы не поняли его! Он не продажный артист; не механический исполнитель, не сумасшедший, не потерянный человек. Он гений, великий музыкальный гений, погибший

среди вас незамеченным и неоцененным». Альберт тотчас же понял, о ком говорил его друг; но, не желая стеснять его, из скромности опустил голову.

— «Он, как соломинка, сгорел весь от того священного огня, которому мы все служим, — продолжал голос: — но он исполнил все то, что было вложено в него богом; за то он и должен назваться великим человеком. Вы могли презирать его, мучить, унижать, — продолжал голос громче и громче, — а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он счастлив, он добр. Он всех одинаково любит или презирает, что все равно, а служит только тому, что вложено в него свыше. Он любит одно — красоту, единственно несомненное благо в мире. Да, вот кто он такой! Ниц падайте все перед ним, на колена!» — закричал он громко.

Но другой голос тихо заговорил из противоположного угла залы. «Я не хочу падать перед ним на колена, — говорил голос, в котором Альберт тотчас узнал голос Делесова. — Чем же он велик? И зачем нам кланяться перед ним? Разве он вел себя честно и справедливо? Разве он принес пользу обществу? Разве мы не знаем, как он брал взаймы деньги и не отдавал их, как он унес скрипку у своего товарища-артиста и заложил ее?.. («Боже мой! как он это все знает!» подумал Альберт, еще ниже опуская голову.) Разве мы не знаем, как он льстил самым ничтожным людям, льстил из-за денег? — продолжал Делесов. — Не знаем, как его выгнали из театра? Как Анна Ивановна хотела в полицию посылать его?» («Боже мой! это все правда, но заступись за меня, — проговорил Альберт: — Ты один знаешь, почему я это делал».)

— «Перестаньте, стыдитесь, — заговорил опять голос Петрова. — Какое право имеете вы обвинять его? Разве вы жили его жизнью? Испытывали его восторги? («Правда, правда!» шептал Альберт.) Искусство есть высочайшее проявление могущества в человеке. Оно дается редким избранным и поднимает избранника на такую высоту, на которой голова кружится, и трудно удержаться здоровым. В искусстве, как во всякой борьбе, есть герои, отдавшие все своему служению и гибнувшие, не достигнув цели.

Петров замолчал, а Альберт поднял голову и громко закричал: «Правда! правда!» Но голос его замер без звука.

— Не до вас это дело, — строго обратился к нему художник Петров. — Да, унижайте, презирайте его, — продолжал он, — а из всех нас он лучший и счастливейший!

Альберт, с блаженством в душе слушавший эти слова, не выдержал, подошел к другу и хотел поцеловать его.

— Убирайся, я тебя не знаю, — отвечал Петров, — проходи своей дорогой, а то не дойдешь...

— Вишь, тебя разобрало! не дойдешь, — прокричал будочник на перекрестке.

Альберт приостановился, собрал все силы и, стараясь не шататься, повернул в переулок.

До Анны Ивановны оставалось несколько шагов. Из сеней ее дома падал свет на снег двора, и у калитки стояли сани и кареты.

Хватаясь охолодевшими руками за перила, он взбежал на лестницу и позвонил.

Заспанное лицо служанки высунулось в отверстие двери и сердито взглянуло на Альберта. «Нельзя! — прокричала она: — не велено пускать», и захлопнула отверстие. На лестницу доходили звуки музыки и женских голосов. Альберт сел на пол, прислонился головой к стене и закрыл глаза. В то же мгновение толпы несвязных, но родственных видений с новой силой обступили его, приняли в свои волны и понесли куда-то туда, в свободную и прекрасную область мечтания. «Да, он лучший и счастливейший!» невольно повторялось в его воображении. Из двери слышались звуки польки. Эти звуки говорили тоже, что он лучший и счастливейший! В ближайшей церкви слышался благовест и благовест этот говорил: да, он лучший и счастливейший. «Но пойду опять в залу, — подумал Альберт. — Петров еще много, много должен сказать мне». В зале уже никого не было, и вместо художника Петрова на возвышеньи стоял сам Альберт и сам играл на скрипке все то, что прежде говорил голос. Но скрипка была странного устройства: она вся была сделана из стекла. И ее надо было обнимать обеими руками и медленно прижимать к груди для того, чтобы она издавала звуки. Звуки были такие нежные и прелестные, каких никогда не слышал Альберт. Чем крепче прижимал он к груди скрипку, тем отраднее и слаще ему становилось. Чем громче становились звуки, тем шибче разбегались тени и больше освещались стены залы прозрачным светом. Но надо было очень осторожно играть на скрипке, чтобы не раздавить ее. Альберт играл на стеклянном инструменте очень осторожно и хорошо. Он играл такие вещи, которых, он чувствовал, что никто никогда больше не услышит. Он начинал уже уставать, когда другой дальний глухой звук развлек его. Это был звук колокола, но звук этот произносил слово: «да», говорил колокол, далеко и высоко гудя где-то, «он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший! Никто никогда больше не будет играть на этом инструменте».

Эти знакомые слова показались внезапно так умны, так новы и справедливы Альберту, что он перестал играть и, стараясь не двигаться, поднял руки и глаза к небу. Он чувствовал себя прекрасным и счастливым. Несмотря на то, что в зале никого не было, Альберт выпрямил грудь и, гордо подняв голову, стоял на возвышении так, чтобы все могли его видеть. Вдруг чья-то рука слегка дотронулась до его плеча; он обернулся и в полусвете увидел женщину. Она печально смотрела на него и отрицательно покачала головой. Он тотчас же понял, что то, что он делал, было дурно, и ему стало стыдно за себя. «Куда же?» спросил он ее. Она еще раз долго, пристально посмотрела на него и печально наклонила голову. Она была та, совершенно та, которую он любил, и одежда ее была та же, на полной белой шее была нитка жемчуга, и прелестные руки были обнажены выше локтя. Она взяла его за руку и повела вон из залы. «Выход с той стороны», сказал Альберт; но она, не отвечая, улыбнулась и вывела его из залы. На пороге залы Альберт увидел луну и воду. Но вода не была внизу, как обыкновенно бывает, а луна не была наверху: белый круг в одном месте, как обыкновенно бывает. Луна и вода были вместе и везде— и наверху, и внизу, и сбоку, и вокруг их обоих. Альберт вместе с нею бросился в луну и воду и понял, что теперь можно ему обнять ту, которую он любил больше всего на свете; он обнял ее и почувствовал невыносимое счастье. «Уж не во сне ли это?» спросил он себя. Но нет! это была действительность, это было больше, чем действительность: это было действительность и воспоминание. Он чувствовал, что то невыразимое счастье, которым он наслаждался в настоящую минуту, прошло и никогда не вернется. «О чем же я плачу?» спросил он у нее. Она молча, печально посмотрела на него. Альберт понял, что она хотела сказать этим. «Да как же, когда я жив», протворил он. Она, не отвечая, неподвижно смотрела вперед. «Это ужасно! как растолковать ей, что я жив», с ужасом подумал он. — Боже мой! да я жив, поймите меня, — шептал он.

«Он лучший и счастливейший», говорил голос. Но что-то все сильнее и сильнее давило Альберта. Было ли то луна и вода, ее объятия или слезы, — он не знал, но чувствовал, что не выскажет всего, что надо, и что скоро все кончится.

Двое гостей, вышедшие от Анны Ивановны, наткнулись на растянувшегося на пороге Альберта. Один из них вернулся и вызвал хозяйку.

— Ведь это безбожно, — сказал он, — вы могли этак заморозить человека.

— Ах, уж этот мне Альберт, — вот где сидит, — отвечала хозяйка. — Аннушка! положите его где-нибудь в комнате, — обратилась она к служанке.

— Да я жив, зачем же хоронить меня? — бормотал Альберт, в то время как его бесчувственного вносили в комнаты.

28 февраля 1858 г.

## ТРИ СМЕРТИ

### Рассказ

#### I

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая — горничная, глянцево-румяная и полная. Короткие сухие волосы выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побояживанья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренне покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и беспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздражение и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную



четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрякивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

— Опять, — сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салоп горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, — и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии. «Хоть бы ты помогла мне!.. Ах!.. не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь!» Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

— Что это? — спросила госпожа.

— Станция, сударыня.

— Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

— Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревянную церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор, щупая пульс.

— Ну, как ты, мой друг, не устала? — спросил муж по-французски, — не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жались в угол, чтобы не мешать разговаривать.

— Ничего, то же самое, — отвечала больная. — Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

— Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать, — слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет, — прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. — Им хорошо, так и все равно. О! боже мой!»

— Ну что, Эдуард Иванович, — сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки, — я велел погребцу принести, вы как думаете насчет этого?

— Можно, — отвечал доктор.

— Ну, что она? — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

— Я говорил, она не может доехать не только до Италии, до Москвы дай бог. Особенно по этой дороге.

— Так что ж делать! Ах, боже мой! боже мой! — Муж закрыл глаза рукою. — Подай сюда, — прибавил он человеку, вносившему погребцу.

— Оставаться надо было, — пожав плечами, отвечал доктор.

— Да скажите, что же я мог сделать? — возразил муж, — ведь я употребил все, чтобы удержать ее; я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах, — она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении, ведь это значило бы убить ее.

— Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

— Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

— Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, — сказал доктор, значительно покачивая головой, — а то дорогой может быть худо...

— Аксюша, а Аксюша! — визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и толчась на грязном заднем крыльце, — пойдем, Ширкинскую барыню посмотрим, гово-

рят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

— Мм-а-тушки! — сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. — Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

— Да, какая худая! — поддакивала Аксюша. — Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

— Да и грязь же какая! — отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно я страшна стала, — думала больная. — Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

— Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос, — подумала больная, — а сам ест!»

— Ничего, — пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иванович тоже говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась, я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда, по крайней мере, дома.

— Что ж что дома?.. Умереть дома? — вспльчиво отвечала больная. Но слово умереть, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду, — сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. — Боже мой! за что же? — говорила она, и слезы лились сильнее. Она

долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

.....

## II

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

— Дядя Хведор! а дядя Хведор, — сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

— Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? — отозвался один из ямщиков: — вишь, тебя в карету ждут.

— Хочу сапог попросить; свои избил, — отвечал парень, скидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. — Аль спит? А, дядя Хведор? — повторил он, подходя к печи.

— Чаво? — послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. — Дай испить, брат, ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

— Да что, Федя, — сказал он, переминаясь, — тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, прижав усталой головой к глянцевитому ковшу и мокая редкие, отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, собираясь с силами.

— Може ты кому пообещал уже, — сказал парень, — так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать; я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

— Уж где надобны, — неожиданно сердито, на всю избу затрещала кухарка, — второй месяц с печи не слезает. Вишь надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевести его что ль в избу в дру- гую или куда! Такие больницы, слышь, в городе есть; а то разве дело, занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже чистоту спрашивают.

— Эй, Серега! иди, садись, господа ждут, — крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной гла- зами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

— Ты сапоги возьми, Серега, — сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. — Только, слышь, камень купи, как помру, — хрипя прибавил он.

— Спасибо, дядя, так я возьму, а камень ей-ей куплю.

— Вот, ребята, слышали, — мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

— Ладно, слышали, — сказал один из ямщиков. — Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, Ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно боль- шие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Фе- дора пришлились как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

— Эх сапоги важные! дай помажу, — сказал ямщик с по- мазкою в руке в то время, как Серега, влезая на козлы, под- бирая вожжи. — Даром отдал?

— Аль завидно, — отвечал Серега приподнимаясь и по- вертывая около ног полы армяка. — Пущай! Эх вы, любез- ные! — крикнул он на лошадей, взмахнув жнутиком; и карста и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скры- ваясь в сером осеннем тумане, шибко покатались по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не зы- кашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали, — больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

— Ты на меня не сердчай, Настасья, — проговорил боль- ной, — скоро опростаю угол-то твой.

— Ладно, ладно, что ж, ничаво, — пробормотала На- стасья. — Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

— Нутро все изныло. Бог его знает что.

— Небось, и глотка болит, как кашляешь?

— Везде больно. Смерть моя пришла — вот что. Ох, ох, ох! — простонал больной.

— Ты ноги-то укрой вот так, — сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

— Чудно́ что-то я нынче во сне видела, — говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. — Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю — куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. — Уже не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликался.

— И то не помер ли? Пойти посмотреть, — сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

— Пойти смотрителю сказать, кажись, помер, — сказал ямщик.

Родных у Федора не было — он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

### III

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежды и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка — мать больной — и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

— Ну, Христос с вами, мой друг, — говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери, — она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушку, идите же. — Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

— Вот теперь, кажется, я не заплакана, — сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью борода тоже поднялась сверху и опустилась.

— Боже мой! боже мой! — сказал муж.

— Что делать? — вздыхая, сказал священник, и снова брови и борода его поднялись сверху и опустились.

— И матушка тут! — почти с отчаяньем сказал муж. — Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

— Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, — сказал он, — однако бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

— Бог милосерд, — продолжал священник, когда она успокоилась немного. — Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу — можно бы испытать. По крайности, утешенье для больной бы было. Для бога все возможно.

— Нет, уже ей не жить, — проговорила старушка; — чем бы меня, а ее бог берет. — И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

— Что ж, детей-то не прикажете к мамаше сводить? — спросила няня.

— Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подпрыгнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

— Это она будто бы вороная, напаша! — прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденым разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

— Ах, мой друг, — сказала она, неожиданно перебивая ее, — не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, даже наверно была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпением свои страдания...

— Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись, — сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласия.

— Боже! прости меня грешную, — прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

— Это ангел! — сказала она мужу с слезами на глазах. Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Через пять минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы.

— Слава богу, оне спокойнее теперь, — сказал он, — желают вас видеть.

Кузина и муж вошли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг, — сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, — говорила больная, — и



легкая улыбка играла на ее тонких губах. — Как бог милостив! Не правда ли, он милостлив и всемогущ? — И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, — сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, поксрно слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего не хочет понимать!.. — И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня, — говорила больная, — это отнимает у меня последнее спокойствие.

— Ты ангел! — сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрыва, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо твое — смущаются, — гласил псалтырь, — возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светлозеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

— А грех тебе будет, Серега, — говорила раз кухарка на станции, — коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить; не купишь, еще раз придет, душить станет.

— Да что, я разве отрекаюсь, — отвечал Серега, — я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

— Ты бы хоть крест поставил, вот что, — отозвался старый ямщик, — а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Где его возьмешь крест-то? из полена не вытешешь?

— Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рошу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то поди еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рошу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, неосвещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение всё затихло, но снова погнулось дерево, снова послы-

шался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звук топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шелтались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.

1858—1859

## КАЗАКИ

*Кавказская повесть*

### I

Всё затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огонь уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противозаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и сжавшись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? — думает ладкой, с осунувшимся лицом, сидя в передней.—И всё на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, ле-

жит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

— Теперь можно все сказать! — говорит отъезжающий. — Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, — обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

— Да, виноват, — отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

— Я знаю, отчего ты это говоришь, — продолжает отъезжающий. — Быть любимым по-твоему такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

— Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, — подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

— Но отчего ж не любить и самому! — говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. — Отчего не любить? Не любитесь... Нет, любимым быть — несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! — Он махнул рукой. — Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; из отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не алгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидел, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

— Ну, да теперь кончено! — сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. — Одно только: ты еще не любил, и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то

и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

— Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить? Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

— В которой ты опять напутаешь, — сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

— Мне и грустно, и рад я, что еду, — продолжал он. — Отчего грустно, я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

— Дмитрий Андреевич, ящик ждать не хочет! — сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. — С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валеных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, — жизни трудов, лишений, деятельности.

— И в самом деле, прощай! — сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ящику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

— Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

— Да, — отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

— И может быть...

— Пожалуйста, свечи тушить приказано, — сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. — Счет за кем записать прикажете? За вами-с? — прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

— За мной, — сказал высокий. — Скільки?

— Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

— Прощай, ты отличный малый! — сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

— Ах, да! — сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. — Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

— Хорошо, хорошо, — сказал высокий, надевая перчатки. — Как я тебе завидую! — прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедem», и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «прощай».

Кто-то сказал: «пошел!» И ямщик тронул.

— Елизар, подавай! — крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

— Славный малый этот Оленин, — сказал один из провожавших. — Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

— Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взьерошенная тройка потащила из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез...

## II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!», твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся,

зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю!» и раз даже сказал: «Как хватит! отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких — ни физических, ни моральных оков: он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание — вздор — вздор, но чувствовал невольно

удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чутко приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, — на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине или на практическую деятельность, — не силу ума, сердца, образования, а тот не повторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет и, как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, — что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Лениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, спустился на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого



прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего же я еще не любил в самом деле?» представился ему вопрос. «Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: *не то, не то*, и точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит? не вяжет меня по рукам и по ногам?» думал он. «Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» приходит ему в голову. Но кто это они, он не знает, и, вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и 678 рублях, которые он остался должен портному, и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, боже мой, боже мой!» повторяет он, шурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня несмотря на то любила», думает он о девушке, про которую шла речь при прощаньи. «Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и все это будет заплачено, и чорт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагае-

мое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье», вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которую он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б\*\*\*, флигель-адъютант, и князь Д\*\*\*, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа? — подумал он, — и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать? Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что несколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей управляющий очень был бы озадачен, что я на ты с таким господином, как Сашка Б\*\*\*, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек», думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится,—где деньги и сколько их, где вид и подошвенная и шоссейная расписка, — и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось  $\frac{7}{11}$  всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на  $\frac{1}{8}$  всего состояния, — и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Ама-лат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростью и удивляющею всех силой он убивает и пожоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности,

то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б\*\*\* тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая прищивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога она, ожидающая его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее щеки, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразована, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris», например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию, и надо перелезть из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет, — говорит он сам себе. — Почести — вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое, — те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество», приходило ему иногда в голову. «А эти люди, которых я здесь вижу, — не люди; никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, через который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих, — больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают когонибудь из моих знакомых», и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, красиво и воинственно. И Оленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не обижая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменяли сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна, — неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» говорил себе Оленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и как он ни

старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту — чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.

— Что это? Что это такое? — спросил он у ямщика.

— А горы, — отвечал равнодушно ногаец.

— И я тоже давно на них смотрю, — сказал Ванюша: — вот хорошо-то! Дома не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше глядяваясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо, и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу, и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекон виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость; а горы...

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около 80 верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности, и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно наносит сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывает обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подростка. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину большая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмывает их, и теперь видны только густо-заросшие старые городища, сады, груши, лычи и райны, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков<sup>1</sup>, зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженей в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской или Моздокской степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Теремом — Большая Чечня, Кочкальковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и наконец снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, старoverы, бежали из России и поселились за Теремом, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там, во всей прежней чистоте, русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему

<sup>1</sup> Волков. (Прим. астора.)

лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляют главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя, и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее чем на Западе влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо

убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чупяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободою. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славилась своею красотою по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, — река; с другой — зеленеют виноградные, фруктовые сады, и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою крытою камышом крышкою, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак, в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот, иногда делает, иногда не делает фронт проходящему офицеру. Под крышкою ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все — ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими



улицами и переулками. Перед светлыми, большими окнами многих домов, за огородками, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светло-лиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда.

На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками; и за высокй оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

## V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись беломатовые грмады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам, везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволыцы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки, и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула

и скидывает ярмо с мотающих головами быков и переключается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник шутя кричит: «выше подними, срамница», и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в санетке<sup>1</sup> еще бьющихся серебрястых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зилун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча проламывается сквозь ворота, за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чортова девка, — кричит мать: — чувяки-то<sup>2</sup> все истоптала»... Марьяна ни сколько не оскорбляется названием чортовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клетки ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку*<sup>3</sup>, и обе несут два больших горшка молока, подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко передельвается в каймак, девка разжигает огонь, а старуха вы-

---

<sup>1</sup> Наметка. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Чувяки — обувь. (Прим. автора.)

<sup>3</sup> Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. (Прим. автора.)

ходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизняка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда слышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора подходит к бабуке Улитке просить огня, в руке у нее тряпка.

— Что, бабука, убрались? — говорит она.

— Девка топит. Аль огоньку надо? — говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

— Что твой-то, мать, в школе? — спрашивает пришедшая.

— Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет, — говорит хорунжиха.

— Человек умный ведь; в пользу все.

— Известно, в пользу.

— А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают, — говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

— На кордоне и стоит?

— Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, велел, ничего.

— Ну и слава богу, — говорит хорунжиха. — Урван — одно слово.

Лукашка прозван *урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

— Благодарю бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют, — говорит Лукашкина мать. — Только бы женить его, и померла бы спокойно.

— Что ж, девок мало ли по станице? — отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

— Много, мать, много, — замечает Лукашкина мать и качает головой. — Твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому что она хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же, потому что приличие того требует.

— Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет, — говорит она сдержанно и скромно.

— Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем, — говорит Лукашкина мать. — Илье Васильевичу кланяться придем.

— Что Илья! — гордо говорит хорунжиха: — со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: — Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо, — прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Крала девка, работница девка, — думает она, глядя на красавицу. — Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, о чем-то трудно думает до тех пор, пока девка не позвала ее.

## VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка-урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост — на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурился поглядывая то на даль за Терек, то вниз на товарищей казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливей отделялся от непо-

движных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издаലെка видневшихся чеченоч в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*<sup>1</sup> с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал*<sup>2</sup> от полкового командира казак с *цыдулкой*<sup>3</sup>, в которой значилось, что, по полученным через лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность, — на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою, седоватою, черною бородой в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразный, бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

<sup>1</sup> Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Прибегал значит на казачьем наречьи приезжал верхом. (Прим. автора.)

<sup>3</sup> Цыдулкой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. автора.)

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый мальчик, лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был собран в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с тою особю казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборвано, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнуто это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «молodeц мальчик!»

— Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

— За водой, должно, идут.

— Из ружья бы пугнуть, — сказал Лукашка, смеиваясь, — то-то бы переполошились!

— Не донесет.

— Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу<sup>1</sup> пить, — сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый лягавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерощки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерощка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался не-

<sup>1</sup> Татарское пиво из пшена. (Прим. автора.)

высоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи *поршни*<sup>1</sup> и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес через одно плечо *кобылку*<sup>2</sup> и мешок с курочкой и копчиком для приманки ястреба; через другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтобы отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

— Гей, Лям! — крикнул он на собаку таким залившимся басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинтой*, приподнял шапку.

— Здорово дневали, добрые люди! Гей! — обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

— Здорово, дядя! Здорово! — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

— Что видали? Сказывай! — прокричал дядя Ерошка отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

— Слышь, дядя! Какой ястреб во-тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется, — сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

— Ну, ты! — недоверчиво сказал старик.

— Право, дядя, ты *посиди*<sup>3</sup>, — подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

— Э, дурак, только брехать! — проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

— Надо *посидеть*. *Посижу*, — отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. — А свиной видали?

— Легко ли! Свиной смотреть! — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими ру-

<sup>1</sup> Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Орудие для того, чтобы подкрадываться под фазанов. (Прим. автора.)

<sup>3</sup> *Посидеть* — значит караулить зверя. (Прим. автора.)

ками почесывая свою длинную спину. — Тут абреков ловить, а не свиней надо. Ты ничего не слышал, дядя, а? — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

— Абреков-то? — проговорил старик; — не, не слышал. А что чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси, — прибавил он.

— Ты что ж *посидеть*, что ли, хочешь? — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

— Хотел *ночку посидеть*, — отвечал дядя Ерощка: — може к празднику и даст бог, *замордую* что; тогда и тебе дам; право!

— Дядя? Ау! Дядя, — резко крикнул сверху Лукашка, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. — Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намеднись наш казак одного стрелил. Правду, говорю, — прибавил он, поправляя за спиной винтовку, и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

— Э, Лукашка-урван здесь! — сказал старик, взглядывая кверху. — Кое место стрелил?

— А ты и не видал! Маленький видно, — сказал Лукашка. — У самой у канавы, дядя, — прибавил он серьезно, встряхивая головой. — Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет*<sup>1</sup>... Да и тебе покажу, дядя, кое место, — не далеке. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, — пора сменять! — и, подобрав ружье, не дожидаясь приказа, стал сходить с вышки.

— Сходи, — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. — Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то ловок стал Лукашка твой, — прибавил урядник, обращаясь к старику. — Все как ты ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

## VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки, кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу копчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спустился на курочку. Лукашка нетерпеливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов

<sup>1</sup> Лопнет — выстрелит, на казачьем языке. (Прим. автора.)



и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

— Гей, Лука! — слышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки. — Казаки ужинать пошли. Назарка с живым фазаном подмышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

— О! — сказал Лукашка замолкая. — Где петуха-то взял? Должно мой пружок<sup>1</sup>.

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

— Не знаю чей, должно твой.

— За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера поставил. — Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

— Ныне пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

— Что ж, сами съедим или уряднику отдать?

— Будет с него.

— Боюсь я их резать, — сказал Назарка.

— Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

— Вот так-то делай! — проговорил Лукашка, бросая петуха. — Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

— А слышь, Лука, опять нас в секрет пошлет чорт-то, — прибавил он, поднимая фазана и под чортом разумея урядника. — Фомушкина за чихирем усла, его черед был. Котору ночь ходим. Только на нас выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел по кордону.

— Захвати бечевку-то! — крикнул он.

Назарка повиновался.

— Я ему нынче скажу, право, скажу, — продолжал Назарка. — Скажем: не пойдем, измучилсь, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

— Во нашел о чем толковать! — сказал Лукашка, видимо думая о другом: — дряни-то! Добро бы из станицы на ночь

<sup>1</sup> Силки, которые ставят для ловли фазанов. (Прим. автора.)

выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты!..

— А в станицу придешь?

— На праздник пойду.

— Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет, — вдруг сказал Назарка.

— А чорт с ней! — отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. — Разве я другой не найду.

— Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел; под окном, слышит, она и говорит: «ушел чорт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А си и говорит из-под окна: «славно!»

— Врешь!

— Право, ей-богу.

Лукашка помолчал. — А другого нашла, чорт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

— Вот ты чорт какой! — сказал Назарка. — Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился. — Что Марьянка! Все одно! — сказал он.

— Да вот сунься-ка...

— А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засмеялся и пошел по кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал. — То-то шомпол будет, — сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казаки сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о череде в секрет. — Кому ж нынче итти? — крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

— Да кому итти? — отозвался урядник. — Дядя Бурлак ходил. Фомушкин ходил, — сказал он не совсем уверенно. — Идите вы, что ли? Ты да Назар, — обратился он к Луке, — да Ергушов пойдет; авось проспался.

— Ты-то не просыпался, так ему как же! — сказал Назарка вполголоса.

Казаки засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

— Да скорей идите; поужинайте и идите, — сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил

дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков. — Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник бежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

— Что ж, итти надо, — говорил Ергушов: — порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, итти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

— Ну, ребята, — загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса, — вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду.

### VIII

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона в бурках и с ружьями за плечами пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел итти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

— Здесь, что ль, сидеть? — сказал Назарка.

— А то чего ж? — сказал Лукашка. — Садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

— Самое тут хорошее место; нас не видать, а нам видно, — сказал Ергушов; — тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

— Вот, тут недалече, дядя, — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика: — я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

— Укажь; ты молодец, Урван, — так же шопотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул. — Вот где пить прошли, видишь, что ль? — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

— Спаси тебя Христос, — отвечал старик. — Карга за канавой в котлубани<sup>1</sup> будет, — прибавил он. — Я посижу, а ты ступай.

<sup>1</sup> Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящевую шкуру. (Прим. автора.)

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глянцевиной поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить; кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

— Как сидеть весело, право, место хорошее, — сказал он. — Проводил?

— Указал, — отвечал Лукашка, расстилая бурку. — А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

— Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, — сказал Ергушов, завертываясь в бурку. — Я теперь засну, — прибавил он: — ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, погним; а там ты заснешь, я посижу... Так-то.

— Я и спать, спасибо, не хочу, — ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и большая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями деревьев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше гляцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше, — и вода, и берег, и туча, все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху каряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного

отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и течение воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую голову казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Пршла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделившийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и итти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его *душенька*, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед затем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить», подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обрастила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже

показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убью!» подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подшошки, положил на них ружье, неслышно, придерживав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану», думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» подумал он, и вот при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружье прямо на голсу. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек», подумал он радостно и вдруг, порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке, проговорив: «отцу и сыну», пожел шашечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыш и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.

— Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

— Молчи, чорт! — стиснув зубы, прошептал на него Лука. — Абреки!

— Кого стрелил? — спрашивал Назарка. — Кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающею карчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

— Чего стрелил? Что не сказываешь? — повторили казаки.

— Абреки! сказывают тебе, — повторил Лука.

— Будет брехать-то! Али так выпало ружье-то?..

— Абрека убил! Вст что стрелил! — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. — Человек плыл... — сказал он, указывая на отмель. — Я его убил. Глянь-ка сюда.

— Будет врать-то, — повторял Ергушов, протирая глаза.

— Чего будет? Вот погляди! Гляди сюда, — сказал Лукашка, схватывая его за плечи и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменял тон.

— Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю,— сказал он тихо и стал осматривать ружье. — Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распрясался и стал скидывать черкеску.

— Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов. — Сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи; убьют, верно говорю.

— Так я один и пошел! Ступай сам, — сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

— Не лазай, говорят, — проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. — Вишь не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар. Эка робеешь! Не робей, я говорю.

— Лука, а Лука! — говорил Назарка, — да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

— Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

— Я говорю, уйдут, — сказал Ергушов, поднимаясь, — ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

— Ну, смотри, Лука, не шелохнись, — проговорил Ергушов, — а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

— Иди, знаю, — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слышать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, котсрые теперь уйдут. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и, приладив подсошки, готсь был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

— Гей, казаки! Дядю не убей, — послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерощка вплоть подошел к нему.

— Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! — сказал Лукашка.

— Что стрелил? — спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

— Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя, — сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская глаз, смотрел на ясно теперь белешую спину, сколо которой рябил Терек.

— С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? — говорил Лука.

— Чего не видать! — с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. — Джигита убил, — сказал он как будто с сожалением.

— Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услышал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на меня, то так аж спина видна. «Отцу и сыну и святому духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

— Так и поймал! — сказал старик. — Далече, брат, теперь... — И он опять печально покачал головою. В это время



пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев слышались по берегу. — Ведут каюк, что ли? — крикнул Лука. — Молодец, Лука! тащи на берег! — кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

— Погоди, каюк Назарка ведет, — кричал урядник.

— Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, — прокричал другой казак.

— Толкуй! — крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. — Как есть мертвый! — прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные за спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

— Вот так сазан попался! — сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

— Да и желтый же какой! — сказал другой.

— Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? — сказал третий.

— То-то ловкой должно, вперед всех выискался. Самый видно джигит! — насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. — Борода крашена, подстрижена.

— И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, — сказал кто-то.

— Слышишь, Лукашка! — сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. — Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три монета дам. Вишь, око и с свищом, — прибавил он, пуская дух в дуло: — так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил: ему видимо досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

— Вишь, чорт какой! — сказал он, хмурясь и бросая на землю чеченский зипун: — хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

— Годится за дровами ходить, — сказал другой казак.

— Мосев! я домой схожу, — сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

— Иди, что ж!

— Оттащи его за кордон, ребята, — обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. — Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Может из гор выкупать будут.

— Еще не жарко, — сказал кто-то.

— А чакалка изорвет! Это разве хорошо? — заметил один из казаков.

— Караул поставим, а то выкупать придут; нехорошо, коли порвет.

— Ну, Лукашка, как хочешь; ведро ребятам поставишь, — прибавил урядник весело.

— Уж как водится, — подхватили казаки. — Вишь, счастье бог дал: ничего не видавши, абрека убил.

— Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бег с тобой, — говорил Лука. — Мне не налезут: поджарый, чорт, был.

Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой два ведра.

— Пей, ребята, ведро ставлю, — сказал Лука, — сам из станицы привезу.

— А портки девкам на платки изрежь, — сказал Назарка. Казаки захохотали.

— Будет вам смеяться, — повторил урядник, — оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

— Что стали? Тащи его сюда, ребята! — повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану под виском и лицо убитого. — Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги, — проговорил он: — не пропадет, хозяева узнают. — Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку в проснувшемся лесу; встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было

стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежее-выбритая круглая голова с запекшейся раной сбоку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стекло-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх, казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в края и выставившихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная, тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка все еще не одевался. Он был мокрым, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

— Тоже человек был! — проговорил он, видимо любясь мертвецом.

— Да, попался бы ему, спуска бы не дал, — отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от станицы, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

— Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? — говорил Лука резким голосом.

— Я к Ямке зайду. Погуляем, что ль? — спрашивал покорный Назар.

— Уж когда же гулять-то, что не ныне, — отвечал Лука.

Пойдя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

## Х

На третий день после описанного события две роты казачьего пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали кольца для коновязи. Квартиреры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывали квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фронт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут были и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович, фельдфебель. И находилось все это в той самой станице,

где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распущенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по-двое, по-трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатики, поглядывая то на дым, незаметно поднимающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на все и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

— Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? — говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

— А что, Иван Васильич? — спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом, Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул у него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночью жизнью желтоватого лица на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровый загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков — красный ворот канаусового бешмета, который

стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

— Вам вот смешно, — сказал Ванюша, — а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься. — Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. — Не русские какие-то.

— Да ты бы станичного начальника спросил.

— Да ведь я их местоположения не знаю, — обиженно отвечал Ванюша.

— Кто же тебя так обижает? — спросил Оленин, оглядываясь кругом.

— Чорт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую-то кригу<sup>1</sup>, говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси господи, — отвечал Ванюша, хватаясь за голову. — Как тут жить будем, я уж не знаю. Хуже татар, ей-богу. Даром что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благородней. «На кригу пошел!» Какую кригу выдумали, неизвестно! — заключил Ванюша и отвернулся.

— Что? не так, как у нас на дворе? — сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

— Лошадь-то пожалуйте, — сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

— Так татарин благородней? а, Ванюша? — повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

— Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно! — проговорил Ванюша сердитым голосом.

— Постой, не сердись, Иван Васильич, — отвечал Оленин, продолжая улыбаться. — Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри, все улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, только, прищуриив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ва-

<sup>1</sup> Кригой называется место у берега, отгороженное плетнем для ловли рыбы. (Прим. автора.)

нюша, в минуты хорошего расположения духа, отпуская французские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин взбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубаше, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубашки. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубашкой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она!—подумал Оленин.—Да еще много таких будет»,—вслед затем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубаше, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

— Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел... — начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

— Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебе немочь! — закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь, однако, он хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

— Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Эку болячку не видали! Расстрели тебя в животы сердце!..—пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

Видно, Ванюша прав! — подумал Оленин: — Татарин благороднее», и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время как он выходил, Марьяна, как была в одной розовой рубаше, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения краса-

вицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть она», подумал он. И еще менее думая о квартире и все оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

— Вишь, и девка такая же дикая! — сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся: — ровно кобылка табунная. *Лафам!* — прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

## XI

Вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирив свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три монета в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закурив папироску, сел у окна, выходящего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Терекон, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы, — в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле — непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах — спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо, что он не хуже других и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое, хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно, на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы.

Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

— Сучку поцеловал! кувшин облизал! дядя Ерошка сучку поцеловал!—закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. — Сучку поцеловал! Кинжал пропил! — кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

— Мой грех, ребята! мой грех! — приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. — Сучку пропил, мой грех! — повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему все равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охотником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

— Дедушка! казак! — обратился он к нему. — Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

— Здравствуй, добрый человек, — сказал он, приподнимая над коротко-обстриженной головой свою шапочку.

— Здравствуй, добрый человек, — отвечал Оленин. — Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну. — А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей, — сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. — Ты начальник армейских, что ли?

— Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? — спросил Оленин.

— В лесу три курочки замордовал, — отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. — Али ты не видывал? — спросил он. — Коли хочешь, возьми себе парочку. На! — И он подал в окно двух фазанов. — А что, ты охотник? — спросил он.

— Охотник. Я в походе сам убил четырех.

— Четырех? Много! — насмешливо сказал старик. — А пьяница ты? Чихирь пьешь?

— Отчего ж? и выпить люблю.

— Э, да ты, я вижу, молодец! Мы с тобой кунаки будем, — сказал дядя Ерошка.

— Заходи, — сказал Оленин. — Вот и чихирю выпьем.

— И то зайти, — сказал старик. — Фазанов-то возьми.



По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить, и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белой окладистой бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилстая, толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатými складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на середину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

— *Кошкильды!* — сказал он. — Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-ихнему.

— *Кошкильды!* Я знаю, — отвечал Оленин, подавая ему руку.

— Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. — Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи: *алла рази бо сун*, спаси бог. Так-то, отец мой, а не *кошкильды*. Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

— Чему ж ты меня научишь? — спросил Оленин, все более и более заинтересовываясь стариком.

— На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек... Я шутник! — И старик засмеялся. — Я сяду, отец мой, я устал. Карга? — прибавил он вопросительно.

— А карга что значит? — спросил Оленин.

— А это значит: *хорошо* по-грузински. А я так говорю; поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю*. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднести. Солдат драбант есть у тебя? Есть? Иван! — закричал старик. — Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

— И то Иван. Ванюша! Возьми пожалуйста у хозяев чихиря и принеси сюда.

— Все одно, что Ванюша, что Иван! Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! — повторил старик. — Ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай; а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ, — продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюша вышел: — они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему хоть ты и солдат, а все человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосенч солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? Зато-то меня наши и не любят; а мне все равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

## XII

Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цырюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерошку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

— Здравствуйте, любезненькие, — сказал он, решившись быть особенно кротким. — Барин велел чихирю купить; налейте добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

— Я деньги заплачу, почтенные, — сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. — Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше, — прибавил он.

— Много ли? — отрывисто спросила старуха.

— Осьмушку.

— Поди, родная, нацеди им, — сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. — Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

— Скажи пожалуйста, кто это такая женщина? — спросил офицер, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

— Постой, — проговорил он и высунулся в окно. — Кхм! кхм! — закашлял и замычал он. — Марьянушка! А, нянюка Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник, — прибавил он шолотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватую, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

— Полюби меня, будешь счастливая! — закричал Ерощка и, подмигивая, вопросительно взглянул на офицера. — Я молодец, я шутник, — прибавил он. — Королева девка? А!

— Красавица, — сказал Оленин. — Позови ее сюда.

— Ни-ни! — проговорил старик. — Эту сватают за Лукашку. Лука — казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уж сказал, — сделаю; красавицу достану.

— Старик, а что говоришь, — сказал Оленин. — Ведь это грех!

— Грех? Где грех? — решительно отвечал старик. — На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить, да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и подпернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски и что у них, в дворне, то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «*Ла филь ком се тре бье*<sup>1</sup> для разнообразия, — думал он, — скажу теперь барину».

— Что застал-то чорт! — вдруг крикнула девка. — Подал бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше.

— Мамуке деньги отдай, — сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами.

<sup>1</sup> Девушка, это очень хорошо.

Ванюша усмехнулся.

— Отчего вы такие сердитые, миленькие? — сказал он, добродушно переминаясь, в то время как девка закрывала бочку.

Она засмеялась.

— А вы разве добрые?

— Мы с господином очень добрые, — убедительно отвечал Ванюша. — Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хзяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

— А что, он женатый, твой пан-то? — спросила она.

— Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут, — поучительно возразил Ванюша.

— Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? — спросила она.

— Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то имеет себе больше генерала — большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает, — гордо объяснил Ванюша. — Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то пожалуй и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

— Иди, запру, — прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули*<sup>1</sup>, и тотчас же с глупым хохотом ушел.

### XIII

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки, и бабы засутились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень застлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подов двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

---

<sup>1</sup> Девушка очень красивая.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы спрашивали.

— А награда, я чай, большая ему будет? — говорила казачка.

— А то как же? Бают, крест вышлют.

— Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

— То-то подлая душа, Мосев-то.

— Сказывали, пришел Лукашка-то, — сказала одна девка.

— У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, державшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

— Эко Урвану счастье! — сказал кто-то. — Прямо, что урван! Да что! малый хорош. Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла. — Вон они идут никак, — продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице. — Ергушов-то поспел с ними. Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и все, громко смеясь, толкал под бока Назарку.

— Что, скурехи, песен не играете! — крикнул он на девок. — Я говорю, играйте на наше гулянье.

— Здорово дневали? Здорово дневали? — слышались приветствия.

— Что играть? разве праздник? — сказала баба. — Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку. — Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

— Что, красавицы, заснули? — сказал Назарка. — Мы с кордона помолить<sup>1</sup> пришли. Вот Лукашку помолили.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея были у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка тихо стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движе-

<sup>1</sup> Помолить на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья; вообще употребляется в смысле выпить. (Прим. автора.)

нием приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплеывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

— Что же? надолго пришли? — спросила казачка, прерывая молчанье.

— До утра, — степенно отвечал Лукашка.

— Да что ж, дай бог тебе интерес хороший, — сказал казак: — я рад, сейчас говорил.

— И я говорю, — подхватил пьяный Ергушов, смеясь. — Гостей-то что! — прибавил он, указывая на проходившего солдата. — Водка хороша солдатская, люблю!

— Трех дьяволов к нам пригнали, — сказала одна из казачек. — Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

— Ага! Аль горе узнала? — сказал Ергушов.

— Табачищем закурили небось? — спросила другая казачка. — Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чортов сын, к себе не поставил, станичный-то.

— Не любишь! — опять сказал Ергушов.

— А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить, — сказал Назарка, отставляя ногу как Лукашка и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девуку, которая ближе сидела к нему. — Верно, говорю.

— Ну, смола! — запищала девка. — Бабе скажу.

— Говори! — закричал он. — И впрямь Назарка правду баит; цыдула была, ведь он грамотный. Верно. — И он принялся обнимать другую девуку по порядку.

— Что пристал, сволочь? — смеясь запищала румяная круглолицая Устенка, замахаясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

— Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

— Ну, смола, чорт тебя принес с кордону! — проговорила Устенка и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. — Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал и лучше б было.

— Завыла бы небось! — засмеялся Назарка.

— Так тебе и завою!

— Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а! — говорил Ергушов.

Лукашка все время молча глядел на Марьянку. Взгляд его видимо смущал девуку.

— А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? — сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

— Да, им хорошо, как две хаты есть, — вмешалась за Марьяну старуха: — а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать! — сказала она. — И каку черную немочь они тут работать будут!

— Сказывают, мост на Тереку стронть будут, — сказала одна девка.

— А мне сказывали, — промолвил Назарка, подходя к Устенке, — яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят. — И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

— Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку, — сказал Назарка.

— Не, моя старая слаще, — кричал казак, целуя отбивавшуюся старуху.

— Задушит, — кричала она смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

— Люди стоят, обойди, — проговорил он, только искося и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

— Эки нарядные ребята! — сказал Назарка. — Ровно уставщики длиннополые, — и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все спять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

— А начальник у вас где стоит? — спросил он.

Марьяна подумала.

— В новую хату пустили, — сказала она.

— Что он старый или молодой? — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

— А я разве спрашивала, — отвечала девка. — За чихирем ему ходила, видела с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий какой-то. А добра целую арбу полную привезли.

И она опустила глаза.

— Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на завалинке к девке и все глядя ей в глаза.

— Что ж, надолго пришел? — спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

— До утра. Дай семечек, — прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

— Все не бери, — сказала она.

— Право, все о тебе скучился, ей-богу, — сказал сдержанно спокойным шопотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и, еще ближе пригнувшись к ней, стал шопотом говорить что-то, смеясь глазами.

— Не приду, сказано, — вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

— Право... Что я тебе сказать хотел, — прошептал Лукашка: — ей-богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

— Нянюка Марьянка! А, нянюка! Мамука ужинать зовет, — прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

— Сейчас приду, — отвечала девка: — ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

— Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет, — сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станцией. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девки, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Ишь, хорунжиха! — думал он про Марьяну: — и не пошутит, чорт! Дай срок».



Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

— Вишь, чорт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой, — сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо. — Что я тебе сказать хотел... ей-богу!.. — Голос его дрожал и прерывался.

— Какие разговоры нашел по ночам, — отвечала Марьяна. — Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая угрожать ей подождать на часок.

— Ну, что́ сказать хотел, полуночник! — И она опять засмеялась.

— Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-богу! Что ж, что у меня душенька есть? А чорт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду — что́ хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погромел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

— Да и что все ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка! Что хочешь надо мной делай, — вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

— Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова, — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. — Известно, я девка, а ты меня послушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что́ скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься, — сказала Марьяна, не отворачивая лица.

— Что́ замуж пойдешь? Замуж — не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, — говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

— Братец! — прошептала она, порывисто прижимая его к

себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

— Иди! Увидят! — проговорила она. — Вон и то, кажись, постоялец наш, чорт, по двору ходит.

«Хорунжиха! — думал себе Лукашка, — замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

#### XIV

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «постоялец-то, чорт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ершкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечку и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую, стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ершкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ершка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без устали. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку *Широкого*, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего няню<sup>1</sup> Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала. И все это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

— Так-то, отец ты мой, — говорил он, — не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе все показал. Нынче Ершка кувшин облизал, а то Ершка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда<sup>2</sup>, к кому выпить

<sup>1</sup> Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном «няней» называется друг. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру — Гурда. (Прим. автора.)

пойти; с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Все Ерощка. Кого девки любят? Все Ерощка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник; на все руки был. Нынче уж и казачков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерощка указал на аршин от земли); сапоги дурацкие наденет, все на них смотрит; только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а как что-то. А я кто был? Я был Ерощка вор; меня, мало по станицам, в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я бывало со всеми кунак: татарин — татарин; армяшка — армяшка; солдат — солдат; офицер — офицер; мне все равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татаринком не ешь.

— Кто это говорит? — спросил Оленин.

— А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «вы неверные гяуры, зачем свинью едите?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что бог дал, то и лопают. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что все одна фальшь, — прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин.

— Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленной, войсковой старшина — кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это все уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и всё. — Старик зашептался. — Отчаянный был!

— А сколько тебе лет? — спросил Оленин.

— А бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, а я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

— Будет. А ты еще молодец.

— Что же, благодарю бога, я здоров, всем здоров; только баба ведьма испортила...

— Как?

— Да так испортила...

— Так, как умрешь, трава вырастет? — повторил Оленин. Ерощка видимо не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

— А ты как думал? Пей! — закричал он, улыбаясь и поднося вино.

— Так о чем бишь я говорил? — продолжал он, припоминая. — Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где, все знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб, — все есть, благодарю бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе все покажу. Я какой человек? След найду; уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик<sup>1</sup> сделаю, и сижу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагресишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дождаешься. Все-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь? Звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь? Лес шелыхается, все ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся или гуси. Гуси — так до полночи, значит. И всё это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я, зверя выждал, и попал ли он его или так только испортил, и пойдет сердечный по камышу кровь мазать, так, даром! Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: может, абрек какого казачонка глупого убил. Всё это в голове у тебя ходит. А то раз, сидел я на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой чорт: взял за ножки, да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Всё сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе; сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «беда, мол детки: человек сидит», и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

<sup>1</sup> Лопазик называется место для сиденья на столбах или деревьях. (Прим. автора.)

— Как же это свинья поросётам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то. Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он все знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а всё она не хуже тебя; такая же тварь божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек! — повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерощка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колышавшимся огнем свечи и попадали в него.

— Дура, дура! — заговорил он. — Куда летишь? Дура! Дура! — Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

— Сгоришь, дурочка, вот сюда, лети, места много, — приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. — Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шопот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак в темной черкеске и белом *курпее* на шапке (это был Лука) прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла мимо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски, одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватили душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины, — все, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На

востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали все глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руки, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин все ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

— Это знаешь, кто поет? — сказал старик, очнувшись. — Это Лукашка джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется, дурак, дурак!

— А ты убивал людей? — спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул свое лицо к лицу Оленина.

— Чорт! — закричал он на него. — Что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян, — сказал он вставая. — Завтра на охоту приходите?

— Приходи.

— Смотри, раньше вставать, а проспишь — штраф.

— Небось, раньше тебя встану, — отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погода раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Что за люди, что за жизнь!» подумал Оленин, вздохнул, и один вернулся в свою хату.

## XVI

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев, и русских было у него в душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. Простота Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские

все просто и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной казаков заботливости о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены: окровавленный зипун, половина сдобной лепешки и рядом с ней ошипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадushке с грязною вонючею водой размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал копчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смиренно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерошка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и задрал сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате, и особенно около самого старика, воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

— *Уйде-ма, дядя?* (то есть, дома, дядя?) — слышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

— *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! — закричал старик. — Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, поываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку, и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения: «Что ж? люди достаточны, — говорил он сам себе. — Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешку несут другой раз».

— Здорово, Марка! Я тебе рад, — весело прокричал старик и, быстрым движением скинув босые ноги с кровати,

вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз и сделал *выходку*. — Ловко, что ль! — спросил он, блестя маленькими глазками. — Лукашка чуть усмехнулся. — Что, аль на кордон? — сказал старик.

— Тебе чихирю принес, дядя, что на кордоне обещал.

— Спаси тебя Христос, — проговорил старик, поднял вальявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. — Готов! — сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

— Будь здоров! Отцу и сыну! — сказал старик, с торжественностью принимая вино. — Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть, крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

— У меня все есть, и закуска есть, благодарю бога, — сказал он гордо. — Ну что Мосев? — спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо, желая знать мнение старика.

— За ружьем не стой, — сказал старик: — ружье не дашь, награды не будет.

— Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку? <sup>1</sup> А ружье важное, крымское, восемьдесят монетов стоит.

— Это, брось! Так-то я заспорил с сотником, коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжие представлю. Я не дал, так и не вышло.

— Да что, дядя! Вот коня купить надо, а бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала?

— Эх! мы не тужили, — сказал старик. — Когда дядя Ерошка в твои годы был, он уж табуны у ногайцев воровал, да за Терек перегонял. Бывало важного коня за штоф водки али за бурку отдаешь.

— Что же дешево отдавали? — сказал Лукашка.

— Дурак, дурак, Марка! — презрительно сказал старик. —

---

<sup>1</sup> Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы. (Прим. автора.)



Нельзя, на то воруеть, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

— Да что говорить, дядя? — сказал Лукашка. — Не такие мы видно люди.

— Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! — отвечал старик, передразнивая молодого казака. — Не тот я был казак в твои годы.

— Да что же? — спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

— Дядя Ерошка прост был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, пешкеш свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут, да шелуху плюют, — презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

— Это я знаю, — сказал Лукашка. — Это так!

— Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

— Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

— А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

— Что пустое говорить? — сказал Лука. — Ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобий, верить мудрено.

— Гирей-хану верить можно, его весь род — люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя худу не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, все пистолет наготове держи. Пуще всего как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить — верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

— А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть, — молвил он, помолчав.

— Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

— Научи, дядя.

— Черепаху знаешь? Ведь она чорт, черепаха-то.

— Как не звать!

— Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень разорит. Вот ты и поспевай на другое утро, и смотри: где разломано, тут и разрыв-травы лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

— Да ты пытал, что ль, дядя?

— Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуйтя», как на коня садиться. Никто не убил.

— Какая такая «здравствуйтя», дядя?

— А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуйтя живучи в Сиони.  
Се царь твой.  
Мы сядем на кони,  
Софоние вопие,  
Захарие глаголе.  
Отче Мандрыче  
Человеко-веко-любче.

— Веко-веко-любче, — повторил старик. — Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

— Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Може так.

— Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав, — и старик сам засмеялся. — А ты в Ногаи, Лука, не ездил, вот что!

— А что?

— Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось, куда вам! Вот мы с Гирчиком бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

— Вовсе светло, дядя, — перебил он его. — Пора, заходи когда.

— Спаси Христос, а я к армейскому пойду, посбещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

## XVII

От Ерощки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Невидная скотина начинала шевелиться с разных концов.

Цаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

— Что, Лукашка, нагулялся? — сказала мать тихо. — Где был ночь-то?

— В станице был, — неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Подвыдержав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

— А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль — сказал он.

— Как же? Немая чинила что-то вечор. Аль пора на кордон-то? Не видала я тебя вовсе.

— Вот только уберусь, и итти надо, — отвечал Лукашка, увязывая порох. — А немая где? Аль вышла?

— Должно, дрова рубит. Все о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки, жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то все поняла.

— Позови, — сказал Лукашка. — Да сало там у меня было, принеси сюда: шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубопеременчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатах; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею все ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

— Хорошо, хорошо! молодец Степка! — отвечал брат, кивая головой. — Все припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! — и достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрее стала делать знаки, часто указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и все кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка Марьянка лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова протудела от радости.

— Я Улите говорила наемни, что сватать пришло, — сказала мать. — Приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.

— Да что, матушка? Вино надо взять. Коня нужно.

— Повезу, когда время будет; бочки справлю, — сказала мать, видимо не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. — Ты как пойдешь, — сказала старуха сыну, — так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в саквы<sup>1</sup> положить?

— Ладно, — отвечал Лукашка. — А коли из-за реки Гирейхан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

— Пришло, Лукаша, пришло. Что ж, у Ямки всё и гуляли, стало? — сказала старуха. — То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал. Вышел в сени, перекинув через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

— Прощай, матушка, — сказал он матери, припирая за собой ворота. — Ты боченок с Назаркой пришли, — ребятам обещался; он пойдет.

— Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришло, из новой бочки пришло, — отвечала старуха, подходя к забору. — Да слушай что, — прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

— Ты здесь погулял, ну слава богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и бог счастье дал. Это хорошо. А там-то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего началь-

---

<sup>1</sup> Саквами называются переметные сумки, которые казаки берут с собой. (Прим. автора.)

ника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю.

— Ладно, ладно! — отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

### XVIII

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерощка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюшка, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерощка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

— Палок! — закричал он своим густым голосом. — Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! — кричал старик. — Так-то у нас, добрый человек. Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса!

— Живо! Живо, Ванюша! — закричал он.

— Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? — крикнул он на собаку.

— Ружье-то готово, что ль? — кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

— Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! — говорил Оленин.

— Щтраф! — кричал старик.

— *Дю те вулеву?*<sup>1</sup> — говорил Ванюша, ухмыляясь.

— Ты не наш! не по нашему лопочешь, чорт! — кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

— Для первого раза прощается, — шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

— Прощается для первого раза, — отвечал Ерощка; — а в

<sup>1</sup> Хотите чаю?

другой раз проспишь, ведро чихиря штрафа. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

— Да хоть и застанешь, так он умней нас, — сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером; — его не обманешь.

— Да ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет, — сказал Ерощка, глядевший в окно. — Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

— *Ларжан*<sup>1</sup>, — сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед затем сам хорунжий в новой черкеске, с офицерскими погонами на плечах, в чищенных сапогах, — редкость у казаков, — с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, благородный. Он хотел казаться благородным; но невольно под напущенными на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерощка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

— Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! — сказал Ерощка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

— Здорово, дядя! Уж ты тут? — отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седою клинообразною бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он видимо боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

— Это наш *Нимрод египетский*, — сказал он, с самовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика. — *Ловец пред господином*. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерощка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: «*Нимрод иццкий!* Чего не выдумает?»

— Да вот на охоту хотим итти, — сказал Оленин.

---

<sup>1</sup> Деньги.

— Так-с точно, — заметил хорунжий: — а у меня дельце есть к вам.

— Что прикажете?

— Как вы есть благородный человек, — начал хорунжий, — и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов, а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

— Чисто говорит, — пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изю всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

— По нашему глупому обряду, — сказал он, — мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

— Что ж, прикажете чаю?

— Ежели позволите, я свой стакан принесу, особливый, — отвечал хорунжий и вышел на крыльцо. — Стакан подай! — крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в особливый, Ерощке в мирской стакан.

— Однако не желаю вас задерживать, — сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. — Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекриации от должности. Также имею желание испытать счастье, не пспадутся ли и на мою долю дары Терека. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испить родительского, по нашему станичному обычаю, — прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел.

Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий, в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

— Плут же, — сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана. — Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка bestия! Да я тебе свою за три монета отдам.

— Нет, уж я здесь останусь, — сказал Оленин.

— Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! — отвечал старик. — Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

— Мамушка! — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьяна замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

— Ну, идем, идем! — сказал он вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

— Ги! Ги! — прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и все бранил его.

— Да за что же ты так сердился на него? — спросил Оленин.

— Скупой! Не люблю, — отвечал старик. — Издохнет, все останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

— Так на приданое и копит, — сказал Оленин.

— Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь такой чорт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, го-



ворит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы поклонялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А все Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

— А что это? Я вчера как по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, — сказал Оленин.

— Хвастаешь, — крикнул старик, останавливаясь.

— Ей-богу! — сказал Оленин.

— Баба чорт, — раздумывая, сказал Ерошка. — А какой казак?

— Я не видал, какой.

— Ну, курпей какой на шапке? белый?

— Да.

— А зипун красный? С тебя, такой же?

— Нет, побольше.

— Он и есть. — Ерошка захохотал. — Он и есть, Марка мой. Он, Лукашка. Я его Марка зову, шутю. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бывало с матерью, с невесткой, спит *душенька*-то моя, а я все влезу. Бывало, жила она высоко; мать ведьма была, чорт; страсть не любила меня. Приду бывало с няней (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча влезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз как-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул: так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе, и винограду, всего натащит, — прибавил Ерошка, объяснявший все практически. — Да не одна была. Житье бывало.

— А теперь что ж?

— А вот пойдем за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

— Ты бы за Марьянкой поволочился?

— Ты смотри на собак-то. Вечером докажу, — сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

— Ты это что думаешь? — сказал он. — Ты думаешь, это так? Нет. Эта палка дурно лежит.

— Чем же дурно?

Он усмехнулся.

— Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда таг палка лежит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-

то с дороги, да молитву прочти: «Отцу и сыну и святому духу», и иди с богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

— Ну что за вздор! — сказал Оленин. — Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

— Ши! теперь молчи, — опять шопотом прервал старик этот разговор; — только слушай. Кругом вот лесом пойдём.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, прошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикий, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, не осторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки деревьев, разросшихся по дороге.

— Не шуми, тише иди, солдат! — сердито шопотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

## XIX

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажяя дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станицы—кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то, чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерощка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил; только изредка и шопотом

делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и зарос, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого непробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шопотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы, — все это казалось сном Оленину.

— Фазана посадил, — прошептал старик, оглядываясь и на-двигая себе на лицо шапку. — Мурло-то закрой: фазан. — Он сердито махнул на Оленина и пошел дальше, почти на четвереньках. — Мурла человеческого не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух тордокнул с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидел фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здорового ружья Ерощки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как камень, цепляясь за ветки, упал в чащу.

— Молодец! — смеясь прокричал старик, не умевший стрелять в лет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал с стариком.

— Стой! Сюда пойдем, — перебил его старик: — вчера тут олений след видал.

Свернув в чащу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерощка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидел след ноги человека, на который ему указывал старик.

— Видишь?

— Вижу. Что ж? — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее: — человека след.

Неволью в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

— Не, это мой след, — просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чашу к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

— Утром тут был, — вздохнув, сказал старик: — видать, логово отпотело свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновенье, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чашу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерощка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

— Рогаль! — проговорил он. И отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду. — Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! — И он злобно ухватил себя за бороду. — Дурак! свинья! — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенок, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

## XX

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже

двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Олень убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазя за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел к вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Олень готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И — странное дело — к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или на дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чашу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осматрел кругом себя темную зелень, осматрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской

привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чуют, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер тепло-окровавленную руку о черкеску. «Чуют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше: — всё надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю — счастья. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? — подумал он. — Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что, — сказал он сам себе: — счастье в том, чтобы жить для

других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья; стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно, — все думал он, — отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно за вершинами дерев, становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось, и погода, и характер леса; небо заволкивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать свою жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давнo. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя, — думал он, — когда вст-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя; зарывшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу.

Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукующий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться богу, и одного только боялся, что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

## XXI

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услышал звуки русского говора, услышал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурным мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в тревоге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижнепротоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станицы казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженной и выкрашенной красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря



трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гор-  
таных звуков, которым почтительно внимал его спутник.  
Видно было, что это джигит, который уже не раз видал рус-  
ских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских  
не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подо-  
шел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спо-  
койно-презрительно взглянул выше бровей на Оленина, отры-  
висто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть  
черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и  
строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с  
ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул  
на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так  
удивился тому, что горец не интересовался им, что равноду-  
шие его объяснил себе только глупостью или непониманием  
языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик  
и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не  
рыжий, вертялый, с белейшими зубами и сверкающими чер-  
ными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попро-  
сил папироску.

— Их пять братьев, — рассказывал лазутчик на своем  
ломаном полурусском языке: — вот уж это третьего брата  
русские бьют, только два остались; он джигит, очень джи-  
гит, — говорил лазутчик, указывая на чеченца. — Когда убила  
Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в  
камышках сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на  
берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить,  
да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

— А из какого аула? — спросил он.

— Вон в тех горах, — отвечал лазутчик, указывая за Те-  
рек, в голубоватое туманное ущелье. — Суюк-су знаешь?  
Верст десять за ним будет.

— В Суюк-су Гирей-хана знаешь? — спросил Лукашка,  
видимо гордясь этим знакомством: — кунак мне.

— Сосед мне, — отвечал лазутчик.

— Молодец! — И Лукашка, видимо очень заинтересован-  
ный, заговорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станичный со свитою  
двух казаков. Сотник из новых казачьих офицеров поздоро-  
вался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как ар-  
мейские: «здравия желаем, ваше благородие», и только кое-  
кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том  
числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту  
все обстоит благополучно. Все это смешно показалось Оле-  
нину; точно эти казаки играли в солдаты. Но форменность

скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

— Гаврилов Лука, который у вас? — проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел.

— О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю; я написал к кресту, — в урядники рано. Ты грамотен?

— Никак нет.

— А какой молодец из себя! — сказал сотник, продолжая играть в начальника. — Накройся. Он чьих Гавриловых? Широкого, что ль?

— Племянник, — отвечал урядник.

— Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им, — обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильно ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

— Что он сказал? — спросил Оленин у вертлявого переводчика.

— Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Все одна хурдамурда, — сказал лазутчик, видимо обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел, не шевелясь, и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, переносил весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и, наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело, несмотря на то, что шарахалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слы-

шались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

— Что это вы курите? — сказал он, как будто с любопытством: — разве хорошо?

Он видимо сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

— Так привык, — отвечал Оленин. — А что?

— Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь недалеко горы-то, — сказал Лукашка, указывая в ущелье, — а не доедешь!.. Как же вы домой одни пойдете: темно. Я вас провожу, коли хотите, — сказал Лукашка: — вы попросите у урядника.

«Какой молодец», подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он: — человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

— Ну, не попадайся ему теперь, брат, — сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке: — слышал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

— Крестник-то? — сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

— Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

— Пускай бога молит, что сам цел ушел, — сказал Лукашка, смеясь.

— Чему же ты радуешься? — сказал Оленин Лукашке. — Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял все, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

— А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

## XXII

Сотник с станичным уехали; а Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть

Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну, — думал себе Оленин, — а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

— Тебе в какие ворота? — спросил Оленин.

— В средние. Да я вас провожу до болота. Там уже вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

— Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один пойду.

— Ничего! А мне что ж делать! Как вам не бояться? И мы боимся, — сказал Лукашка, тоже смеясь и успокаивая его самолюбие.

— Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

— Разве я места не найду, где ночку ночевать, — засмеялся Лукашка, — да урядник просил притти.

— Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

— Все люди... — И Лука покачал головой.

— Что ты женишься — правда? — спросил Оленин.

— Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

— Ты не строевой?

— Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.

— А сколько конь стоит?

— Торговали намеренно одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь нагайский.

— Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопчу и коня тебе подарю, — вдруг сказал Оленин. — Право. У меня два, мне не нужно.

— Как не нужно? — смеясь сказал Лукашка. — Что вам дарить? Мы разживемся, бог даст.

— Право! Или не пойдешь в драбанты, — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришлось в голову подарить коня Лукашке. Ему однако отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Лукашка первый прервал молчание.

— Что, у вас в России дом есть свой? — спросил он.

Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.

— Хороший дом? больше наших? — добродушно спросил Лукашка.

— Много больше, в десять раз; в три яруса, — рассказывал Оленин.

— А кони есть такие, как у нас?

— У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь... А все я здешних лучше люблю.

— Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь. — Вот вы где заплутались, — прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили: — вам бы надо вправо.

— Так, по своей охоте, — отвечал Оленин: — хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.

— Сходил бы в поход нынче, — сказал Лука. — Ишь, чакалки воют, — прибавил он, прислушиваясь.

— Да что, тебе не страшно, что ты человека убил? — спросил Оленин.

— Чего ж бояться? А сходил бы в поход! — повторил Лукашка. — Так мне хочется, так мне хочется...

— Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.

— И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холпы есть. Я бы гулял да гулял. Что вы чин какой имеете?

— Я юнкер, а теперь представлен.

— Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?

— Да. Очень хорошо, — сказал Оленин.

Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский гавор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни, и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастье и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер. Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клетки купленную им в Грозной — не ту, на которой он всегда

ездил, но другую, недурную, хотя и немолодую лошадь и отдал ему.

— За что вам меня дарить? — сказал Лукашка: — я вам еще не услужил ничем.

— Право, мне ничего не стоит, — отвечал Оленин: — возьми, и ты мне подаришь что... Вот и в поход пойдем.

Лука смутился.

— Ну что же это? Разве конь малого стоит, — говорил он, не глядя на лошадь.

— Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.

Лукашка взял за повод.

— Ну, благодарствую. Вот, недумано, негадано...

Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.

— Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдем в хату.

Подали вино. Лукашка сел и взял чалуру.

— Бог даст, и я вам отслужу, — сказал он, допивая вино. — Как звать-то тебя?

— Дмитрий Андреич.

— Ну, Дмитрий Андреич, спаси тебя бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и небогатые мы люди, а все кунаки, угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно, каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот наемдни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.

— Хорошо, благодарствуй! Ты ее только не запрягай, а то она не ездила.

— Как коня запрягать! А вот еще тебе скажу, — понизив голову, сказал Лукашка: — коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.

— Поедем, поедем когда-нибудь.

Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношения Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.

Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гик-

нув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что ларжан ильняпа<sup>1</sup>, и потому все это пустяки.

Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она как увидит челоука, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.

Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был по его мнению, однако стоил по крайней мере сорок монетов, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок монетов, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться. Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! — думал Лукашка. — Конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделялся уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина.

— Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил

<sup>1</sup> Денег нет.

юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит, — говорил один. — Богач!

— Слышал, — отвечал другой глубокомысленно. — Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.

— Экой народ продувной из юнкирей, беда! — говорил третий: — как раз подожжет или что.

### XXIII

Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на учение его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские «кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он с своей стороны тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станице давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штоц, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочитя за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.

Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове, — бродили



отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застант себя или казаком, работающим в садах с казачкою женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.

Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. На завтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда, в праздник или в день отдыха, он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое, полное наслаждений, созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же, в отношении к этой женщине, он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.

Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.

— Ах, топ срег, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! — начал он на московско-французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. — Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался... Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?

И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.

— Служа здесь, в этой трущобе, надо по крайней мере сделать карьеру... крест... чин... в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек, — говорил Белецкий, не умолкая. — За экспе-

дицию представлен к Анне. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан — знаете, Старцев; доброе, глупое существо... он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видите. Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенка! Я вам скажу — прелесть!

И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин однако не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.

Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, призывали к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.

#### XXIV

Было 5 часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие — купать в Тереке лошадь.) Хозяйка была в своей *избушке*, из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клетке доила буйволицу. «Не постоит,

проклятая!» слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед затем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин охлепью на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром, темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клетки и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаша, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девушки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал во двор. «Готов чай, Ванюша?» крикнул он весело, не глядя на дверь клетки; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «*Се пре!*»<sup>1</sup> отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клетки, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доения.

Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не собирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и как в тюрьму не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала

---

<sup>1</sup> Готово!

на солнце и клала черную тень, — он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубашка, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под ее стянутою рубашкой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевички, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.

— Что, Оленин, уж вы давно встали? — сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.

— А, Белецкий! — отозвался Оленин, протягивая руку. — Как вы так рано?

— Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устенке? — обратился он к девке.

Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слышав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкой мужской походкой пошла к избушке.

— Стыдится, нянюка, стыдится, — проговорил ей вслед Белецкий, — вас стыдится, — и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.

— Как бал у вас? Кто вас выгнал?

— У Устенки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.

— Да что ж мы-то будем делать?

Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на *избушку*, в которой скрылась Марьяна.

Оленин пожал плечами и покраснел.

— Ей-богу, вы странный человек! — сказал он.

— Ну, рассказывайте!

Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся. — Да как же, помилуйте, — сказал он, — живете в одном доме, и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица...

— Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин, — сказал Оленин.

— Ну, так что же? — совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.

— Оно, может быть, странно, — отвечал Оленин, — но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор, как я

живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерощка — другое дело; с ним у нас общая страсть — охота.

— Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. *A la guerre comme à la guerre!*<sup>1</sup>

— Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться, — отвечал Оленин. — Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.

— Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?

Оленин не отвечал. Ему видимо хотелось договорить то, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.

— Я знаю, что я составляю исключение. (Он видимо был смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ишу, другое вижу в них, чем вы.

Белецкий недоверчиво поднял брови. — Все-таки приходите ко мне вечером, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?

— Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.

— О, о, о! — закричал Белецкий. — Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?

— Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.

— Пожалуйста, я вас прошу. Придете?

— Да, приду, может быть, — сказал Оленин.

— Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?

— Едва ли? Мне говорили, что 8-я рота пойдет, — сказал Оленин.

— Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.

— Говорят, что в набег скоро.

— Не слыхал; а слыхал, что Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика, — сказал Белецкий, смеясь. — Вот попался-то. Он в штаб поехал...

<sup>1</sup> На войне — по-военному!

Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось итти, но странно, дико и немного страшно было думать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения... Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной, и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно, — думал он. — Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное — ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.

Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах в два аршина от земли и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал *Les trois mousquetaires*<sup>1</sup>.

Белецкий вскочил.

— Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свиной и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит!

Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.

— Скоро ли? — крикнул Белецкий.

— Сейчас! Аль проголодался, дедушка? — И из хаты слышался звонкий хохот.

<sup>1</sup> «Три мушкетера».

Устенка, пухленькая, румянькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками.

— Ну ты! Вот тарелки разобью, — завизжала она на Белецкого. — Ты бы шел пособлять, — прокричала она, смеясь, на Оленина. — Да закусок-то<sup>1</sup> девкам припаси.

— А Марьянка пришла? — спросил Белецкий.

— А то как же! Она тесто принесла.

— Вы знаете ли, — сказал Белецкий, — что ежели бы одеть эту Устенку, да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая *dignité!*<sup>2</sup> Откуда что взялось...

— Я не видал Борщевой, а по мне лучше этого наряда ничего быть не может.

— Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! — сказал Белецкий, весело вздыхая: — пойду посмотрю, что у них.

Он накинул халат и побежал. — А вы озаботьтесь закусками! — крикнул он.

Оленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «сколько купить мятных, сколько медовых?»

— Как знаешь.

— На все-с? — значительно спросил старый солдат. — Мятные дороже. По шестнадцати продавали.

— На все, на все, — сказал Оленин, и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.

Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.

— Выгнали, — оказал он.

Через несколько минут Устенка вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.

Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенка оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушенная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и необязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.

<sup>1</sup> Закусками называются пряники и конфеты. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Какое достоинство!

— Просим покорно моего ангела помолить, — сказала Устенка, приглашая гостей к столу.

Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился сделать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устенки и пригласил других сделать то же. Устенка объявила, что девки не пьют.

— С медом бы можно, — сказал чей-то голос из толпы девок.

Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев гулявших по его мнению господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче; но Белецкий прогнал его.

Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загсрелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устенки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно они ждут, что мы дадим им денег, — думал он. — Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»

## XXV

— Как же ты своего постояльца не знаешь? — сказал Белецкий, обращаясь к Марьянке.

— Как же его знать, когда к нам никогда не ходит? — сказала Марьяна, взглянув на Оленина.

Оленин испугался чего-то, вспыхнул и, сам не зная, что говорит, сказал: — Я твоей матери боюсь. Она меня так разбранила в первый раз, как я зашел к вам.

Марьянка захохотала.

— А ты и испугался? — сказала она, взглянув на него, и отвернулась.



Тут в первый раз Оленин увидал всё лицо красавицы, а прежде он видал ее обвязанною до глаз платком. Недаром она считалась первою красавицею в станице. Устенка была хорошенькая девочка, маленькая, полненькая, румяная, с веселыми карими глазками, с вечною улыбкой на красных губках, вечно смеющаяся и болтающая. Марьяна, напротив, была отнюдь не хорошенькая, но красавица! Черты ее лица могли показаться слишком мужественными и почти грубыми, ежели бы не этот большой стройный рост и могучая грудь и плечи, и, главное, ежели бы не это строгое и вместе нежное выражение длинных черных глаз, окруженных темною тенью под черными бровями, и ласковое выражение рта и улыбки. Она улыбалась редко, но зато ее улыбка всегда поражала. От нее веяло девственною силой и здоровьем. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкий, и денщик, вошедший с пряниками, — все невольно смотрели на Марьяну и, обращаясь к девкам, обращались к ней. Она гордою и веселою царицею казалась между другими.

Белецкий, стараясь поддерживать приличие вечеринки, не переставая болтал, заставляя девок подносить чихирь, возился с ними и беспрестанно делал Оленину неприличные замечания по-французски о красоте Марьянки, называя ее «ваша», *la vôtre* и приглашая его делать то же, что он сам. Оленину становилось тяжеле и тяжеле. Он придумал предлог, чтобы выйти и убежать, когда Белецкий провозгласил, что именинница Устенка должна подносить чихирь с поцелуями. Она согласилась, но с тем уговором, чтобы ей на тарелку клали деньги, как это делается на свадьбах. «И чорт меня занес на эту отвратительную пирушку!» сказал про себя Оленин и, встав, хотел уйти.

— Куда вы?

— Я пойду табак принесу, — сказал он, намереваясь бежать, но Белецкий ухватил его за руку.

— У меня есть деньги, — сказал он ему по-французски.

«Нельзя уйти, тут надо платить, — подумал Оленин, и ему стало так досадно на свою неловкость. — Неужели я не могу то же делать, что и Белецкий? Не надо было идти, но раз пришел, не надо портить их удовольствия. Надо пить показанки», и, взяв чапуру (деревянную чашку, вмещающую в себе стаканов восемь), налил вина и выпил почти всю. Девки с недоумением и почти с испугом смотрели на него, когда он пил. Это им казалось странно и неприлично. Устенка поднесла им еще по стакану и поцеловалась с обоими.

— Вот, девки, загуляем, — сказала она, встряхивая на тарелке четыре монета, которые положили они.

Оленину уже не было неловко. Он разговорился.

— Ну, теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем, — сказал Белецкий, схватывая ее за руку.

— Да, я тебя так поцелую! — сказала она, шутя замахиваясь на него.

— Дедушку и без денег поцеловать можно, — подхватила другая девка.

— Вот умница! — сказал Белецкий и поцеловал отбивавшуюся девку. — Нет, ты поднеси, — настаивал Белецкий, обращаясь к Марьяне. — Постояльцу поднеси.

И, взяв ее за руку, подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным.

— Какова красавица! — сказал он, поворачивая ее голову в профиль.

Марьяна не отбивалась, а, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами.

— Красавица-девка, — повторил Белецкий.

«Какова я красавица!» повторил, казалось, взгляд Марьяны. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делал, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вдруг вырвалась, столкнула с ног Белецкого и крышку со стола и отскочила к печи. Начался крик, хохот. Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь.

— За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь? — спросил Оленин.

— А так, не хочу и все, — отвечала она, вздергивая нижнюю губу и бровью. — Он дедушка, — прибавила она, улыбаясь. Она подошла к двери и стала стучать в нее. — Что заперлись, черти?

— Что ж, пускай они там, а мы здесь, — сказал Оленин, приближаясь к ней.

Она нахмурилась и строго отвела его от себя рукой. И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился, и ему стало стыдно за то, что он делает. Он подошел к двери и стал дергать ее.

— Белецкий, отойдите! Что за глупые шутки?

Марьяна опять засмеялась своим светлым, счастливым смехом.

— Ай, боишься меня? — сказала она.

— Да ведь ты такая же сердитая, как мать.

— А ты бы больше с Ерошкой сидел, так тебя девки за это и любить бы стали. — И она улыбалась, глядя прямо и близко в его глаза.

Он не знал, что говорить. — А если б я к вам ходил?... — сказал он нечаянно.

— Другое бы было, — проговорила она, встряхнув головой.

В это время Белецкий, толкнув, отворил дверь, и Марьяна отскочила на Оленина, так что бедром ударилась о его ногу.

«Все пустяки, что я прежде думал: и любовь, и самоотвержение, и Лукашка. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав», мелькнуло в голове Оленина, и с неожиданною для себя силой он схватил и поцеловал красавицу Марьянку в висок и щеку. Марьяна не рассердилась, а только громко захохотала и выбежала к другим девкам.

Вечеринка тем и кончилась. Старуха, Устенкина мать, вернувшись с работы, разругала и разогнала всех девок.

## XXVI

«Да, — думал Оленин, возвращаясь домой, — стоило бы мне немного дать себе повода, я бы мог безумно влюбиться в эту казачку». Он лег спать с этими мыслями, но думал, что всё это пройдет, и он вернется к старой жизни.

Но старая жизнь не вернулась. Отношения к Марьянке стали другие. Стена, разделявшая их прежде, была разрушена. Оленин уже здоровался с нею каждый раз, как встречался.

Хозяин, приехав получить деньги за квартиру и узнав о богатстве и щедрости Оленина, пригласил его к себе. Старуха ласково принимала его, и со дня вечеринки Оленин часто по вечерам заходил к хозяевам и сживал у них до ночи. Он, казалось, по-старому продолжал жить в станице, но в душе у него все перевернулось. День он проводил в лесу, а часов в восемь, как смеркалось, заходил к хозяевам, один или с дядей Ерошкой. Хозяева уж так привыкли к нему, что удивлялись, когда его не было. Платил он за вино хорошо, и человек был смирный. Ванюша приносил ему чай; он садился в угол к печи; старуха, не стесняясь, делала свое дело, и они беседовали за чаем и за чихирем о казачьих делах, о соседях, о России, про которую Оленин рассказывал, а они спрашивали. Иногда он брал книгу и читал про себя. Марьяна, как дикая коза, поджав ноги, сидела на печи или в темном углу. Она не принимала участия в разговоре, но Оленин видел ее глаза, лицо, слышал ее движения, пощелкивание семечек и чувствовал, что она слушает всем существом своим, когда он говорил, и чувствовал

ее присутствие, когда он молча читал. Иногда ему казалось, что ее глаза устремлены на него и, встречаясь с их блеском, он невольно замолкал и смотрел на нее. Тогда она сейчас же пряталась, а он, притворяясь, что очень занят разговором с старухой, прислушивался к ее дыханию, ко всем ее движениям, и снова дожидался ее взгляда. При других она была большею частью весела и ласкова с ним, а наедине дика и груба. Иногда он приходил к ним, когда Марьяна еще не возвращалась с улицы: вдруг слышатся ее сильные шаги и мелькнет в отворенной двери ее голубая ситцевая рубашка. Выйдет она на середину хаты, увидит его, — и глаза ее чуть заметно ласково улыбнутся, и ему станет весело и страшно.

Он ничего не искал, не желал от нее, а с каждым днем ее присутствие становилось для него все более и более необходимостью.

Оленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым, а будущее, особенно вне того мира, в котором он жил, вовсе не занимало его. Получая письма из дома, от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем видимо сокрушались, как о погибшем человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице. В походах, в крепостях ему было хорошо; но только здесь, только из-под крылышка дяди Ерошки, из своего леса, из своей хаты на краю станицы и в особенности при воспоминании о Марьянке и Лукашке ему ясна казалась вся та ложь, в которой он жил прежде и которая уже и там возмущала его, а теперь стала ему невыразимо гадка и смешна. Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные им и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев, — думал он. — Люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя. Часто ему серьезно приходила мысль

бросить все, приписаться в казаки, купить избу, скотину, жениться на казачке, — только не на Марьяне, которую он уступал Лукашке, — и жить с дядей Ерошкой, ходить с ним на охоту и на рыбную ловлю, и с казаками в походы. «Что же я не делаю этого? Чего ж я жду?» спрашивал он себя. И он подбивал себя, он стыдил себя: «Или я боюсь сделать то, что сам нахожу разумным и справедливым? Разве желание быть простым казаком, жить близко к природе, никому не делать вреда, а еще делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде, — быть, например, министром, быть полковым командиром?» Но какой-то голос говорил ему, чтоб он подождал и не решался. Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастье, — его удерживала мысль о том, что счастье состоит в самоотвержении. Поступок его с Лукашкой не переставал радовать его. Он постоянно искал случая жертвовать собой для других, но случаи эти не представлялись. Иногда он забывал этот вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки; но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения и на основании ее спокойно и гордо смотрел на всех людей и на чужое счастье.

## XXVII

Лукашка перед уборкой винограда верхом заехал к Оленину. Он еще более смотрел молодцом, чем обыкновенно.

— Ну что же ты, женишься? — спросил Оленин, весело встречая его.

Лукашка не отвечал прямо.

— Вот коня вашего променял за рекой. Уж и конь! Кабардинский лов-тавро<sup>1</sup>. Я охотник.

Они осмотрели нового коня, проджигитовали по двору. Конь действительно был необыкновенно хорош: гнедой, широкий и длинный мерин с глянцевитою шерстью, пушистым хвостом и нежною, тонкою породистою гривой и холкой. Он был сыт так, что на спине его *только спать ложись*, как выразился Лукашка. Копыты, глаз, оскал, — все это было изящно и резко выражено, как бывает только у лошадей самой чистой крови. Оленин не мог не любоваться конем. Он еще не встречал на Кавказе такого красавца.

<sup>1</sup> Тавро завод кабардинских лошадей Лова считается одним из лучших на Кавказе. (Прим. автора.)

— А езда-то, — говорил Лукашка, трепля его по шее. —  
Проезд какой! А умный! Так и бегаёт за хозяином.

— Много ли придачи дал? — спрашивал Оленин.

— Да не считал, — улыбаясь отвечал Лукашка. — От ку-  
нака достал.

— Чудо, красавица лошады! Что возьмешь за нее? — спро-  
сил Оленин.

— Давали полтораста монетов, а вам так отдам, — сказал  
Лукашка весело. — Только скажите, отдам. Расседлаю и  
бери. Мне какого-нибудь давай служить.

— Нет, ни за что.

— Ну, так вот я вам *пешкеш* привез, — и Лукашка распо-  
ятался и снял один из двух кинжалов, которые висели у него  
на ремне. — За рекой достал.

— Ну спасибо.

— А виноград матушка обещала сама принести.

— Не нужно, еще сочтемся. Ведь я не стану же давать  
тебе деньги за кинжал.

— Как можно, — кунаки! Меня так-то за рекой Гирей-хан  
привел в саблю, говорит: выбирай любое. Вот я эту шашку  
и взял. Такой у нас закон.

Они вошли в хату и выпили.

— Что ж ты поживешь здесь? — опросил Оленин.

— Нет, я проститься пришел. Меня теперь с кордона  
услали в сотню за Терекком. Нынче еду с Назаром, с това-  
рищем.

— А свадьба когда же?

— Вот скоро приеду, сговор будет, да и опять на служ-  
бу, — неохотно отвечал Лука.

— Как же так невесту не увидишь?

— Да так же! Что на нее смотреть-то? Вы как в походе  
будете, спросите у нас в сотне Лукашку Широкого. И каба-  
нов там что! Я двух убил. Я вас свожу.

— Ну, прощай! Спаси тебя Христос.

Лукашка сел на коня и, не заехав к Марьянке, выехал,  
джигитую, на улицу, где уже ждал его Назарка.

— А что? Не заедем? — спросил Назарка, подмигивая на  
ту сторону, где жила Ямка.

— Вона! — сказал Лукашка. — На, веди к ней коня, а  
коли я долго не приду, ты коню сена дай. К утру всё в  
сотне буду.

— Что, юнкирь не подарил чего еще?

— Не! Спасибо отдалил его кинжалом, а то коня было  
просить стал, — сказал Лукашка, слезая с лошади и отдавая  
ее Назарке.

Под самым окном Оленина шмыгнул он на двор и подошел к окну хозяйской хаты. Было уж совсем темно. Марьянка в одной рубахе чесала косу, собираясь спать.

— Это я, — прошептал казак.

Лицо Марьянки было строго-равнодушно, но оно вдруг ожило, как только она услышала свое имя. Она подняла окно и испуганно и радостно высунулась в него.

— Чего? Чего надо? — заговорила она.

— Отложи, — проговорил Лукашка. — Пусти меня на минуточку. Уж как наскучило мне! Страсть!

Он в окно обнял ее голову и поцеловал.

— Право, отложи.

— Что говоришь пустое! Сказано, не пушу. Что ж, надо долго?

Он не отвечал и только целовал ее. И она не спрашивала больше.

— Вишь и обнять-то в окно не достанешь хорошенько, — сказал Лукашка.

— Марьянушка! — послышался голос старухи. — С кем ты?

Лукашка скинул шапку, чтобы по ней не заметили его, и присел под окно.

— Иди скорей, — прошептала Марьяна.

— Лукашка заходил, — отвечала она матери: — батяку спрашивал.

— Что ж? пошли его сюда.

— Ушел, говорит: некогда.

Действительно, Лукашка быстрыми шагами, согнувшись, выбежал под окнами на двор и побежал к Ямке; только один Оленин и видел его. Выпив чапурь две чихиря, они выехали с Назаркой за станицу. Ночь была теплая, темная и тихая. Они ехали молча, только слышались шаги коней. Лукашка запел было песню про казака Мингаля, но, не допев первого стиха, затих и обратился к Назарке:

— Ведь не пустила, — сказал он.

— О! — отозвался Назарка. — Я знал, что не пустит. Что мне Ямка сказывал: юнкирь к ним ходить стал. Дядя Ерощка хвастал, что он с юнкиря флинтку за Марьянку взял.

— Брешет он, чорт! — сердито сказал Лукашка: — не такая девка. А то я ему, старому чорту, бока-то отомну, — и он запел свою любимую песню.

Из села было Измайлова,

Из любимого садочка сударева.

Там ясен сокол из садичка вылетывал,

За ним скоро выезживал млад охотничек,

Манил он ясного сокола на праву руку,  
Ответ держит ясен сокол:  
«Не умел ты меня держать в золотой клетке  
И на правой руке не умел держать,  
Теперь я полечу на сине море;  
Убью я себе белого лебедя,  
Накляюся я мяса сладкого, «лебедикого».

## XXVIII

У хозяев был сговор. Лукашка приехал в станицу, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор по приглашению хорунжего. Ему было грустно, как не было еще ни разу с тех пор, как он поселился в станице. Он видел, как Лукашка, нарядный, с матерью прошел перед вечером к хозяевам, и его мучила мысль: за что Лукашка так холоден к нему? Оленин заперся в свою хату и стал писать свой дневник.

«Много я передумал и много изменился в это последнее время», писал Оленин, «и дошел до того, что написано в азбучке. Для того, чтоб быть счастливым, надо одно — любить, и любить с самоотвержением, любить всех и всё, раскидывать на все стороны паутину любви; кто попадетя, того и брать. Так я поймал Ванюшу, дядю Ерошку, Лукашку, Марьянку».

В то время как Оленин дописывал это, к нему вошел дядя Ерошка.

Ерошка был в самом веселом расположении духа. На-днях зайдя к нему вечером, Оленин застал его на дворе перед кабаньей тушей, которую он с счастливым и гордым лицом ловко свеживал маленьким ножичком. Собаки, и между ними любимец Лям, лежали около и слегка помахивали хвостами, глядя на его дело. Мальчишки с уважением смотрели на него через забор и даже не дразнили, как обыкновенно. Бабы-соседки, вообще не слишком ласковые к нему, здоровались с ним и несли ему, кто чихиря кувшинчик, кто каймаку, кто мучицы. На другое утро Ерошка сидел у себя в клети весь в крови и отпускал по фунтам свежину: кому за деньги, кому за вино. На лице его написано было: «Бог дал счастье, убил зверя; теперь дядя нужен стал». Вследствие этого, разумеется, он запил и, не выходя из станицы,пил уже четвертый день. Кроме того, он пил на сговоре.

Дядя Ерошка пришел из хозяйской хаты к Оленину мертвецки пьяный, с красным лицом, растрепанною бородой, но в новом красном бешмете, обшитом галунами, и с балаалайкой из травянки, которую он принес из-за реки. Он давно



уже обещал Оленину это удовольствие и был в духе. Увидав, что Оленин пишет, он огорчился.

— Пиши, пиши, отец мой, — сказал он шопотом, как будто предполагая, что какой-нибудь дух сидит между им и бумагой, и, боясь спугнуть его, без шума, потихоньку сел на пол. Когда дядя Ерощка бывал пьян, любимое положение его бывало на полу. Оленин оглянулся, велел подать вина и продолжал писать. Ерощке было скучно пить одному: ему хотелось поговорить.

— У хозяев на сговоре был. Да что, швиньи! Не хочу! Пришел к тебе.

— А балалайка откуда у тебя? — спросил Оленин и продолжал писать.

— За рекой был, отец мой, балалайку достал, — сказал он так же тихо. — Я мастер играть: татарскую, казацкую, господскую, солдатскую, какую хошь.

Оленин еще раз взглянул на него, усмехнулся и продолжал писать.

Улыбка эта ободрила старика.

— Ну, брось, отец ты мой! Брось! — сказал он вдруг решительно. — Ну! обидели тебя, — брось их, плюнь! Ну что пишешь, пишешь! что толку?

И он передразнивал Оленина, постукивая своими толстыми пальцами по полу и изогнув свою толстую рожу в презрительную гримасу.

— Что кляузы писать? Гуляй лучше, будь молодец!

О писании в его голове не умещалось другого понятия, как о вредной кляузе.

Оленин расхохотался. Ерощка тоже. Он вскочил с пола и принялся показывать свое искусство в игре на балалайке и петь татарские песни.

— Что писать, добрый человек! Ты вот послушай лучше, я тебе спою. Сдохнешь, тогда песни не услышишь. Гуляй!

Сначала он спел своего сочинения песню, с припляскою:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,  
А где его видели?  
На базаре в лавке,  
Продает булавки.

Потом он спел песню, которой научил его бывший друг его, фельдфебель:

В понедельник я влюбился,  
Весь овторник прострадал,  
В среду в любви открылся,  
В четверток ответу ждал.  
В пятницу пришло решение,  
Чтоб не ждать мне утешенья.

А во светлую субботу  
Жизнь окончить предпринял;  
Но, храня души спасенье,  
Я раздумал в воскресенье.

И опять:

А ди-ди-ди-ди-ди-ли,  
А где его видели?

Потом, подмигивая, подергивая плечами и выплясывая, спел:

Поцелую, обойму,  
Алой лентой перевью,  
Надеженькой назову,  
Надеженька ты моя,  
Верно ль любишь ты меня?

И так разгулялся, что, лихо подыгрывая, сделал молодецкую выходку и пошел один плясать по комнате.

Песни: *ди-ди-ли* и тому подобные, *господские*, он спел только для Оленина; но потом, выпив еще стакана три чихиря, он вспомнил старину и запел настоящие казацкие и татарские песни. В середине одной любимой его песни голос его вдруг задрожал, и он замолк, только продолжая бречать по струнам балалайки.

— Ах, друг ты мой! — сказал он.

Оленин оглянулся на странный звук его голоса: старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.

— Прошло ты, мое времечко, не воротисься, — всхлипывая, проговорил он и замолк. — Пей, что не пьешь! — вдруг крикнул он своим оглушающим голосом, не отирая слез.

Особенно трогательна была для него одна тавлинская песня. Слов в ней было мало, но вся прелесть ее заключалась в печальном припеве: «Ай! дай! далалай!» Ерощка перевел слова песни «Молодец погнал баранту из аула в горы, русские пришли, зажгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома нет, одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и запел молодец: ай! дай! далалай!» И этот завывающий, за душу хватающий припев старик повторил несколько раз.

Допевая последний припев, Ерощка схватил вдруг со стены ружье, торопливо выбежал на двор и выстрелил из обоих стволов вверх. И опять еще печальнее запел: «Ай! дай! далалай а-а!» и замолк.

Оленин, выйдя за ним на крыльцо, молча глядел в темное

звездное небо по тому направлению, где блеснули выстрелы. В доме у хозяев были огни, слышались голоса. На дворе девки толпились у крыльца и окон и перебегали из *избушки* в сени. Несколько казаков выскочили из сеней и не выдержали, загикали, вторя окончанию песни и выстрелам дяди Ерошки.

— Что ж ты не на сговоре? — спросил Оленин.

— Бог с ними, бог с ними! — проговорил старик, которого видимо чем-нибудь там обидели. — Не люблю, не люблю! Эх, народ! Пойдем в хату! Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем.

Оленин вернулся в хату.

— А что Лукашка, весел? Не зайдет он ко мне? — спросил он.

— Что Лукашка! Ему наврали, что я тебе девку подвожу, — сказал старик шопотом. — А что девка? Будет наша, коли захотим: денег дай больше, — и наша! Я тебе сделаю, право.

— Нет, дядя, деньги ничего не сделают, коли не любит. Лучше не говори про это.

— Нелюбимые мы с тобой сироты! — Вдруг сказал дядя Ерошка и опять заплакал.

Оленин выпил более обыкновенного, слушая рассказы старика. «Так вот теперь Лукашка мой счастлив», думал он; но ему было грустно. Старик напился в этот вечер до того, что повалился на пол, и Ванюша должен был призвать себе на помощь солдат, и, отплеываясь, вытащить его. Он был так озлоблен на старика за его дурное поведение, что уже ничего не сказал по-французски.

## XXIX

Был август месяц. Несколько дней сряду не было ни облачка на небе; солнце пекло невыносимо, и с утра дул теплый ветер, поднимая в бурунах и по дороге облака горячего песку и разнося его по воздуху через камыши, деревья и станицы. Трава и листья на деревьях были покрыты пылью; дороги и солончаки были обнажены и звучно тверды. Вода давно сбыла в Терек и быстро сбежала и сохла по канавам. В пруде около станицы оголялись истоптанные скотиной иловатые берега пруда, и целый день слышны были в воде всплески и крики девок и мальчишек. В степи уже засыхали буруны и камыши, и скотина, мыча днем, убегала в поля. Зверь откочевывал в дальние камыши и в горы за Терек. Комары и мошки тучами стояли над низами и ста-

ницами. Снеговые горы закрывались серым туманом. Воздух был редок и смраден. Абреки, слышно было, переправились через обмелевшую реку и рыскали по сю сторону. Солнце каждый вечер садилось в горячее красное зарево. Было время самое рабочее. Все население станиц кишело на арбузных баخчах и в виноградниках. Сады глухо заросли вьющейся зеленью и прохладною густою тенью. Везде чернели из-за широких просвечивающих листьев спелые тяжелые кисти. По пыльной дороге, ведущей к садам, тянулись скрипучие арбы, вёрхом наложенные черным виноградом. На пыльной дороге, измятые колесами, валялись кисти. Мальчишки и девчонки в испачканных виноградным соком рубашонках, с кистями в руках и во рту, бегали за матерями. На дороге беспрестанно попадались оборванные работники, неся на сильных плечах плетушки винограда. Обвязанные до глаз платками мамуки вели быков, запряженных в высоконаложенные виноградом арбы. Солдаты, встречая арбу, просили у казачек винограда, и казачка, на ходу влезая на арбу, брала охапку винограда и сыпала ее в полу солдата. На некоторых дворах уже жали виноград. Запах чапры наполнял воздух. Кровяные красные корыта виднелись под навесами, и ногайцы-работники с засученными ногами и окрашенными икрами виднелись по дворам. Свиньи, фыркая, лопали выжимки и валялись в них. Плоские крыши *избушек* были сплошь уложены черными янтарными кистями, которые вяли на солнце. Вороны и сороки, подбирая зерна, жались около крыш и перепархивали с места на место.

Плоды готовых трудов весело собирались, и нынешний год плоды были необычайно обильны и хороши.

В тенистых зеленых садах, среди моря виноградника, со всех сторон слышались смех, песни, веселье, женские голоса и мелькали яркие цветные одежды женщин.

В самый полдень Марьяна сидела в своем саду, в тени персикового дерева, и из-под отпряженной арбы вынимала обед для своего семейства. Против нее на разостланной попоне сидел хорунжий, вернувшийся из школы, и мыл руки из кувшинчика. Мальчишка, ее брат, только что прибежавший из пруда, отираясь рукавами, беспокойно поглядывал на сестру и мать в ожидании обеда и тяжело переводил дыхание. Старуха-мать, засучив сильные загорелые руки, раскладывала виноград, сушеную рыбу, каймак и хлеб на низеньком круглом татарском столике. Хорунжий, отерев руки, снял шапку, перекрестился и придвинулся к столу. Мальчишка схватился за кувшин и жадно принялся пить. Мать и дочь, поджав ноги, сели к столу. И в тени пекло невыно-

симо. В воздухе над садом стоял смрад. Теплый сильный ветер, проходивший сквозь ветви, не приносил пролады, а только однообразно гнул вершины рассыпанных по садам грушевых, персиковых и тутовых деревьев. Хорунжий, еще раз помолвившись, достал из-за спины закрытый виноградным листом кувшинчик с чихирем и, выпив из горлышка, подал старухе. Хорунжий был в одной рубаше, расстегнутой на шею и открывавшей мускулистую мохнатую грудь. Тонкое, китрое лицо его было весело. Ни в позе, ни в говоре его не проглядывало его обычной политичности; он был весел и натурален.

— А к вечеру кончим за лапазом край? — сказал он, утирая мокрую бороду.

— Уберемся, — отвечала старуха, — только бы погода не вадержала. Демкины еще половины не убрали, — прибавила она. — Одна Устенка работает, убивается.

— Где же им! — гордо сказал старик.

— На, испей, Марьянушка! — сказала старуха, подавая кувшин девке. — Вот, бог даст, будет чем свадьбу сыграть, — сказала старуха.

— Дело впереди, — сказал хорунжий, слегка нахмурившись.

Девка опустила голову.

— Да что ж не говорить? — сказала старуха. — Дело покончили, уж и время недалече.

— Не загадывай, — опять сказал хорунжий. — Теперь убираться надо.

— Видал коня-то нового у Лукашки? — спросила старуха. — Что Митрий-то Андреич подарил, того уж нет: он выменял.

— Нет, не видал. А говорил я с холопом постояльцевым нынче, — сказал хорунжий: — говорит, опять получил тысячу рублей.

— Богач, одно слово, — подтвердила старуха.

Всё семейство было весело и довольно.

Работа подвигалась успешно. Винограду было больше, и он был лучше, чем они сами ожидали.

Марьяна, пообедав, подложила быкам травы, свернула свой бешмет под головы и легла под арбой на примятую сочную траву. На ней была одна красная сорочка, то есть шелковый платок на голове, и голубая полинялая ситцевая рубаша; но ей было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не находили места, глаза были подернуты влагой сна и усталости; губы невольно открывались, и грудь дышала тяжело и высоко.

Рабочая пора уже качалась две недели тому назад, и тяжелая, непрестанная работа занимала всю жизнь молодой девки. Ранним утром на заре она вскакивала, обмывала лицо холодной водой, укутывалась платком и босиком бежала к скотине. Наскоро обувалась, надевала бешмет и, взяв в узелок хлеба, запрягала быков и на целый день уезжала в сады. Там только часок отдыхала, резала, таскала плетушки и вечером, веселая и не усталая, таща быков за веревку и погоняя их длинною хворостиной, возвращалась в станицу. Убрав скотину сумерками, захватив семечек в широкий рукав рубахи, она выходила на угол посмеяться с девками. Но только потухала заря, она уже шла в хату и, поужинав в темной *избушке* с отцом, матерью и братишкой, беззаботная, здоровая, входила в хату, садилась на печь и в полудремоте слушала разговор постояльца. Как только он уходил, она бросалась на постель и до утра засыпала непробудным, спокойным сном. На другой день было то же. Лукашку она не видела с самого дня сговора и спокойно ждала времени свадьбы. К постояльцу она привыкла и с удовольствием чувствовала на себе его пристальные взгляды.

### XXX

Несмотря на то, что от жару некуда было деваться, что комары роями вились в прохладной тени арбы и что мальчишка, ворочаясь, толкал ее, Марьяна натянула себе на голову платок и уж засыпала, как вдруг Устенка, соседка, прибежала к ней и, нырнув под арбу, легла с ней рядом.

— Ну, спать, девки! спать! — говорила Устенка, укладываясь под арбой. — Стой, — сказала она, вскакивая, — так не ладно.

Она вскочила, нарвала зеленых веток и с двух сторон привесила к колесам арбы, еще сверху накиннув бешметом.

— Ты пусти, — закричала она мальчишке, подлезая опять под арбу: — разве казакам место с девками? Ступай!

Оставшись под арбой одна с подругой, Устенка вдруг обхватила ее обеими руками и, прижимаясь к ней, начала целовать Марьяну в щеки и шею.

— Миленький! братец! — приговаривала она, заливаясь своим тоненьким, отчетливым смехом.

— Видишь, у *дедушки* научилась, — отвечала Марьяна, отбиваясь. — Ну, брось!

И они обе так расхохотались, что мать крикнула на них.

— Аль завидно? — шопотом сказала Устенка.

— Что врешь? Давай спать. Ну, зачем пришла?

Но Устенка не унималась. — А что́ я тебе скажу, так ну!

Марьяна приподнялась на локоть и поправила сбившийся платок. — Ну, что скажешь?

— Про твоего постояльца я что́ знаю.

— Нечего знать, — отвечала Марьяна.

— Ах ты плут-девка! — сказала Устенка, толкая ее локтем и смеясь. — Ничего не расскажешь. Ходит к вам?

— Ходит. Так что ж! — сказала Марьяна и вдруг покраснела.

— Вот я девка простая, я всем расскажу. Что мне прятаться, — говорила Устенка, и веселое румяное лицо приняло задумчивое выражение. — Разве я кому дурно делаю? Люблю его, да и все тут!

— Дедушку-то, что ль?

— Ну да.

— А грех! — возразила Марьяна.

— Ах, Машенька! Когда же и гулять, как не на девичьей воле? За казака пойду, рожать стану, нужду узнаю. Вот ты поди замуж за Лукашку, тогда и в мысль радость не пойдет, дети пойдут, да работа.

— Что ж, другим и замужем жить хорошо. Все равно! — спокойно отвечала Марьяна.

— Да ты Расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой было?

— Да что́ было? Сватал. Батюшка на год отложил; а нынче сговорили, осенью отдадут.

— Да он что́ тебе говорил?

Марьяна улыбнулась.

— Известно, что́ говорил. Говорил, что любит. Всё просил в сады с ним пойти.

— Вишь, смола какой! Ведь ты не пошла, чай. А он какой теперь молодец стал! Первый джигит. Всё и в сотне гуляет. Намедни съезжал наш Кирка, говорил: коня какого выменял! А всё, чай, по тебе скучает. А ещё что́ он говорил? — спросила Марьяна Устенка.

— Все тебе знать надо, — засмеялась Марьяна. — Раз на коне ночью приехал к окну, пьяный. Просился.

— Что ж, не пустила?

— А то пустить! Я раз слово сказала, и будет! Твердо, как камень, — серьезно отвечала Марьяна.

— А молодец! Только захоти, никакая девка им не побрезгает.

— Пускай к другим ходит, — гордо ответила Марьяна.

— Не жалеешь ты его?

— Жалею, а глупости не сделаю. Это дурно.

Устенька вдруг упала головой на грудь подруге, обхватила ее руками и вся затряслась от давившего ее смеха. — Глупая ты дура! — проговорила она запыхавшись: — счастья себе не хочешь, — и опять принялась щекотать Марьяну.

— Ай, брось! — говорила Марьяна, вскрикивая сквозь смех. — Лазутку раздавила.

— Вишь, черти, разыгрались, не умаялись, — слышался опять из-за арбы сонный голос старухи.

— Счастья не хочешь, — повторила Устенька шопотом и привставая. — А счастлива ты, ей-богу! Как тебя любят? Ты корявая такая, а тебя любят. Эх, кабы я да на твоём месте была, я бы постояльца вашего так окрутила! Посмотрела я на него, как у нас были, так, кажется, и съел бы он тебя глазами. Мой дедушка — и тот чего мне ни надавал! А ваш, слышь, из русских богач первый. Его денщик сказывал, что у них свои холопы есть.

Марьяна привстала и, задумавшись, улыбнулась.

— Чтò он мне раз сказал, постоялец-то, — проговорила она, перекусывая травинку. — Говорит: я бы хотел казаком Лукашкой быть или твоим братишкой Лазуткой. К чему это он так сказал?

— А так врет, чтò на ум взбрело, — отвечала Устенька. — Мэй чего не говорит! Точно порченый!

Марьяна бросилась головой на свернутый бешмет, кинула руку на плечо Устеньке и закрыла глаза.

— Нынче хотел в сады работать притти; его батюшка звал, — проговорила она, помолчав немного, и заснула.

### XXXI

Солнце вышло уже из-за груши, отенявшей арбу, и косыми лучами, даже сквозь ветви, переплетенные Устенькой, жгло лица девок, спавших под арбой. Марьяна проснулась и стала убираться платком. Оглядевшись кругом, она увидала за грушей постояльца, который с ружьем на плече стоял и разговаривал с ее отцом. Она толкнула Устеньку и, молча улыбувшись, указала ей на него.

— Вчера я ходил, ни одного не нашел, — говорил Оленин, беспокойно поглядывая кругом и из-за веток не видя Марьяны.

— А вы вон к тому краю, прямо на циркулю пройдите, там в заброшенном саду, пустырем прозывается, всегда зайцы находятся, — сказал хорунжий, тотчас изменяя свой язык.

— Легко ли в рабочую пору ходить зайцев искать! Приходили бы лучше нам подсобить. С девками поработали бы, —



весело сказала старуха. — Ну, девки, вставать! — крикнула она.

Марьяна и Устенка шептались и едва удерживались от смеха под арбой.

С тех пор, как стало известно, что Оленин подарил коня в пятьдесят монетов Лукашке, хозяева его стали ласковее; особенно хорунжий, казалось, видел с удовольствием его сближение с дочерью.

— Да я не умею работать, — сказал Оленин, стараясь не смотреть сквозь зеленые ветви под арбой, где он заметил голубую рубаху и красный платок Марьяны.

— Приходи, шепталок дам, — ответила старуха.

— По казачьей гостеприимной старине, одна старушечья глупость, — сказал хорунжий, объясняя и как бы исправляя слова старухи. — В России, я думаю, не только шепталок, сколько ананасных варений и мочений кушали в свое удовольствие.

— Так в заброшенном саду есть? — спросил Оленин. — Я схожу, — и, бросив быстрый взгляд сквозь зеленые ветви, он приподнял папаху и скрылся между правильными зелеными рядами виноградника.

Уже солнце спряталось за оградой садов и раздробленными лучами блестело сквозь прозрачные листья, когда Оленин вернулся в сад к своим хозяевам. Ветер стихал, и свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Еще издали каким-то инстинктом Оленин узнал голубую рубаху Марьяны сквозь ряды лоз и, обрывая ягоды, подошел к ней. Зарывшая собака тоже иногда схватывала слюнявым ртом низко висевшую кисть. Раскрасневшись, засучив рукава и опустив платок ниже подбородка, Марьянка быстро срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Не выпуская из рук плети, которую она держала, она остановилась, ласково улыбнулась и снова принялась за работу. Оленин приблизился и перекинул ружье за плечи, чтоб освободить руки. «А твои где? Бог помочь! Ты одна?» хотел он сказать, но не сказал ничего и только приподнял папаху. Ему было неловко наедине с Марьянкой, но он, как будто нарочно мучая себя, подошел к ней.

— Ты этак баб из ружья застрелишь, — сказала Марьяна.

— Нет, я не стреляю.

Они оба помолчали.

— Ты бы подсобил.

Он достал ножичек и стал молча резать. Достав снизу из-под листьев тяжелую, фунта в три, сплошную кисть, в кото-

рой все ягоды сплющились, одна на другую, не находя себе места, он показал ее Марьяне.

— Все резать? Эта не зелена?

— Давай сюда.

Руки их столкнулись. Оленин взял ее руку, а она, улыбаясь, глядела на него.

— Что, ты скоро замуж выйдешь? — сказал он.

Она, не отвечая, отвернулась и повела на него своими строгими глазами.

— Что, ты любишь Лукашку?

— А тебе что?

— Мне завидно.

— Легко ли!

— Право, ты такая красавица!

И ему вдруг стало страшно совестно за то, что он сказал: так пошло, казалось ему, звучали его слова. Он вспыхнул, растерялся и взял ее за обе руки.

— Какая ни есть, да не про тебя! Что смеяться-то! — отвечала Марьяна, но взгляд ее говорил, как твердо она знала, что он не смеялся.

— Как смеяться! Ежели бы ты знала, как я...

Слова звучали еще пошлее, еще несогласнее с тем, что он чувствовал; но он продолжал: — Я не знаю, что готов для тебя сделать...

— Отстань, смола!

Но ее лицо, ее блестящие глаза, ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она понимала, как было пошло все, что он говорил ей, но стояла выше таких соображений; ему казалось, что она давно знала всё то, что он хотел и не умел сказать ей. Но хотела послушать, как он это скажет ей. И как ей не знать, думал он, когда он хотел сказать ей лишь только все то, что она сама была? Но она не хотела понимать, не хотела отвечать, думал он.

— Ау! — вдруг послышался недалеко за виноградником голосок Устенки и ее тонкий смех. — Приходи, Митрий Андреич, мне подсоблять. Я одна! — прокричала она Оленину, высовывая из-за листьев свое круглое наивное личико.

Оленин ничего не отвечал и не двигался с места.

Марьянка продолжала резать, но беспрестанно взгляды вала на постояльца. Он начал было говорить что-то, но остановился, вздернул плечами и, вскинув ружье, скорыми шагами пошел из саду.

Раза два он останавливался, прислушиваясь к звонкому смеху Марьяны и Устенки, которые, сойдясь вместе, кричали что-то. Целый вечер Оленин проходил в лесу на охоте. Ничего не убив, он вернулся уже сумерками. Пройдя по двору, он заметил отворенную дверь в хозяйской *избушке* и виднеющуюся из нее голубую рубаху. Он особенно громко кликнул Ванюшу, чтобы дать знать о своем приходе, и сел на крыльце на обычное место. Хозяева уже вернулись из садов; они вышли из *избушки*, прошли в свою хату и не позвали его к себе. Марьяна два раза выходила за ворота. Один раз в полсвете ему показалось, что она оглянулась на него. Он жадно следил глазами за каждым ее движением, но не решился подойти к ней. Когда она скрылась в хате, он сошел с крыльца и начал ходить по двору. Но Марьяна уже не выходила. Целую ночь Оленин провел без сна на дворе, прислушиваясь к каждому звуку в хозяйской хате. Он слышал, как с вечера они говорили, как ужинали, как вытаскивали пуховики и укладывались спать; слышал, как чему-то засмеялась Марьяна; слышал потом, как все затихло. Хорунжий переговаривал что-то шопотом с старухой, и кто-то дышал. Он зашел в свою хату. Ванюша, не раздеваясь, спал. Оленин позавидовал ему и опять принялся ходить по двору, все ожидая чего-то; но никто не выходил, никто не шевелился; только слышалось равномерное дыхание трех человек. Он знал дыхание Марьяны и все слушал его и слушал стук своего сердца. В станице все затихло, поздний месяц взошел, и стала виднее скотина, пыхтевшая по дворам, ложившаяся и медленно встававшая. Оленин со злобой спрашивал себя: «чего мне нужно?» и не мог оторваться от своей ночи. Вдруг ясно послышались ему шаги и скрип половицы в хозяйской хате. Он бросился к дверям; но опять ничего не было слышно, кроме равномерного дыхания, и опять на дворе после тяжелого вдоха поворачивалась буйволица, вставая на передние колени, потом на все ноги, взмахивала хвостом, и равномерно шлепало что-то по сухой глине двора, и опять со вздохом укладывалась она в месячной мгле... Он спрашивал себя: «что мне делать?» и решительно собирался итти спать; но опять послышались звуки, и в воображении его возникал образ Марьянки, выходившей на эту месячную туманную ночь, и опять он бросился к окну и опять слышал шаги. Уже перед светом подошел он к окну, толкнул в ставень, перебежал к двери, и действительно слышался вздох Марьянки и шаги. Он взялся за щеколду и постучал. Босые, осторожные

шаги, чуть скрипя половицами, приближались к двери. Зашевелилась щеколда, скрипнула дверь, пахнуло запахом душицы и гыквы, и на пороге показалась вся фигура Марьянки. Он видел ее только мгновение при месячном свете. Она захлопнула дверь и, что-то прошептав, побежала легкими шагами назад. Оленин стал стучать слегка: ничто не отзывалось. Он перебежал к окну и стал слушать. Вдруг резкий, визгливый мужской голос поразил его.

— Славно! — сказал невысокий казачонок в белой папахе, близко подходя со двора к Оленину: — я видел, славно!

Оленин узнал Назарку и молчал, не зная, что делать и говорить.

— Славно! Вот я в станичное пойду, докажу и отцу скажу. Вишь, хорунжиха какая! Ей одного мало.

— Чего ты от меня хочешь, что тебе надо? — выговорил Оленин.

— Ничего, я только в станичном скажу.

Назарка говорил очень громко, видимо нарочно.

— Вишь ловкий юнкирь какой!

Оленин дрожал и бледнел.

— Поди сюда, сюда!

Он сильно ухватил его за руку и отвел его к своей хате.

— Ведь ничего не было, она меня не пустила, и я ничего... Она честная...

— Ну там, разбирать... — сказал Назарка.

— Да я все равно тебе дам... Вот постой!

Назарка замолчал. Оленин вбежал в свою хату и вынес казаку десять рублей.

— Ведь ничего не было, да всё равно, я виноват, вот я и даю! Только, ради бога, чтобы никто не знал. Да ничего не было...

— Счастливо оставаться, — смеясь сказал Назарка и вышел.

Назарка приезжал в эту ночь в станицу по поручению Лукашки — приготовить место для краденной лошади — и, проходя домой по улице, слышал звуки шагов. Он вернулся на другое утро в сотню и, хвастаясь, рассказал товарищу, как он ловко добыл десять монетов. На другое утро Оленин виделся с хозяевами, и никто ничего не знал. С Марьяной он не говорил, и она только посмеивалась, глядя на него. Ночь он опять провел без сна, тщетно бродя по двору. Следующий день он нарочно провел на охоте и вечером, чтобы бежать от себя, ушел к Белецкому. Он боялся себя и дал себе слово не заходить больше к хозяевам. На следующую ночь разбудил Оленина фельдфебель. Рота тотчас же

выступала в набег. Оленин обрадовался этому случаю и думал не вернуться уже более в станицу.

Набег продолжался четыре дня. Начальник пожелал видеть Оленина, с которым он был в родстве, и предложил ему остаться в штабе. Оленин отказался. Он не мог жить без своей станицы и просился домой. За набег ему навесили солдатский крест, которого он так желал прежде. Теперь же он был совершенно равнодушен к этому кресту и еще более равнодушен к представлению в офицеры, которое всё еще не выходило. Он без оказии проехал с Ванюшей на линию и несколькими часами опередил свою роту. Оленин весь вечер провел на крыльце, глядя на Марьяну. Всю ночь он опять без цели, без мысли ходил по двору.

### XXXIII

На другое утро Оленин проснулся поздно. Хозяев уже не было. Он не пошел на охоту и то брался за книгу, то выходил на крыльцо и опять входил в хату и ложился на постель. Ванюша думал, что он болен. Перед вечером Оленин решительно встал, принялся писать и писал до поздней ночи. Он написал письмо, но не послал его, потому что никто все-таки бы не понял того, что он хотел сказать, да и не зачем кому бы то ни было понимать это, кроме самого Оленина. Вот что он писал:

«Мне пишут из России письма соболезнования; боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Говорят про меня: он загрубеет, от всего отстанет, станет пить и еще, чего доброго, женится на казачке. Недаром, говорят, Ермолов сказал: кто десять лет прослужит на Кавказе, тот либо сопьется с кругу, либо женится на распутной женщине. Как страшно! В самом деле, не погубить бы мне себя, тогда как на мою долю могло выпасть великое счастье стать мужем графини Б\*\*\*, камергером или дворянским предводителем. Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо раз испытать жизнь во всей ее безыскусственной красоте. Надо видеть и понимать, что я каждый день вижу пред собой: вечные неприступные снега гор и величавую женщину в той первобытной красоте, в которой должна была выйти первая женщина из рук своего творца, и тогда ясно станет, кто себя губит, кто живет в правде или во лжи — вы или я. Коли бы вы знали, как мне мерзки и жалки вы в вашем обольщении! Как только представятся мне, вместо моей хаты, моего леса и моей любви, эти гостинные, эти женщины с припомаженными волосами

над подсунутыми чужими буклями, эти неестественно шевелящиеся губки, эти спрятанные и изуродованные слабые члены и этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это, — мне становится невыносимо гадко. Представляются мне эти тупые лица, эти богатые невесты с выражением лица, говорящим: «ничего, можно, подходи, хоть я и богатая невеста»; эти усаживанья и пересаживанья, это наглое сводничанье пар и эта вечная сплетня, притворство; эти правила — кому руку, кому кивок, кому разговор, и наконец эта вечная скука в крови, переходящая от поколений к поколению (и всё сознательно, с убеждением в необходимости). Поймите одно, или поверьте одному. Надо видеть и понять, что такое правда и красота, и в прах разлетится всё, что вы говорите и думаете, все ваши желанья счастья и за меня, и за себя. Счастье — это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. «Еще он, избави боже, женится на простой казачке и совсем пропадет для света», воображаю, говорят они обо мне с искренним состраданием. А я только одного и желаю: совсем пропасть в вашем смысле, желаю жениться на простой казачке и не смею этого, потому что это было бы верх счастья, которого я недостойн.

«Три месяца прошло с тех пор, как я в первый раз увидел казачку Марьяну. Понятия и предрассудки того мира, из которого я вышел, еще были свежи во мне. Я тогда не верил, что могу полюбить эту женщину. Я любовался ею, как красотой гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрасна, как и они. Потом я почувствовал, что созерцание этой красоты сделалось необходимостью в моей жизни, и я стал спрашивать себя: не люблю ли я ее; но ничего похожего на то, как я воображал это чувство, я не нашел в себе. Это было чувство, не похожее ни на тоску одиночества и желания супружества, ни на платоническую, ни еще менее на плотскую любовь, которые я испытывал. Мне нужно было видеть, слышать ее, знать, что она близко, и я бывал не то что счастлив, а спокоен. После вечеринки, на которой я был вместе с нею и прикоснулся к ней, я почувствовал, что между мной и этой женщиной существует неразрывная, хотя и не признанная связь, против которой нельзя бороться. Но я еще боролся; я говорил себе: неужели можно любить женщину, которая никогда не поймет задушевных интересов моей жизни? Неужели можно любить женщину за одну красоту, любить женщину-статую? спрашивал я себя, а уже любил ее, хотя еще не верил своему чувству.

«После вечеринки, на которой я в первый раз говорил с ней, наши отношения изменились. Прежде она была для

меня чуждым, но величавым предметом внешней природы; после вечеринки она стала для меня человеком. Я стал встречать ее, говорить с нею, ходить иногда на работы к ее отцу и по целым вечерам просиживать у них. И в этих близких сношениях она осталась в моих глазах все столь же чистою, неприступною и величавою. Она на всё и всегда отвечала одинаково спокойно, гордо и весело-равнодушно. Иногда она бывала ласкова, но большею частью каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее. Каждый день с притворною улыбкой на губах я старался подделаться под что-то и с мукой страсти и желаний в сердце шуточно заговаривал с ней. Она видела, что я притворяюсь, но прямо, весело и просто смотрела на меня. Мне стало невыносимо это положение. Я хотел не лгать перед ней и хотел сказать всё, что я думаю, что я чувствую. Я был особенно раздражен; это было в садах. Я стал говорить ей о своей любви такими словами, которые мне стыдно вспомнить. Стыдно вспомнить, потому что я не должен был сметь говорить ей этого, потому что она неизмеримо выше стояла этих слов и того чувства, которое я хотел ими выразить. Я замолчал, и с этого дня мое положение сделалось невыносимо. Я не хотел унижаться, оставаясь в прежних шуточных отношениях, и чувствовал, что я не дорос до прямых и простых отношений к ней. Я с отчаянием спрашивал себя: что же мне делать? В нелепых мечтах я воображал ее то своею любовницей, то своею женой и с отвращением отталкивал и ту и другую мысль. Сделать ее девкой было бы ужасно. Это было бы убийство. Сделать ее барыней, женою Дмитрия Андреевича Оленина, как одну из здешних казачек, на которой женился наш офицер, было бы еще хуже. Вот ежели бы я мог сделаться казаком, Лукашкой, красть табуны, напиваться чихирю, заливаться песнями, убивать людей и пьяным влезать к ней в окно на ночьку, без мысли о том, кто я и зачем я? Тогда бы другое дело: тогда бы мы могли понять друг друга, тогда бы я мог быть счастлив. Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность, я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего. И мое будущее представляется мне еще безнадежнее. Каждый день передо мною далекие снежные горы и эта величавая, счастливая женщина. И не для меня единственно возможное на свете счастье, не для меня эта женщина! Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю ее, а она никогда не поймет меня. Она

не поймет, не потому что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива; она, как природа, равна, спокойна и сама в себе. А я, исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения. Ночи я не спал и без всякой цели проводил под ее окнами и не отдавал отчета себе в том, что со мною было. 18-го числа наша рота ходила в набег. Я три дня провел вне станицы. Мне было грустно и всё равно. В отряде песни, карты, попойки, толки о наградах мне были противнее обыкновенного. Я нынче вернулся домой, увидел ее, свою хату, дядю Ерошку, снеговые горы с своего крылечка, и такое сильное новое чувство радости охватило меня, что я всё понял. Я люблю эту женщину настоящею любовью, в первый и единственный раз моей жизни. Я знаю, что со мной. Я не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви, я горд ею. Я не виноват, что я полюбил. Это сделалось против моей воли. Я спасался от своей любви в самоотвержении, я выдумывал себе радость в любви казака Лукашки с Марьянкой и только раздражал свою любовь и ревность. Это не идеальная, так называемая возвышенная любовь, которую я испытывал прежде; не то чувство влечения, в котором любишь на свою любовь, чувствуешь в себе источник своего чувства и все делаешь сам. Я испытывал и это. Это еще меньшее желание наслаждения, это что-то другое. Может быть, я в ней люблю природу, олицетворение всего прекрасного природы; но я не имею своей воли, а чрез меня любит ее какая-то стихийная сила, весь мир божий, вся природа вдавливает любовь эту в мою душу и говорит: люби. Я люблю ее не умом, не воображением, а всем существом моим. Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира. Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни; но никто не может знать, каким трудом выработались они во мне, с какою радостью сознал я их и увидел новый, открытый путь в жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них. Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно. Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! Самоотвержение — всё это вздор, дичь. Это всё гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? Когда в душе моей одна любовь к себе и одно желание — любить ее и жить с нею, ее жизнью. Не



для других, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этих других. Прежде я бы сказал себе, что это дурно. Я бы мучился вопросами: что будет с ней, со мной, с Лукашкой? Теперь мне все равно. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу. Нынче я пойду к ним и всё скажу ей».

#### XXXIV

Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила кохсны. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и пошла к печи.

— Что ж, посиди с нами, Марьянушка, — сказала мать.

— Не, я простоголовая. — И она вскочила на печь.

Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговаривали о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своею грубостью, теперь часто трогала его своею простою нежностью в отношении к дочери.

— Да что бога гневить, батюшка! Всё у нас есть, слава богу, и чихирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется. Ты уходить-то погоди. Гулять с тобой будем на свадьбе.

— А когда свадьба?—спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула к лицу и сердце неровно и мучительно забилось.

За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка.

— Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы,— отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. — Я всё для Марьянушки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного не ладно. Лукашка-то наш что-то уж загулял очень. Совсе загулял! Шалит! Намедни приезжал казак из сотни, сказывал, он в Ногаи ездил.

— Как бы не попался, — сказал Оленин.

— И я говорю: ты, Лукаша, не шали! Ну, молодой человек, известно, куражится. Да ведь на всё время есть. Ну, отбил, украл, абрека убил, молодец! Ну и смирно бы пожил. А то уж вовсе скверно.

— Да я его раза два видел в отряде, он всё гуляет. Еще лошадь продал, — сказал Оленин и оглянулся на печь.

Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал.

— Что ж! Он никому худа не делает, — вдруг сказала Марьяна. — На свои деньги гуляет, — и, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью.

Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате; потом смотрел на дверь, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости: старик, брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенъкой.

— Здорово дневали? — пропищала Устенъка. — Всё гуляешь? — обратилась Устенъка к Оленину.

— Да, гуляю, — отвечал он, и ему почему-то стыдно стало и неловко.

Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему: он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой. Потом еще с другим казаком. Потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжелее становилось ему на сердце. Но старики разгулялись. Девки обе засели на печку и шушукали, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали. Старуха выгоняла их вон и не давала больше чихиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов десять, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались итти догуливать ночь у Оленина. Устенъка побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше. Старуха пошла прибирать в *избушке*. Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он всё замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату: Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным, диким взглядом смотрела на него. Она видимо боялась его. Оленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство.

— Марьяна! — сказал он. — Неужели ты никогда не жальешься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.

Она отодвинулась еще дальше.

— Вишь вино-то что говорит. Ничего тебе не будет!

— Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе. — «Что же это я говорю? — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. — Скажу ли я то же завтра? Скажу, наверно скажу и теперь повторю», ответил ему внутренний голос.

— Пойдешь за меня?

Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел.

— Марьяна! я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, то и сделаю, — и безумно-нежные слова говорились сами собой.

— Ну, что брешешь, — прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами. — Разве господа на мамуках женятся? Иди!

— Да пойдешь ли? Я все...

— А Лукашку куда денем? — сказала она смеясь.

Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело. Но она как лань вскочила, прыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. Оленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.

### XXXV

На другой день был праздник. Вечером весь народ, блестя на заходящем солнце праздничным нарядом, был на улице. Вина было нажато больше обыкновенного. Народ освободился от трудов. Казаки через месяц собирались в поход, и во многих семействах готовились свадьбы.

На площади, перед станичным правлением и около двух лавочек, — одной с закусками и семечками, другой с платками и ситцами, — больше всего стояло народа. На завалинке дома правления сидели и стояли старики в серых и черных степенных зипунах, без галунов и украшений. Старики спокойно, мерными голосами беседовали между собой об урожаях и молодых ребятах, об общественных делах и о старине, величаво и равнодушно поглядывая на молодое поколение. Проходя мимо их, бабы и девки приостанавливались

и опускали головы. Молодые казаки почтительно уменьшали шаги, снимая папахи, держали их некоторое время перед головою. Старики замолкали. Кто строго, кто ласково, осматривали они проходящих и медленно снимали и снова надевали папахи.

Казачки еще не начинали водить хороводы, а, собравшись кружками в яркоцветных бешметах и белых платках, объявляющих голову и глаза, сидели на земле и завалинках хат, в тени от косых лучей солнца, и звонко болтали и смеялись. Мальчишки и девочки играли в лапту, зажигая мяч высоко в ясное небо, и с криком и писком бежали по площади. Девочки-подростки на другом угле площади уже водили хороводы и тоненькими, несмелыми голосами пели песню. Писаря, льготные и вернувшиеся на праздник молодые ребята в нарядных белых и новых красных черкесках, обшитых галунами, с праздничными, веселыми лицами, по-двое, по-трое, взявшись рука с рукой, ходили от одного кружка баб и девок к другому и, останавливаясь, шутили и заигрывали с казачками. Армянин-лавочник в синей черкеске тонкого сукна с галунами стоял у отворенной двери, в которую виднелись ярусы свернутых цветных платков, и с гордостью восточного торговца и сознанием своей важности ожидал покупателей. Два краснобородые босые чеченца, пришедшие из-за Терека полюбоваться на праздник, сидели на корточках у домасвоего знакомца, и, небрежно покуривая из маленьких трубочек и поплеывая, перекидывались, глядя на народ, быстрыми гортанными звуками. Изредка неспешный солдат в старой шинели торопливо проходил между пестрыми группами по площади. Кое-где уже слышались пьяные песни загулявших казаков. Все хаты были заперты, крылечки с вечера вымыты. Даже старухи были на улице. По сухим улицам везде в пыли, под ногами, валялась шелуха арбузных и тыквенных семечек. В воздухе было тепло и неподвижно, в ясном небе голубо и прозрачно. Бело-матовый хребет гор, видневшийся из-за крыш, казался близок и розовел в лучах заходящего солнца. Изредка с заречной стороны доносился дальний гул пушечного выстрела. Но над станицей, сливаясь, носились разнообразные веселые, праздничные звуки.

Оленин все утро ходил по двору, ожидая увидеть Марьяну. Но она, убравшись, пошла к обедне в часовню; потом то сидела на завалинке с девками, щелкая семя, то с товарками же забегала домой и весело, ласково взглядывала на постояльца. Оленин боялся заговорить с ней шуточно и при других. Он хотел договорить ей вчерашнее и добиться от нее решительного ответа. Он ждал опять такой же минуты, как

вчера вечером; но минута не приходила, а оставаться в таком нерешительном положении он не чувствовал в себе более силы. Она вышла опять на улицу, и немного погодя, сам не зная куда, пошел и он за нею. Он миновал угол, где она сидела, блестя своим атласным голубым бешметом, и с болью в сердце услышал за собою девичий хохот.

Хата Белецкого была на площади. Оленин, проходя мимо ее, услышал голос Белецкого: «заходите», и зашел.

Поговорив, они оба сели к окну. Скоро к ним присоединился Ерощка в новом бешмете и уселся подле них на пол.

— Вот это аристократическая кучка, — говорил Белецкий, указывая папирской на пеструю группу на углу и улыбаясь. — И моя там, видите, в красном. Это обновка. Что же хороводы не начинаются? — прокричал Белецкий, выглядывая из окна. — Вот погодите, как смеркнется, и мы пойдем. Потом позовем их к Устенке. Надо им бал задать.

— И я приду к Устенке, — сказал Оленин решительно. — Марьяна будет?

— Будет, приходите! — сказал Белецкий, несколько не удивляясь. — А ведь очень красиво, — прибавил он, указывая на пестрые толпы.

— Да, очень! — поддакнул Оленин, стараясь казаться равнодушным. — На таких праздниках, — прибавил он, — меня всегда удивляет, отчего так, вследствие того, что нынче, например, пятнадцатое число, вдруг все люди стали довольны и веселы? На всем виден праздник. И глаза, и лица, и голоса, и движения, и одежда, и воздух, и солнце, — все праздничное. А у нас уже нет праздников.

— Да, — сказал Белецкий, не любивший таких рассуждений. — А ты что не пьешь, старик? — обратился он к Ерощке.

Ерощка мигнул Оленину на Белецкого: — Да что, он гордый, кунак-то твой!

Белецкий поднял стакан. — Алла бирды, — сказал он и выпил. (*Алла бирды* значит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе.)

— Сау бул (будь здоров), — сказал Ерощка улыбаясь и выпил свой стакан.

— Ты говоришь: праздник! — сказал он Оленину, поднимаясь и глядя в окно. — Это что за праздник! Ты бы посмотри, как в старину гуляли! Бабы выйдут, бывало, оденутся в сарафаны, галунами обшиты. Грудь всю золотыми в два ряда обвешает. На голове кокошники золотые носили. Как пройдет, так фр! фр! шум подымет. Каждая баба, как княгиня была. Бывало выйдут, табун целый, заиграют песни, так стон стоит; всю ночь гуляют. А казаки бочки выкатят на

двор, засядут, всю ночь до рассвета пьют. А то схватятся рука с рукой, пойдут по станице лавой. Кого встретят, с собой забирают. Да от одного к другому и ходят. Другой раз три дня гуляют. Батюшка бывало придет, еще я помню, красный, распухнет весь, без шапки, все растеряет, придет и ляжет. Матушка уж знает бывало: свежей икры и чихирю ему принесет опохмелиться, а сама бежит по станице шапку его искать. Так двое суток спит! Вот какие люди были! А нынче что?

— Ну, а девки-то в сарафанах как же? Одни гуляли? — спросил Белецкий.

— Да, одни! Придут бывало казаки, или верхом сядут, скажут: пойдём хороводы разбивать, и поедут, а девки дубье возьмут. На масленице, бывало, как разлетится какой молодец, а они бьют, лошадь бьют, его бьют. Прорвет стену, подхватит какую любит и увезет. Матушка, душенька, уж как хочет любит. Да и девки ж были! королевны!

### XXXVI

В это время из боковой улицы выехали на площадь два всадника. Один из них был Назарка, другой Лукашка. Лукашка сидел несколько боком на своем сытом гнедом кабардинце, легко ступавшем по жесткой дороге и подкидывавшем красивою головой с глянцевитою тонкою холкой. Ловко прилаженное ружье в чехле, пистолет за спиной и свернутая за седлом бурка доказывали, что Лукашка ехал не из мирного и ближнего места. В его боковой щегольской посадке, в небрежном движении руки, похлопывавшей чуть слышно плетью под брюхо лошади, и особенно в его блестящих черных глазах, смотревших гордо, прищуриваясь, вокруг, выражались сознание силы и самонадеянность молодости. Видали молодца? — казалось, говорили его глаза, поглядывая по сторонам. Статная лошадь, с серебряным набором сбруя и оружие и сам красивый казак обратили на себя внимание всего народа, бывшего на площади. Назарка, худощавый и малорослый, был одет гораздо хуже Лукашки. Проезжая мимо стариков, Лукашка приостановился и приподнял белую курчавую папаху над стриженою черною головой.

— Что, много ль ногайских коней угнал? — сказал худенький старичок с нахмуренным, мрачным взглядом.

— А ты небось считал, дедука, что спрашиваешь, — отвечал Лукашка, отворачиваясь.

— То-то парня-то с собой напрасно водишь, — проговорил старик еще мрачнее.

— Вишь, чорт, все знает! — проговорил про себя Лукашка. и лицо его приняло озабоченное выражение; но взглянув на угол, где стояло много казачек, он повернул к ним лошадь.

— Здорово дневали, девки! — крикнул он сильным залившимся голосом, вдруг останавливая лошадь. — Состарелись без меня, ведьмы. — И он засмеялся.

— Здорово, Лукашка! здорово, батяка! — слышались веселые голоса. — Денег много привез? Закусок купи девкам-то! Надолго приехал? И то давно не видали.

— С Назаркой на ночку погулять прилетели, — отвечал Лукашка, замахиваясь плетью на лошадь и наезжая на девок.

— И то Марьянка уж забыла тебя совсем, — пропищала Устенъка, толкая локтем Марьяну и заливаясь тонким смехом.

Марьяна отодвинулась от лошади и, закинув назад голову, блестящими большими глазами спокойно взглянула на казака.

— И то давно не бывал! Что лошадью топчешь-то? — сказала она сухо и отвернулась.

Лукашка казался особенно весел. Лицо его сияло удалью и радостью. Холодный ответ Марьяны видимо поразил его. Он вдруг нахмурил брови.

— Становись в стремя, в горы увезу, мамочка! — вдруг крикнул он, как бы разгоняя дурные мысли и джигитую между девок. Он нагнулся к Марьяне. — Поцелую, уж так поцелую, что ну!

Марьяна встретила с ним глазами и вдруг покраснела. Она отступила.

— Ну тебя совсем! Ноги отдавишь, — сказала она и, опустив голову, посмотрела на свои стройные ноги, обтянутые голубыми чулками со стрелками, в красных новых чувяках, обшитых узеньким серебряным галуном.

Лукашка обратился к Устенъке, а Марьяна села рядом с казачкой, державшею на руках ребенка. Ребенок потянулся к девке и пухленькой ручонкой ухватился за нитку монистов, висевших на ее синем бешмете. Марьяна нагнулась к нему и искоса поглядела на Лукашку. Лукашка в это время доставал из-под черкески, из кармана черного бешмета, узелок с закусками и семечками.

— На всех жертвую, — сказал он, передавая узелок Устенъке, и с улыбкою глянул на Марьянку.

Снова замешательство выразилось на лице девки. Прекрасные глаза подернулись как туманом. Она спустила платок ниже губ и, вдруг припав головой к белому личику ребенка, державшего ее за монисто, начала жадно целовать его. Ребенок упирался ручонками в высокую грудь девки и кричал, открывая беззубый ротик.

— Что дулишь парнишку-то? — сказала мать ребенка, огнивая его у ней и расстегивая бешмет, чтобы дать ему груди. — Лучше бы с парнем здоровкалась.

— Только коня уберу, придем с Назаркой, целую ночь гулять будем, — сказал Лукашка, хлопнув плетью лошадь, и поехал прочь от девок.

Свернув в боковую улицу с Назаркой вместе, они подъехали к двум стоявшим рядом хатам.

— Дорвались, брат! Скорей приходи! — крикнул Лукашка товарищу, слезая у соседнего двора и осторожно проводя коня в плетеные ворота своего двора. — Здорово, Степка! — обратился он к немой, которая, тоже празднично разряженная, шла с улицы, чтобы принять коня. И он знаками показал ей, чтоб она поставила коня к сену и не расседывала его.

Немая загудела, зачмокала, указывая на коня, и поцеловала его в нос. Это значило, что она любит коня и что конь хорош.

— Здорово, матушка! Что, аль на улицу еще не выходила? — прокричал Лукашка, поддерживая ружье и поднимаясь на крыльцо.

Старуха-мать отворила ему дверь.

— Вот не ждала, не гадала, — сказала старуха. — А Кирка сказывал, ты не будешь.

— Принеси чихирьку, поди, матушка. Ко мне Назарка придет, праздник помолим.

— Сейчас, Лукаша, сейчас, — отвечала старуха. — Бабы-то наши гуляют. Я чай, и наша немая ушла.

И захватив ключи, она торопливо пошла в *избушку*.

Назарка, убрав своего коня и сняв ружье, вошел к Лукашке.

### XXXVII

— Будь здоров, — говорил Лукашка, принимая от матери полную чашку чихиря и осторожно поднося ее к нагнутой голове.

— Вишь, дело-то, — сказал Назарка: — дедука Бурлак что сказал: «много ли коней украл?» Видно, знает.

— Колдун! — коротко ответил Лукашка. — Да это что? — прибавил он, встряхнув головой. — Уж они за рекой. Ищи.

— Все неладно.

— А что неладно! Снеси чихирю ему завтра. Так-то делать надо, и ничего будет. Теперь гулять. Пей! — крикнул Лукашка тем самым толосом, каким старик Ерощка произносил это слово. — На улицу гулять пойдем, к девкам. Ты



сходи меду возьми, или я немую пошлю. До утра гулять будем.

Назарка улыбался.

— Что ж, долго побудем? — сказал он.

— Дай погуляем! Беги за водкой! На деньги!

Назарка послушно побежал к Ямке.

Дядя Ерошка и Ергушов, как хищные птицы, пронюхав, где гулянье, оба пьяные, один за другим ввалились в хату.

— Давай еще полведра, — крикнул Лукашка матери в ответ на их здоровканье.

— Ну, сказывай, чорт, где украл? — прокричал дядя Ерошка. — Молодец! Люблю!

— То-то люблю, — отвечал смеясь Лукашка. — Девкам закуски от юнкирей носишь. Эх, старый!

— Неправда, вот и неправда! Эх, Марка! — Старик расхохотался. — Уж как просил меня чорт энтот! Поди, говорит, похлопочи. Флинту давал. Нет, бог с ним! Я бы обделал, да тебя жалею. Ну, сказывай, где был? — И старик заговорил по-татарски.

Лукашка бойко отвечал ему.

Ергушов, плохо знавший по-татарски, лишь изредка вставлял русские слова.

— Я говорю, коней угнал. Я твердо знаю, — поддакивал он.

— Псехали мы с Гирейкой, — рассказывал Лукашка. (Что он Гирей-хана называл Гирейкой, в том было заметное для казаков молодечество.) — За рекой все храбрился, что он всю степь знает, прямо приведет, а выехали, ночь темная, спутался мой Гирейка, стал елозить, а все толку нет. Не найдет аула, да и шабаш. Правей мы, видно, взяли. Почитай до полуночи искали. Уж, спасибо, собаки завыли.

— Дураки, — сказал дядя Ерошка. — Так-то мы, бывало, спутаемся ночью в степи. Чорт их разберет! Выеду, бывало, на бугор, завою по бирючинуму вот так-то! (Он сложил руки у рта и завыл, будто стадо волков, в одну ноту.) Как раз собаки откликнутся. Ну, доказывай. Ну, что ж, нашли?

— Живо обротали. Назарку было поймали ногойки-бабы, пра!

— Да, поймали, — обиженно сказал вернувшийся Назарка.

— Выехали, опять Гирейка спутался, вовсе было завел в буруны. Так вот все кажется, что к Тереку, а вовсе прочь едем.

— А ты по звездам бы смотрел, — сказал дядя Ерошка.

— И я говорю, — подхватил Ергушов.

— Да, смотри тут, как темно все. Уж я бился, бился!

Поймал кобылу одну, обротал, а своего коня пустил; думаю выведет. Так что же ты думаешь? Как фыркнет, фыркнет, да носом по земли... Выскакал вперед, так прямо в станицу и вывел. И то, спасибо, уж светло вовсе стало; только успели в лесу коней схоронить. Нагим из-за реки приехал, взял.

Ергушов покачал головой. — Я и говорю: ловко! А много ль?

— Все тут, — сказал Лукашка, хлопая по карману.

Старуха в это время вошла в избу. Лукашка не договорил.

— Пей! — прокричал он.

— Так-то мы с Гирчиком раз поздно поехали... — начал Ерошка.

— Ну, тебя не переслушаешь! — сказал Лукашка. — А я пойду. — И, допив вино из чалурки и затянув туже ремень пояса, Лукашка вышел на улицу...

### XXXVIII

Уж было темно, когда Лукашка вышел на улицу. Осенняя ночь была свежа и безветренна. Полный золотой месяц выплывал из-за черных раин, поднимавшихся на одной стороне площади. Из труб избушек шел дым, и, сливаясь с туманом, стлался над станицею. В окнах кое-где светились огни. Запах кизяка, чапры и тумана был разлит в воздухе. Говор, смех, песни и щелканье семечек звучали так же смешанно, но отчетливее, чем днем. Белые платки и папахи кучками виднелись в темноте около заборов и домов.

На площади, против отворенной и освещенной двери лавки, чернеется и белеется толпа казаков и девок, и слышатся громкие песни, смех и говор. Схватившись рука с рукой, девки кружатся, плавно выступая на пыльной площади. Худощавая и самая некрасивая из девок запевает:

Из-за лесыку, лесу темного.

Ай-да-люли!

Из-за садику, саду зеленого

Вот и шли-прошли два молодца,

Два молодца, да оба холосты.

Они шли-прошли, да становилися

Они становилися, разобралися.

Выходила к ним красна девица,

Выходила к ним, говорила им:

Вот кому-нибудь из вас достануся.

Доставалася да парню белому,

Парню белому, белокурому,

Он бере, берет за праву руку,

Он веде, веде да вдоль по кругу,

Всем товарищам порасхвастался:

Какова, братцы, хозяйюшка!

Старухи стоят около, прислушиваясь к песням. Мальчишки и девчонки бегают кругом в темноте, догоняя друг друга. Казаки стоят кругом, затрагивая проходящих девок, изредка разрывая хоровод и входя в него. По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и папахах и не казацким говором, негромко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя внимание. Рядом в хороводе ходят толстенная Устенка в красном бешмете и величавая фигура Марьяны в новой рубахе и бешмете. Оленин с Белецким разговаривали о том, как бы им отбить от хоровода Марьянку с Устенкой. Белецкий думал, что Оленин хотел только повеселиться, а Оленин ждал решения своей участи. Он во что бы то ни стало хотел нынче же видеть Марьяну одну, сказать ей все и спросить ее, может ли и хочет ли она быть его женою. Несмотря на то, что вопрос этот давно был решен для него отрицательно, он надеялся, что будет в силах рассказать ей все, что чувствует, и что она поймет его.

— Что вы мне раньше не сказали, — говорил Белецкий: — я бы вам устроил через Устенку. Вы такой странный!

— Что делать? Когда-нибудь, очень скоро, я вам все скажу. Теперь только, ради бога, устройте, чтоб она пришла к Устенке.

— Хорошо. Это легко... Что же, ты парню белому достанешься, Марьянка, а? а не Лукашке? — сказал Белецкий, для приличия обращаясь сначала к Марьянке; и, не дождав-шись ответа, он подошел к Устенке и начал просить ее привести с собою Марьянку. Не успел он договорить, как запевало заиграла другую песню, и девки потянули друг дружку.

Они пели:

Как за садом, за садом  
Ходил, гулял молодец  
Вдоль улицы в конце.  
Он во первый раз иде,  
Машет правою рукой,  
Во другой он раз иде,  
Машет шляпой пуховой,  
А во третий раз иде.  
Останавливается,  
Останавливается, переплавливается,  
«Я хотел к тебе пойти,  
Тебе милой попенять:  
Отчего же, моя милая,  
Ты нейдешь во сад гулять?»  
Али ты, моя милая,  
Мною чванишься?  
Опосля, моя милая,  
Успокойшься.

Зашлю сватать,  
Буду сватать,  
Беру замуж за себя,  
Будешь плакать от меня». —  
Уж я знала, что сказать,  
И не смела отвечать.  
Я не смела отвечать,  
Выходила в сад гулять.  
Прихожу я в зелен сад:  
Дружку кланялась.  
«А я, девица, поклон,  
И платочек из рук вон.  
Изволь, милая, принять,  
Во белые руки взять.  
Во белы руки бери,  
Меня, девица, люби.  
Я не знаю, как мне быть,  
Чем мне милую дарить,  
Подарю своей милой  
Большой шалевый платок.  
Я за втот за платок  
Поцелую раз пяток».

Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода. «Что же, выходи какая!» проговорил он. Девки толкали Марьянку; она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шопот.

Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой.

— Митрий Андреич! и ты пришел посмотреть? — сказал он.

— Да, — решительно и сухо отвечал Оленин.

Белецкий наклонился на ухо Устенке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела и, проходя во второй раз, сказала:

— Хорошо, придем.

— И Марьяна тоже?

Оленин нагнулся к Марьяне. — Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобой.

— Девки придут, и я приду.

— Скажешь мне, что я просил? — спросил он опять, нагибаясь к ней. — Ты нынче весела.

Она уже уходила от него. Он пошел за ней.

— Скажешь?

— Чего сказать?

— Что я третьего дня спрашивал, — сказал Оленин, нагибаясь к ее уху. — Пойдешь за меня?

Марьяна подумала.

— Скажу, — ответила она, — нынче скажу.

И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека.

Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе.

Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. Оленин, успев только проговорить: «приходи же к Устенке», отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток», говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавное движение и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал оделять девок закусками.

— На всех жертвую, — говорил он с гордым комически-трогательным самодовольством. — А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон, — прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина.

Девки вхватали у него закуски и, смеясь отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне.

Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху, отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устенке.

— *Али ты, моя милая, мною чванишься?* — повторил он слова песни, которую только что пели, и, обращаясь к Марьянке: — *мною чванишься?* — еще повторил он сердито. — *Пойдешь замуж, будешь плакать от меня,* — прибавил он, обнимая вместе Устенку и Марьяну.

Устенка вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла.

— Что ж, станете еще водить? — спросил он.

— Как девки хотят, — отвечала Устенка, — а я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти.

Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома.

— Не ходи, Машенька, — сказал он, — последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.

— Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устенке пойду, — сказала Марьяна.

— Ведь все равно женюсь.

— Ладно, — сказала Марьяна, — там видно будет.

— Что ж, пойдешь? — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку.

— Ну, брось! Что пристал? — И Марьяна, вырвавшись, отошла от него.

— Эх, девка!.. Худо будет, — укоризненно сказал Лукашка,

остановившись и качая головой. — Будешь плакать от меня, — и, отвернувшись от нее, крикнул на девок: — играй, что ль!

Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась. — Что худо будет?

— А то.

— А что?

— А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь, зато и меня разлюбила.

— Захотела, разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Кого захочу, того и люблю.

— Так, так! — сказал Лукашка. — Помни ж! — Он подошел к лавке. — Девки! — крикнул он, — что стали? Еще хороход играйте. Назарка! беги, чихиря носи.

— Что ж, придут они? — спрашивал Оленин у Белецкого.

— Сейчас придут, — отвечал Белецкий. — Пойдемте, надо приготовить бал.

### XXXIX

Уж поздно ночью Оленин вышел из хаты Белецкого вслед за Марьяной и Устенкой. Белый платок девки белелся в темной улице. Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Все было тихо, огней нигде не было, только слышались шаги удалявшихся женщин. Сердце Оленина билось сильно. Разгоревшееся лицо освещилось на сыром воздухе. Он взглянул на небо, оглянулся на хату, из которой вышел; в ней потухла свеча, и он снова стал всматриваться в удаляющуюся тень женщин. Белый платок скрылся в тумане. Ему было страшно оставаться одному. Он так был счастлив! Он соскочил с крыльца и побежал за девками.

— Ну, тебя! Увидит кто! — сказала Устенка.

— Ничего!

Оленин подбежал к Марьянке и обнял ее.

Марьянка не отбивалась.

— Не нацеловались, — сказала Устенка. — Женишься, тогда целуй, а теперь погоди.

— Прощай, Марьяна, завтра я приду к твоему отцу, сам скажу. Ты не говори.

— Что мне говорить! — отвечала Марьяна.

Обе девки побежали. Оленин пошел один, вспоминая все, что было. Он целый вечер провел с ней вдвоем в углу, около печки. Устенка ни на минуту не выходила из хаты и возилась с другими девками и Белецким. Оленин шопотом говорил с Марьянкой.

— Пойдешь за меня? — спрашивал он ее.

— Обманешь, не возьмешь, — отвечала она весело и спокойно.

— А любишь ли ты меня? Скажи ради бога?

— Отчего же тебя не любить, ты не кривой! — отвечала Марьяна, смеясь и сжимая в своих жестких руках его руки. — Какие у тебя руки бее-лые, бее-лые, мягкие, как каймак, — сказала она.

— Я не шучу. Ты скажи, пойдешь ли?

— Отчего же не пойти, коли батюшка отдаст?

— Помни ж, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь.

Завтра я скажу твоей матери и отцу, сватать приду.

Марьяна вдруг расхохоталась.

— Что ты?

— Так, смешно.

— Верно! Я куплю сад, дом, запишусь в казаки...

— Смотри, тогда других баб не люби! Я на это сердитая.

Оленин с наслаждением повторял в воображении все эти слова. При этих воспоминаниях то становилось ему больно, то дух захватывало от счастья. Больно ему было, потому что она все так же была спокойна, говоря с ним, как и всегда. Ее нисколько, казалось, не волновало это новое положение. Она как будто не верила ему, и не думала о будущем. Ему казалось, что она его любила только в минуту настоящего и что будущего для нее не было с ним. Счастлив же он был потому, что все ее слова казались ему правдой и она соглашалась принадлежать ему. «Да, — говорил он сам себе, — только тогда мы пойдем друг друга, когда она вся будет моею. Для такой любви нет слова, а нужна жизнь, целая жизнь. Завтра все объяснится. Я не могу так жить больше, завтра я все скажу ее отцу, Белецкому, всей станице...»

Лукашка, после двух бессонных ночей, так много выпил на празднике, что свалился в первый раз с ног и спал у Ямки.

## XI

На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного, и в первое мгновение пробуждения ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостью вспомнил ее поцелуи, пожатие жестких рук и ее слова: «какие у тебя руки белые!». Он вскочил и хотел тотчас же идти к хозяевам и просить руки Марьяны. Солнце еще не вставало, и Оленину показалось, что на улице было необыкновенное волнение: ходили, верхом ездили и говорили. Он накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Хозяева еще не вставали. Пять человек казаков ехали верхом и о чем-то шумно разговаривали.

Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка. Казаки все говорили, кричали: ничего хорошенько разобрать было нельзя.

— К верхнему посту выезжай! — кричал один.

— Седлай и догоняй живее, — говорил другой.

— С тех ворот ближе выезжать.

— Толкуй тут, — кричал Лукашка: — в средние ворота ехать надо...

— И то, оттуда ближе, — говорил один из казаков, запыхавший и на потной лошади. Лицо у Лукашки было красное, опухшее от вчерашней попойки; папаха была сдвинута на затылок. Он кричал повелительно, будто был начальник.

— Что такое? Куда — спросил Оленин, с трудом обращая на себя внимание казаков.

— Абреков ловить едем, засели в бурунах. Сейчас едем, да все народу мало.

И казаки, продолжая кричать и собираться, проехали дальше по улице. Оленину пришло в голову, что нехорошо будет, если он не поедет; притом он думал рано вернуться. Он оделся, зарядил пулями ружье, вскочил на кое-как оседланную Ванюшей лошадь и догнал казаков на выезде из станицы. Казаки, спешившись, стояли кружком и, наливая чихирю из привезенного боченка в деревянную чапуру, подносили друг другу и молили свою поездку. Между ними был и молодой франт хорунжий, случайно находившийся в станице и принявший начальство над собравшимися девятью казаками. Собравшиеся казаки все были рядовые и, хотя хорунжий принимал начальнический вид, все слушались только Лукашку. На Оленина казаки не обращали никакого внимания. И когда все сели на лошадей и поехали, и Оленин подъехал к хорунжему и стал расспрашивать, в чем дело, то хорунжий, обыкновенно ласковый, относился к нему с высоты своего величия. Насилу-насилу Оленин мог добиться от него, в чем дело. Объезд, посланный для розыска абреков, застал несколько горцев, верст за восемь от станицы, в бурунах. Абреки засели в яме, стреляли и грозили, что не отдадутся живыми. Урядник, бывший в объезде с двумя казаками, остался там караулить их и прислал одного казака в станицу звать других на помощь.

Солнце только что начинало подниматься. Верстах в трех от станицы, со всех сторон, открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины, с испещренными следами скотины песком, с поблекшею кое-где травой, с низкими камышами в лощинах, с редкими чуть проторенными дорожками и с ногайскими кочевьями, далеко-



далеко видневшимися на горизонте. Во всем поражало отсутствие тени и суровый тон местности. Солнце всходит и заходит всегда красно в степи. Когда бывает ветер, то ветер переносит целые горы песка. Когда тихо, как было в это утро, то тишина, не нарушаемая ни движением, ни звуком, особенно поразительна. В это утро в степи было тихо, пасмурно, несмотря на то, что солнце поднялось; было как-то особенно пустынно и мягко. Воздух не шелохнулся; только и слышно было, как ступали лошади и пофыркивали; да и этот звук раздавался слабо и тотчас же замирал.

Казаки ехали большей частью молча. Оружие на казаке всегда приложено так, чтоб оно не звенело и не брэнчало. Брэнчащее оружие — величайший срам для казака. Два казака из станицы догнали их по дороге и перекинулись двумя-тремя словами. Под Лукашкой не то споткнулась, не то зацепилась за траву и заторопилась лошадь. Это дурная примета у казаков. Казаки оглянулись и торопливо отвернулись, стараясь не обращать внимания на это обстоятельство, имевшее особенную важность в настоящую минуту. Лукашка вздернул поводья, строго нахмурился, стиснул зубы и взмахнул плетью над головой. Добрый кабардинец засеменил всеми ногами вдруг, не зная, на какую ступить, и как бы желая на крыльях подняться кверху; но Лукашка раз огрел его плетью по сытым бокам, огрел другой, третий, — и кабардинец, оскалив зубы и распутив хвост, фыркая, заходил на задних ногах и на несколько шагов отделился от кучки казаков.

— Эх, добра лошадь! — сказал хорунжий.

Что он сказал добра лошадь, а не конь, это означало особенную похвалу коню.

— Лев конь, — подтвердил один из старших казаков.

Казаки молча ехали то шагом, то рысцой и только одно это обстоятельство прервало на мгновение тишину и торжественность их движения.

По всей степи, верст на восемь дороги, они встретили живого только одну ногайскую кибитку, которая, будучи поставлена на арбу, медленно двигалась в версте от них. Это был ногаец, переезжавший с своим семейством с одного кочевья на другое. Еще встретили они в одной лошине двух оборванных скуластых ногайских женщин, которые с плетушками за спинами собирали в них для кизяка навоз от ходившей по степи скотины. Хорунжий, плохо говоривший по-кумыцки, стал что-то расспрашивать у ногаек; но они не понимали его и, видимо робея, переглядывались между собою:

Подъехал Лукашка, остановил лошадь, бойко произнес

обычное приветствие, и ногайки видимо обрадовались и заговорили с ним свободно, как с своим братом.

— *Ай, ай, коп абрек!* — говорили они жалобно, указывая руками по тому направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «много абреков».

Никогда не видавший подобных дел, имевший о них понятие только по рассказам дяди Ерошки, Оленин хотел не отставать от казаков и все видеть. Он любовался на казаков, приглядывался ко всему, прислушивался и делал свои наблюдения. Хотя он и взял с собою шашку и заряженное ружье, но, заметив, как казаки чуждались его, он решился не принимать никакого участия в деле, тем более что, по его мнению, храбрость его была уже доказана в отряде, а главное, потому что теперь уже он был очень счастлив.

Вдруг, вдалеке, послышался выстрел.

Хорунжий взволновался и стал делать распоряжения, как казакам разделиться и с какой стороны подъезжать. Но казаки, видимо, не обращали никакого внимания на эти распоряжения, слушали только то, что говорил Лукашка, и смотрели только на него. В лице и фигуре Луки выражались спокойствие и торжественность. Он вел проездом своего кабардинца, за которым не попевали шагом другие лошади, и щурясь все вглядывался вперед.

— Вон конный едет, — сказал он, сдерживая лошадь и выравниваясь с другими.

Оленин смотрел во все глаза, но ничего не видел. Казаки скоро различили двух конных и спокойным шагом поехали прямо на них.

— Это абреки? — спросил Оленин.

Казаки ничего не отвечали на вопрос, который был бессмыслицей в их глазах. Абреки были бы дураки, если бы переправились на эту сторону с лошадьми.

— Вон машет батяка Родька никак, — сказал Лукашка, указывая на двух конных, которые виднелись уже ясно. — Вон к нам поехал.

Действительно, через несколько минут ясно стало, что конные были объездные казаки, и урядник подъехал к Луке.

## XLI

— Далече? — только спросил Лукашка.

В это самое время шагах в тридцати послышался короткий и сухой выстрел. Урядник слегка улыбнулся.

— Наш Гурка в них палит, — сказал он, указывая головой по направлению выстрела.

Проехав еще несколько шагов, они увидели Гурку, сидевшего за лесчаным бугром и заряжавшего ружье. Гурка от скуки перестреливался с абреками, сидевшими за другим песчаным бугром. Пулька просвистела оттуда.

Хорунжий был бледен и путался. Лукашка слез с лошади, кинул ее казаку и пошел к Гурке. Оленин, сделав то же самое и согнувшись, пошел за ним. Только что они подошли к стрелявшему казаку, как две пули просвистели над ними. Лукашка, смеясь, оглянулся на Оленина и пригнулся.

— Еще застрелят тебя, Андреич, — сказал он. — Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.

Но Оленину хотелось непременно посмотреть абреков.

Из-за бугра увидал он, шагах в двухстах, шапки и ружья. Вдруг показался дымок оттуда, свистнула еще пулька. Абреки сидели под горой в болоте. Оленина поразило место, в котором они сидели. Место было такое же, как и вся степь, но тем, что абреки сидели в этом месте, оно как будто вдруг отделилось от всего остального и озаменовалось чем-то. Оно ему показалось даже именно тем самым местом, в котором должны были сидеть абреки. Лукашка вернулся к лошади, и Оленин пошел за ним.

— Надо арбу взять с сеном, — сказал Лука, — а то перебьют. Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном.

Хорунжий выслушал его, и урядник согласился. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Оленин взъехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена двигался; казаки жались за ним. Казаки двигались; чеченцы, — их было девять человек, — сидели рядом, колено с коленом, и не стреляли.

Все было тихо. Вдруг со стороны чеченцев раздались странные звуки заунывной песни, похожей на ай-да-лай-лай дяди Ерощки. Чеченцы знали, что им не уйти, и, чтоб избавиться от искушения бежать, они связались ремнями, колено с коленом, приготовили ружья и запели предсмертную песню.

Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе, и Оленин ежеминутно ждал выстрелов; но тишина нарушалась только заунывною песнью абреков. Вдруг песня прекратилась, раздался короткий выстрел, пулька шлепнула о грядку телеги, послышались чеченские ругательства и взвизги. Выстрел раздавался за выстрелом, и пулька за пулькой шлепала по возу. Казаки не стреляли и были не дальше пяти шагов.

Прошло еще мгновение, и казаки с гиком выскочили с обеих сторон воза. Лукашка был впереди. Оленин слышал лишь несколько выстрелов, крик и стон. Он видел дым и кровь,

как ему показалось. Бросив лошадь и не помня себя, он побежал к казакам. Ужас застлал ему глаза. Он ничего не разобрал, но понял только, что все кончилось. Лукашка, бледный, как платок, держал за руки раненого чеченца, и кричал: «Не бей его! Живого возьму!» Чеченец был тот самый красивый, брат убитого абрека, который приезжал за телом. Лукашка крутил ему руки. Вдруг чеченец вырвался и выстрелил из пистолета. Лукашка упал. На животе у него показалась кровь. Он вскочил, но опять упал, ругаясь по-русски и по-татарски. Крови на нем и под ним становилось больше и больше. Казаки подошли к нему и стали распоясывать. Один из них, Назарка, прежде чем взяться за него, долго не мог вложить шашку в ножны, попадая не тою стороною. Лезвие шашки было в крови.

Чеченцы, рыжие, с стриженными усами, лежали убитые и изрубленные. Один только, знакомый, весь израненный, тот самый, который выстрелил в Лукашку, был жив. Он, точно подстреленный ястреб, весь в крови (из-под правого глаза текла у него кровь), стиснув зубы, бледный и мрачный, раздраженными огромными глазами озираясь во все стороны, сидел на корточках и держал кинжал, готовясь еще защищаться. Хорунжий подошел к нему и боком, как будто обходя его, быстрым движением выстрелил из пистолета в ухо. Чеченец рванулся, но не успел и упал.

Казаки, запыхавшись, растаскивали убитых и снимали с них оружие. Каждый из этих рыжих чеченцев был человек, у каждого было свое особенное выражение. Лукашку понесли к арбе. Он все бранился по-русски и по-татарски.

— Врешь, руками задушу! От моих рук не уйдешь! *Ана сени!* — кричал он, порываясь. Скоро он замолк от слабости.

Оленин уехал домой. Вечером ему сказали, что Лукашка при смерти, но что татарин из-за реки взялся лечить его травмами.

Тела стаскали к станичному правлению. Бабы и мальчишки торопились смотреть на них.

Оленин вернулся сумерками и долго не мог опомниться от всего, что видел; но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания; он выглянул в окно: Марьяна ходила из дома в клеть, убираясь по хозяйству. Мать ушла на виноград. Отец был в правлении. Оленин не дождался, пока она совсем убралась, и пошел к ней. Она была в хате и стояла спиной к нему. Оленин думал, что она стыдится.

— Марьяна! — сказал он, — а Марьяна! Можно войти к тебе?

Вдруг она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы. На лице была красивая печаль. Она посмотрела молча и величаво.

Оленин повторил:

— Марьяна! я пришел...

— Оставь, — сказала она. Лицо ее изменилось, но слезы полились у ней из глаз.

— О чем ты? Что ты?

— Что? — повторила она грубым и жестоким голосом. — Казаков перебили, вот что.

— Лукашку? — сказал Оленин.

— Уйди, чего тебе надо!

— Марьяна! — сказал Оленин, подходя к ней.

— Никогда ничего тебе от меня не будет.

— Марьяна, не говори, — умолял Оленин.

— Уйди, постылый! — крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться; что он прежде думал о неприступности этой женщины — была несомненная правда.

Оленин ничего не сказал ей и выбежал из хаты.

## XLII

Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в штаб. Не простившись ни с кем и через Ванюшку расплатившись с хозяевами, он собрался ехать в крепость, где стоял полк. Один дядя Ерощка провожал его. Они выпили, еще выпили и еще выпили. Так же как во время его проводов из Москвы, ямская тройка стояла у подъезда. Но Оленин уже не считался, как тогда, сам с собою и не говорил себе, что все, что он думал и делал здесь, было не то. Он уже не обещал себе новой жизни. Он любил Марьянку больше, чем прежде, и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.

— Ну, прощай, отец мой, — говорил дядя Ерощка. — Пойдешь в поход, будь умней, меня, старика, послушай. Когда придется в набеге или где (ведь я старый волк, всего видел), да коли стреляют, ты в кучу не ходи, где народу много. А то все, как ваш брат оробеет, так к народу и жметса, думает, веселей в народе. А тут хуже всего: по народу-то и целят. Я все, бывало, от народа подальше, один и хожу: вот ни разу меня и не ранили. А чего не видал на своем веку?

— А в спине-то у тебя пуля сидит, — сказал Ванюша, убирающийся в комнате.

— Это казаки баловались, — отвечал Ерошка.

— Как казаки? — спросил Оленин.

— Да так! Пили. Ванька Ситкин казак был, разгулялся, да как бацнет, прямо мне в это место из пистолета и угодил.

— Что ж, больно было? — спросил Оленин. — Ванюша, скоро ли? — прибавил он.

— Эх! Куда спешишь! Дай расскажу... Да как треснул он меня, пуля кость-то не пробила, тут и осталась. Я и говорю: ты ведь меня убил, братец мой. А? Что ты со мной сделал? Я с тобой так не расстанусь. Ты мне ведро поставишь.

— Что ж, больно было? — опять спросил Оленин, почти не слушая рассказа.

— Дай докажу. Ведро поставил. Выпили. А кровь все льет. Всю избу прилил кровью-то, Дедука Бурлак и говорит: «Ведь малый-то издохнет. Давай еще штоф сладкой, а то мы тебя засудим». Притащили еще. Дули, дули...

— Да что ж, больно ли было тебе? — опять спросил Оленин.

— Какое больно! Не перебивай, не люблю. Дай докажу. Дули, дули, гуляли до утра, так и заснул на печи, пьяный. Утром проснулся, не разогнешься никак.

— Очень больно было? — повторил Оленин, полагая, что теперь он добился наконец ответа на свой вопрос.

— Разве я тебе говорю, что больно! Не больно, а разогнуться нельзя, ходить не давало.

— Ну и зажило? — сказал Оленин, даже не смеясь: так ему было тяжело на сердце.

— Зажило, да пулька всё тут. Вот пощупай. — И он, заворотив рубаху, показал свою здоровенную спину, на которой около кости каталась пулька.

— Вишь ты, так и катается, — говорил он, видимо утешаясь этою пулькой, как игрушкой. — Вот к задку перекачалась.

— Что, будет ли жив Лукашка? — спросил Оленин.

— А бог его знает! Дохтура нет. Поехали.

— Откуда же привезут, из Грозной? — спросил Оленин.

— Не, отец мой, ваших-то русских я бы давно перевешал, кабы царь был. Только резать и умеют. Так-то нашего казака Баклашева не-человеком сделали, ногу отрезали. Стало, дураки. На что теперь Баклашев годится? Нет, отец мой, в горах дохтура есть настоящие. Так-то Гирчика, няню моего, в походе ранили в это место, в грудь, так дохтура ваши от-

казались, а из гор приехал Саиб, вылечил. Травы, отец мой, знают.

— Ну, полно вздор говорить, — сказал Оленин. — Я лучше из штаба лекаря пришлю.

— Вздор! — передразнил старик. — Дурак! дурак! Вздор! Лекаря пришлю! Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписывают. У вас фальчь, одна всё фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался.

— Что ж Лукашка? Ты был у него? — спросил он.

— Да лежит, как мертвый. Ни ест, ни пьет, только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, — ничего. А то жаль малого. Хорош малый был, джигит, как я. Так-то я умирал раз: уж выли старухи, выли. Жар в голове стоял. Под святые меня сперли. Так-то лежу, а надо мной на печке все такие, вот такие маленькие барабанщики всё, да так-то отжаривают зорю. Крикну на них, они еще пуще отдирают. (Старик засмеялся.) Привели ко мне бабы уставщика, хоронить меня хотели; бают: он *миршил*ся, с бабами гулял, души губил, скоромился, в балалайку играл. Покаяйся, говорят. Я и стал каяться. Грешен, говорю. Что ни скажет поп, а я говорю всё: грешен. Он про балалайку спрашивать и стал. И в том грешен, говорю. Где ж, она, проклятая, говорит у тебя? Ты покажь да ее разбей. Я и говорю: у меня и нет ее. А сам ее в *избушке* в сеть запрягал: знаю, что не найдут. Так и бросили меня. Так отдох же. Как пошел в балалайку чесать... Так что бишь я говорил? — продолжал он. — Ты меня слушай, от народа-то подальше ходи, а то так дурно убьют. Я тебя жалею, право. Ты пьяница, я тебя люблю. А то ваша братья все на бугры ездить любят. Так-то у нас один жил, из России приехал, все на бугор ездил, как-то чудно холком бугор называл. Как завидит бугорок, так и поскачет. Поскакал так-то раз. Выскакал и рад. А чеченец его стрелил, да и убил. Эх, ловко, с подсошек стреляют чеченцы! Ловчий меня есть. Не люблю, как так дурно убьют. Смотрю-я, бывало, на солдат на ваших, дивлюсь. То-то глупость! Идут сердечные все в куче, да еще красные воротники нашьют. Тут как не попасть! Убьют одного, упадет, поволокут сердечного, другой пойдет. То-то глупость! — повторил старик, покачивая головой. — Чтобы в стороны разойтись, да по одному. Так честно и иди. Ведь он тебя не узнает. Так-то ты делай.

— Ну, спасибо! Прощай, дядя! Бог даст, увидимся, — сказал Оленин, вставая и направляясь к сениям.

Старик сидел на полу и не вставал.

— Так разве прощаются? Дурак! дурак! — заговорил он. — Эх-ма, какой народ стал! Компанию водили, водили год целый: прощай, да и ушел. Ведь я тебя люблю, я тебя как жалею! Такой ты горький, все один, все один. *Нелюбимый* ты какой-то! Другой раз не сплю, подумаю о тебе, так-то жалею. Как песня поется:

Мудрено, родимый братец,  
На чужой сторонке жить!

Так-то и ты.

— Ну, прощай, — сказал опять Оленин.

Старик встал и подал ему руку; он пожал ее и хотел итти.

— Мурло-то, мурло-то давай сюда.

Старик взял его обеими толстыми руками за голову, поцеловал три раза мокрыми усами и губами и заплакал.

— Я тебя люблю. Прощай!

Оленин сел в телегу.

— Что ж, так и уезжаешь! Хоть подари что на память, отец мой. Флинт-то подари. Куды тебе две, — говорил старик, всхлипывая от искренних слез.

Оленин достал ружье и отдал ему.

— Что передавали этому старику, — ворчал Ванюша: — всё мало! Попрошайка старый. Всё обстоятельный народ, — проговорил он, увертываясь в пальто и усаживаясь на передке.

— Молчи, швинья! — крикнул старик, смеясь. — Вишь, скупой!

Марьяна вышла из клетки, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.

— *Ла филь!*<sup>1</sup> — сказал Ванюша, подмигнув и глупо захотав.

— Пошел! — сердито крикнул Оленин.

— Прощай, отец! Прощай! Буду помнить тебя! — кричал Ерощка.

Оленин оглянулся. Дядя Ерощка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни девка не смотрели на него.

<sup>1</sup> Девушка.